ВИКТОР
НЕКРАСОВ

В ОКОПАХ СТАЛИНГРАДА



ВИКТОР НЕКРАСОВ

В ОКОПАХ СТАЛИНГРАДА

ПОВЕСТЬ

Советский Писатель
МОСКВА · 1952

Постановлением Совета Министров Союза ССР
Некрасову
Виктору Платоновичу
за повесть „В окопах Сталинграда“ присуждена
Сталинская премия второй степени
за 1946 год

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Приказ об отступлении приходит совершенно неожиданно. Только вчера из штаба дивизии прислали развернутый план оборонительных работ — вторые рубежи, ремонт дорог, мостики. Затребовали у меня трех саперов для оборудования дивизионного клуба. Утром звонили из штаба дивизии — приготовиться к встрече фронтового ансамбля песни и пляски. Что может быть спокойнее? Мы с Игорем специально даже побрились, постриглись, вымыли головы, а заодно постирали трусы и майки. В ожидании, пока они высохнут, лежали на берегу мелкой речушки, наблюдая за моими саперами, мастерившими плотики для разведчиков.

Лежали, курили, били друг у друга на спинах жирных, медлительных оводов и смотрели, как мой помкомвзвода, сверкая белым задом и черными пятками, кувыркается в воде, пробуя устойчивость плотика.

Тут-то и является связной штаба — Лазаренко. Я еще издали замечаю его. Придерживая рукой хлопающую по спине винтовку, он рысцой бежит через огороды, и по этой рыси я сразу понимаю, что пахнет уж не концертом. Опять, должно быть, какой-нибудь поверяющий из армии или фронта... Опять тащись на передовую, показывай оборону, выслушивай замечания. Пропала ночь. И за все инженер отдувайся.

Хуже нет лежать в обороне. Каждую ночь — поверяющий. И у каждого свой вкус. Тому — окопы слишком узки, раненых трудно носить, пулеметы таскать. Тому — слишком широки, осколком заденет. Третьему — бруствера низки, — надо ноль сорок, а у вас,

видите, и двадцати нет. Четвертый приказывает совсем их срыть: демаскируют, мол. Вот и угоди всем. А дивизионный инженер и бровью не поводит. За две недели один раз только был и то галопом пробежал по передовой, ничего толком не сказал. А мне каждый раз все заново начинай и выслушивай, руки по швам, нотации командира полка: «Когда же вы, уважаемый товарищ инженер, научитесь по-человечески окопы копать...»

Лазаренко перепрыгивает через забор.

— Ну? В чем дело?

— Начальник штаба до себе кличуть, — сияет он многозубым ртом, вытирая пилоткой взмокший лоб.

— Кого? Меня?

— І вас і начхіма. Щоб через пять минут були, сказав.

Нет. Значит, не поверяющий...

— А в чем дело? Не знаешь?

— А біс його знае. — Лазаренко пожимает пропотевшими плечами. — Хіба зрозумієшь... Всіх св'язних розігнали. Капітан як раз спати лягли, а тут офіцер связі.

Приходится натягивать еще сырые трусы и майки и итти в штаб. Командиров взводов тоже вызывают...

Максимова — начальника штаба — нет. Он у командира полка. У штабной землянки командиры спецподразделений, штабники. Из комбатов только Сергиенко — командир третьего батальона. Никто ничего толком не знает. Офицер связи — долговязый лейтенант Зверев — возится с седлом, сопит, чертыхается, никак не может затянуть подпруги. «Штадив грузится. Вот и все...» — Больше он ничего не знает.

Сергиенко лежит на животе, стругает какую-то щепочку. Как всегда, ворчит.

— Только дезокамеру наладили, а тут срывайся к дьяволу. Эх, жизнь солдатская!

Белобрысый, с водянистыми глазами Самусев — командир ПТР — презрительно улыбается.

— Что дезокамера! У меня половина людей с такими вот спинами лежит. После прививки. Чуть не по стакану всадили чего-то. Кряхтят, охают.

Сергиенко вздыхает.

— А может, на переформировку, а?

— Обязательно, — криво улыбается Гоглидзе, разведчик. — Позавчера Севастополь сдали, а он формироваться собрался. Ждут тебя в Ташкенте, не дождутся.

На севере все грохочет. Над горизонтом, далеко-далеко, прерывисто урча, все туда же на север плывут немецкие бомбардировщики.

— На Валуйки прут, сволочи... — Самусев в сердцах сплевывает. — Шестнадцать штук.

— Накрылись, говорят, уже Валуйки, — заявляет Гоглидзе — он всегда все знает.

— Кто это — «говорят»?

— В восемьсот пятьдесят втором вчера слышал.

— Много они знают.

— Много или мало, а говорят.

Самусев вздыхает, переворачивается на спину.

— А в общем, зря землянку ты себе рыл, разведчик. Фрицу на память оставишь.

Гоглидзе смеется.

— Верная примета. Точно. Как вырою — так и в поход. Третий уже раз рою, а ни разу переночевать не удалось.

Из майоровой землянки вылезает Максимов. Прямыми, точно на параде, шагами подходит к нам. По этой походке его можно узнать за километр. Он явно не в духе. У Игоря, оказывается, расстегнуты гимнастерка и карман. У Гоглидзе нехватает одного кубика. Сколько раз нужно об этом напоминать? Спрашивает, кого нет налицо. Нет двух комбатов и начальника связи: вызвали еще вчера в штаб дивизии.

Больше ни о чем не спрашивает, садится на краю траншеи. Подтянутый, сухой, как всегда застегнутый на все пуговицы. Попыхивает трубкой с головой Мефистофеля. На нас не смотрит.

С его приходом все умолкают. Чтоб не казаться праздными — инстинктивное желание в присутствии начальника штаба выглядеть занятым, — роются в планшетках, что-то ищут в карманах.

Над горизонтом проплывает вторая партия немецких бомбардировщиков.

Приходят комбаты — коренастый, похожий на породистого бульдога, немолодой уже Каппель — комбат-два, и лихой, с золотым чубом и залихватски сдвинутой на левую бровь пилоткой, командир первого батальона Ширяев. В полку его называют Кузьма Крючков.

Оба козыряют. Каппель по-граждански — полусогнутой ладонью вперед. Ширяев — с особым, кадрово-фронтовым фасоном: разворачивая пальцы кулака у самой пилотки при последних словах доклада.

Максимов встает. Мы — тоже.

— Карты у всех есть? — Голос у него резкий, неприятный. Трубка погасла, но он продолжает машинально посасывать. — Попрошу вынуть.

Мы вынимаем. Максимов разворачивает свою мятую, замусоленную пятиверстку. Жирная красная линия ползет через всю карту слева направо, с запада на восток.

— Записывайте маршрут.

Записываем. Маршрут большой — километров на сто. Конечный пункт — Ново-Беленькая. Там должны сосредоточиться через шестьдесят часов, то есть через двое с половиной суток.

Максимов выбивает о каблук трубку, ковыряет в ней веточкой, опять набивает табаком.

— Ясна картина?

Никто не отвечает.

— По-моему, ясна. Выступаем в двадцать три ноль ноль. Первый переход — тридцать шесть километров. Дневка в Верхней Дуванке. Итти будем, конечно, с дозорами и охранением. Порядок движения узнаете через десять минут у Корсакова. Он сейчас составляет.

Каждое слово у Максимова отточено. Он был бы неплохим диктором.

— Первый батальон остается на месте. Понятно? Будет прикрывать. Предупреждаю — поднять надо все. И чтоб никаких отстающих. Переход большой. Просмотрите обувь, портянки...

Придерживая трубку тонкими бледными пальцами, он выпускает короткие, энергичные струйки дыма. Прищурившись, смотрит на Ширяева.

— У тебя что́ есть, комбат?

Ширяев одергивает гимнастерку.

— Активных штыков — двадцать семь. А всего с ездовыми и больными — человек сорок пять.

— Вооружение?

— Два максима. Дегтяревых — три. Минометов восьмидесятидвух — два.

— А мин?

— Штук сто.

— А пятидесяти?

— Ни одной. И патронов мало. По две ленты на станковый и дисков по пять-шесть на ручной.

Ширяев говорит спокойно, не торопясь. Чувствуется, что волнуется, но старается скрыть волнение. На него приятно смотреть. Подтянутый ремень. Плечи развернуты. Крепкие икры. Руки по швам, слегка сжаты в кулаки. Из-за расстегнутого воротника выглядывает голубой треугольник майки. Странно, что Максимов не делает ему замечания.

— Та-ак... — Максимов, старательно сложив, прячет карту в планшетку. — Ясно... С тобой останется Керженцев, инженер. Понятно? Продержитесь два дня. Восьмого, с наступлением темноты, начнете отход.

— По тому же маршруту? — сдержанно спрашивает Ширяев. Он не сводит глаз с Максимова.

— По тому же. Если нас не застанете... Ну, сам знаешь, что тогда... Все!

Ширяев понимающе наклоняет голову. Все молчат. Кто-то, кажется Каппель, прерывисто вздыхает.

— Я сказал — все! — Максимов круто поворачивается в его сторону. — По местам!

— Людей сейчас снимать? — тихо спрашивает близорукий, похожий на ученого комбат-три.

Лицо Максимова краснеет.

— Вы понимаете, где находитесь? Хотите, чтобы всех людей перебило? Нужно же, в конце концов, голову иметь на плечах.

Все встают, отряхивая песок и траву.

— А вы ко мне зайдите.

Это относится ко мне и Ширяеву.

В блиндаже тесно и сыро, пахнет землей. На столе лежат схемы нашей обороны — моя работа. Все утро я их обрабатывал — торопился с отправкой в штадив. Срок был к двадцати ноль ноль.

Максимов аккуратно складывает листочки, подгоняет уголки, разрывает крест-накрест, клочки поджигает коптилкой. Бумага съеживается, шевелится, чернеет.

— Немец к Воронежу подошел, — говорит он глухо, растирая носком сапога черный хрупкий пепел. — Вчера вечером.

Мы молчим.

Максимов вытягивает из-под стола алюминиевую фляжку, обшитую сукном, с привинчивающейся кружкой. Поочередно пьем из этой кружки. Самогон крепкий — градусов на шестьдесят. Спирает в горле. Закусываем соленым огурцом, потом выпиваем еще по одной.

Максимов долго трет двумя пальцами переносицу.

— Ты отступал в сорок первом, Ширяев?

— Отступал. От самой границы.

— От самой границы... А ты, Керженцев?

— Нет. В запасном был.

Максимов с рассеянным видом жует огурец.

— Дело дрянь, в общем. «Колечка» нам не миновать. — Прямо в упор смотрит Ширяеву в глаза. — Береги патроны... Будешь здесь сидеть эти два дня — много не стреляй. Так, для виду только. И в бой не вступай. Нас ищи. Где-нибудь да будем. Не в Ново-Беленькой, так рядом. Но помни, — и ты тоже, Керженцев, — он строго глядит на меня, — до восьмого ни с места. Понятно? Хоть бы земля под вами провалилась. Майор так и сказал: «Оставь Ширяева, а в помощь Керженцева ему дай». Это что-нибудь да значит... Да! С обозами ты как решил?

Ширяев улыбается:

— А ну их к чорту, эти обозы! Забирайте! Три повозки только оставлю для боеприпасов. И то много...

— Ладно. Заберем.

В землянку заглядывает штабной писарь — рыхлый, круглолицый сержант. Спрашивает, как быть с зеленым ящиком — везти или сжигать?

— Сжигай к аллаху! Полгода возим за собой это барахло. Сжигай!

Писарь уходит.

— Вы в сны верите, Керженцев? — спрашивает вдруг Максимов, почему-то обращаясь на «вы», хотя обычно называет меня, как и всех, на «ты». Не дожидаясь ответа, добавляет: — У меня сегодня во сне два передних зуба выпали.

Ширяев смеется. У него плотные, в линеечку, зубы.

— Бабы говорят, близкий кто-то умрет.

— Близкий? — Максимов рисует что-то кудрявое на обрывке газеты. — А вы женаты?

— Нет, — почти в один голос отвечаем мы.

— Напрасно. Я вот тоже не женат, а теперь жалею. Жена необходима. Как воздух, необходима. Именно теперь...

Кудрявое превращается в женскую головку. Длинные ресницы, ротик, похожий на сердечко. Над левой бровью — родинка.

— Вы не москвич, Керженцев?

— Нет, а что?

— Да так... Знакомая у меня была до войны, Керженцева Зинаида Николаевна. Не родственница?

— Нет, у меня в Москве никого нет.

Максимов ходит по землянке взад и вперед. Землянка низкая, ходить приходится нагнув голову. У меня такое впечатление, что ему хочется что-то рассказать, но он или стесняется, или не решается.

Ширяев взглядывает на часы. Максимов замечает, останавливается.

— Да-да. Идите, времени мало.

Мы выходим из землянки. Он выходит вслед за нами. Канонады не слышно. Только лягушки квакают.

Несколько минут стоим, прислушиваясь к лягушкам. Тени от сосен доходят почти до самой землянки. Две мины, одна за другой, со свистом пролетают над

нами и разрываются где-то далеко позади. Батальонные, повидимому. Ширяев ухмыляется.

— Все по круглой роще жарит. А батареи уже три дня как там нет.

Мы прислушиваемся. Больше мин нет.

— Ну, идите, — говорит Максимов. — Смотрите же.

Он крепко пожимает нам руки. Делает движение, будто хочет обнять, но не обнимает, а только еще раз крепко пожимает руки.

— Патроны береги, Ширяев, не транжирь.

— Есть, товарищ капитан!

— Смотри же. — И он уходит твердой, прямой походкой к кустам, где мелькают связисты, сматывающие проволоку.

С Ширяевым уславливаемся — я приду к нему часа через полтора-два, когда улажу свои дела.

2

Не везет нашему полку. Каких-нибудь несчастных полтора месяца воюем, а вот уже нет ни людей, ни пушек. По два-три пулемета на батальон. И ведь совсем недавно в бой вступили — двадцатого мая, под Терновой, у Харькова. Прямо — с ходу. Необстрелянных, впервые попавших на фронт, нас перебрасывали с места на место, клали в оборону, снимали, передвигали, опять клали в оборону. Это было в период весеннего харьковского наступления. Мы терялись, путались, путали других, никак не могли привыкнуть к бомбежке.

Перекинули нас южнее, в район Булацеловки, около Купянска. Пролежали и там недельки две. Копали эскарпы, контр-эскарпы, минировали, строили дзоты. А потом немцы перешли в наступление. Пустили танков видимо-невидимо, забросали бомбами. Мы совсем растерялись, дрогнули, начали пятиться. Короче говоря, нас вывели из боя, заменили гвардейцами и отправили в Купянск. Там — опять дзоты, опять эскарпы и контр-эскарпы, до тех пор, пока не подперли немцы. Мы не долго обороняли город — два дня. Пришел при-

каз отходить на левый берег. Взорвали железнодорожный и наплавной мосты и окопались в камышах на том берегу.

«Вот тут-то уже, — думалось нам, — долгонько пролежим. Чорта с два немца через Оскол пустим!»

А он только постреливал в нас из минометов. Мы отвечали. Вот и вся война. По утрам появлялась «рама» — двухфюзеляжный разведчик «фокке-вульф». Мы усиленно и всегда безрезультатно стреляли по нему из ручных пулеметов. Спокойно урча, проплывали куда-то в тыл косяки «юнкерсов».

Саперы мои копали блиндажи для штаба, деревенские девчата рыли второй рубеж вдоль Петропавловки. А мы — штабные командиры — составляли донесения, чертили схемы и время от времени ездили в штадив на инструктивные занятия.

Жизнь текла спокойно и равномерно. Даже московская «Правда» стала до нас добираться. Потерь не было никаких.

И вдруг, как снег на голову, — приказ.

На войне обычно знаешь только то, что у тебя под самым носом творится. Не стреляют в тебя — и тебе кажется, что во всем мире тишь и гладь; начнут бомбить — и невольно начинаешь думать, что это уже начало какой-то большой операции, наступления, которое, может быть, и весь фронт, от Черного до Баренцова, зашевелит. Что делается там, наверху, в штабах, какие там составляются планы — и нами и противником, — ничего этого не знаешь, в газетах об этом не пишут, можешь только догадываться. Вот и сейчас так. Разнежились на берегу сонного, погрязшего в камышах Оскола и в ус не дули — сдержали, мол, фрица... Громыхает там, на севере, — ну и пусть громыхает, на то и война.

И вот, как гром среди чистого неба, в двадцать три ноль ноль шагом марш...

И без боя, главное, что без боя. У Булацеловки тоже пришлось оставлять насиженные окопы, но там хоть немцы заставили нас это сделать, а здесь? Только вчера мы с Ширяевым проверяли оборону. Честное слово, неплохая оборона! Даже командир дивизии

похвалил за расстановку пулеметов и прислал инженера из 852-го и 854-го учиться, как мы дзоты под домами делаем.

Неужели немец так глубоко вклинился? Воронеж... Если он действительно туда прорвался, положение наше не совсем завидное... А повидимому, прорвался, — иначе не отводили бы без боя, да еще с такого рубежа, как Оскол. А до Дона, кажется, никаких рек на нашем участке нет. Неужели на Дон уходить будем?

— Товарищ лейтенант, повозку чем грузить? — Командир взвода, молоденький, новоиспеченный, с чуть-чуть пробивающимися усиками, вопросительно смотрит на меня. — Мины будем грузить? — спрашивает.

— Машины не дали из штадива?

— Не дали.

— Закапывай тогда. На берегу остались еще?

— Остались. Штук сто.

— Ладно. Десятка два возьми с собой, на всякий случай, остальные закапывай.

— Ясно.

— Лопаты все?

— В третьем батальоне тридцать штук.

— Топай за ними. Живо!

Ловко повернувшись, он бежит к повозке, придерживая рукой планшетку. Славный мальчуган — старательный, только слишком боится старшины.

Да. Надо еще карту поменять у Корсакова. Так и не воспользовались мы той новенькой, хрустящей, с большим, разлапистым, как спрут, пятном Харькова в левом углу...

В двенадцать, тихо погромыхивая котелками, уходит в сторону Петропавловки последняя рота нашего полка.

Всю ночь мы с Ширяевым ползаем по передовой. Приходится совсем по-новому расставлять пулеметы. Вчера ушли уровцы — укрепрайон, забрали все свои пулеметы. На нашем участке их было пятнадцать, сейчас осталось только пять — два максима и три дегтярева. Не разгуляешься. Ставим максимы на флангах, ручные — между ними. Бойцов тоже приходится рас-

ставлять по-новому — фронт батальона увеличился больше чем в три раза. На километр выходит по десять-двенадцать бойцов, один от другого на 80—100 метров. Не густо, что и говорить...

Следующий день проходит спокойно. Противник — дурак, не догадывается: попрежнему бьет по дороге и северной окраине Петропавловки редко и неохотно. Две или три мины разрываются у нас во дворе — ширяевский КП находится в подвале четырехэтажного, изрешеченного снарядами дома, повидимому, в прошлом какого-то общежития. Осколком ранит рыжую кошку, живущую со своими котятами у нас в подвале. Санинструктор ее перевязывает. Она мяукает, смотрит на всех желтыми испуганными глазами, тихо забирается в ящик с котятами. Те пищат, лезут друг на друга, тыкаются мордочками в повязку и никак не могут найти сосков.

3

Ночью минируем берег. Валега, мой связной, копает ямки. Бойко, сержант, закладывает мины и маскирует их. Снаряжает маленький, юркий, похожий на жучка боец из батальона, в прошлом сапер. Его дал мне Ширяев.

Ночь темная. Иногда накрапывает дождик, теплый и приятный. Я даже не накрываюсь плащ-палаткой. Взлетают ракеты, одна за другой. Лениво строчат пулеметы.

Лежу в лопухах. Они хорошо пахнут ночной влагой и сырой землей.

Ни Валеги, ни Бойко не видно. Изредка, осторожно шурша камышами, проходит боец с минами. Он берет их сразу по четыре штуки, связывая ремнем.

Я смотрю на противоположный берег, на группы склонившихся ив, озаряемых дрожащим светом ракет...

Вспоминается наша улица — бульвар с могучими каштанами. Деревья разрослись и образовали свод. Весной они покрываются белыми и розовыми цветами, точно свечками. Осенью дворники жгут листья, а

дети набивают полные карманы каштанами. Я тоже когда-то их собирал. Мы приволакивали их домой целыми сотнями. Аккуратненькие, лакированные, они загромождали все ящики, всем мешали, и долго еще выметали их из-под шкафов и кроватей. Особенно много было их под большим диваном. Удобный был диван — мягкий, просторный Я спал на нем. В нем было много клопов, но мы жили дружно, они меня не трогали. После обеда на нем отдыхала бабушка. Я укрывал ее старым пальто, давая в руки чьи-нибудь мемуары или «Анну Каренину». Потом искал очки. Они оказывались в ящике с ложками или в буфете. Когда находил, бабушка уже спала, а старый кот Фракас, с обожженными усами, жмурился из-под облезшего воротника пальто.

Бог ты мой, как это давно было! А может, никогда и не было — только кажется...

Направо — большой гардероб. В нем мы прятались, когда в детстве играли в прятки. Тогда он стоял еще в коридоре. Потом его перенесли в комнату. На гардеробе — картонки со шляпами. На них много пыли, ее сметают только перед Новым годом, Первым мая и мамиными именинами — двадцать четвертого октября.

За гардеробом — комод с овальным зеркалом и бесчисленными вазочками и флакончиками. Я не помню, когда в этих флаконах были духи, но их почему-то не позволяли убирать. Если вынуть пробку и сильно втянуть носом, можно еще уловить запах бывших духов.

Дальше — ночной столик... Нет, голубое кресло с подвязанной ножкой. Садиться на него нельзя, — гостей всегда об этом предупреждали. А затем уже и ночной столик. Он набит мягкими клетчатыми туфлями, а в ящике — коробочки с бабушкиными порошками и пилюлями. В них уже никто не может разобраться. Там же и стаканчики для валерианки, чтоб кот не нашел...

И все это сейчас там... у них.

Последнюю открытку от матери я получил через три дня после сообщения о падении Киева. Датирована она еще была августом. Мать писала, что немцев ото-

гнали, канонады почти не слышно, открылся цирк и музкомедия. А в общем — «пиши чаще, хоть я и знаю, что у тебя мало времени, хоть три слова...»

С тех пор прошло десять месяцев. Иногда я вынимаю из бокового кармана открытку и смотрю на тонкие неразборчивые буквы. Они расплылись от дождей и пота. В одном месте, в самом низу, нельзя даже слов разобрать. Но я их знаю наизусть. Я всю открытку знаю наизусть. На адресной стороне, слева, реклама Резинотреста — какие-то ноги в высоких ботиках. А справа — марка: станция метро «Маяковская». В детстве я увлекался коллекционированием марок и просил всех друзей и знакомых наклеивать на конверты красивые новые марки. Вот и сейчас мать наклеила красивую марку, как в детстве. Они у нас лежали в маленькой длинной коробочке слева на столе. И мать, вероятно, долго выбирала, пока остановилась на этой, зеленой и красивой. Стояла над столом, и сняв пенсне, рассматривала их близорукими, сощуренными глазами...

Неужели я уже никогда ее не увижу? Маленькую, подвижную, в золотом пенсне и с крохотной, как черничная ягодка, бородавкой на носу. Я любил ее целовать в детстве — эту бородавку.

Неужели никогда больше не будем сидеть мы за кипящим самоваром с помятым боком, пить чай с любимым маминым малиновым вареньем? Никогда уже она не проведет рукой по моим волосам и не скажет: «Ты что-то плохо выглядишь сегодня, Юрок. Может, спать раньше ляжешь?» Не будет по утрам жарить мне на примусе картошку большими круглыми ломтиками, как я люблю...

Неужели никогда не буду я больше бегать за угол за хлебом, бродить по киевским улицам, тонущим в аромате цветущих лип, ездить летом на пляж, на Труханов остров...

Милый, милый Киев! Как соскучился я по твоим широким улицам, по твоим каштанам, по желтому кирпичу твоих домов, по темнокрасным колоннам университета. Как я люблю твои днепровские откосы! Зимой мы катались там на лыжах, а летом лежали в траве,

считали звезды, прислушивались к заглушенным гудкам ночных пароходов. Потом возвращались по затихшему, с погасшими витринами Крещатику, пугая тихо дремлющих в подворотнях сторожей, закутанных даже летом в мохнатые тулупы.

Я и теперь иногда гуляю по Крещатику. Завернусь в плащ-палатку, закрою глаза и иду от Бессарабки к Днепру. Останавливаюсь около Шанцера. Это самый лучший в мире кинотеатр. Так казалось в детстве. Какие-то трубящие в длинные трубы статуи вокруг экрана, жертвенники с трепещущими, будто пламя, красными ленточками, какой-то особый, возбуждающий кинематографический запах. Сколько счастливых минут пережил я в этом Шанцере! «Индийская гробница», «Багдадский вор», «Знак Зерро»... Бог ты мой, дух даже захватывает! А чуть подальше, около Прорезной, в тесном с ненумерованными местами «Корсо» шли ковбойские фильмы. Погони, перестрелки, мустанги, кольты, женщины в штанах, злодеи с тонкими усиками и саркастическими улыбками. А в «Экспрессе» — потом он почему-то стал прозаическим «Вторым Госкино» — шли салонные фильмы с Полой Негри, Астой Нильсен и Ольгой Чеховой. Мы их не очень любили, эти фильмы, но у нас в «Экспрессе» был знакомый билетер, и мы обязательно ходили туда каждую пятницу.

Я сворачиваю на Николаевскую. Самая эффектная из всех киевских улиц. Аккуратно подстриженные липы, окруженные решеточками. Большие молочно-белые фонари на толстых цепях, перекинутых от дома к дому. Ослепительные ликольны у «Континенталя». А около цирка толпы мальчишек ждут выхода Яна Цыгана и держат пари о сегодняшней встрече Данило Пасунько с Маской Смерти.

Дальше — Ольгинская, Институтская, надстроенное здание банка не то с готическими, не то с романскими башенками по углам. Тихие сонные Липки, прохладные даже в жаркие июльские полдни. Уютные особнячки с запыленными окнами. Столетние вязы дворцового сада. Шуршащие под ногами листья. И стоп — обрыв. Дальше — Днепр, синие дали,

громадное небо, плоский, ощетинившийся трубами Подол, стройный силуэт Андреевской церкви, повисшей над самой пропастью, шлепающие колесами пароходы, звонки дарницкого трамвая.

Милый, милый Киев!

Как все это сейчас далеко, и как давно все это было, боже, как давно... И институт когда-то был, и «чертежки», и доски, и бессонные, такие короткие ночи, и сопроматы, и всякие там теории архитектурной композиции, и еще двадцать каких-то предметов, которые я уже все забыл.

Нас было шестеро неразлучных друзей. Анатолий Сергеев, Руденский, Вергун, Люся Стрижева и веселый маленький Шурка Грабовский. Его почему-то все «Чижиком» звали. Вместе учились, вместе за город ездили. Во всех конкурсах вместе участвовали. Кончили институт — в одну мастерскую пошли. Только-только принялись за работу, новые рейсшины, готовальни купили — и...

Чижик под Киевом погиб, в Голосееве. Мне еще мама об этом писала. Он лежал у нее в госпитале — обе ноги оторвало. Об остальных ничего толком не знаю. Вергун, кажется, в окружение попал. Руденского, как близорукого, не мобилизовали, и он как будто эвакуировался. Он провожал меня еще на вокзале. Анатолий связистом стал — кто-то говорил, не помню уж кто.

А Люся? Может быть, она все-таки эвакуировалась? Вряд ли... У нее старая, больная мать, и я писал ее тетке в Москву, — та ничего не знает. Два года назад, как сейчас помню, пятого июня, в день Люсиного рождения, мы были с ней на Днепре. Взяли полутригер — легкий, быстрый, с подвижными сиденьями — и ездили туда, далеко, за Наталку, за стратегический мост. У нас там было излюбленное местечко — маленький, затерявшийся среди камышей и ракит очаровательный пляжик. Это место никто не знал, и там никого никогда не бывало. Вода там была прозрачная, как стекло, а с высокого бережка хорошо было прыгать с разбегу. Потом, усталые, со свежими мозолями от весел на ладонях, мы сидели

в дворцовом парке и слушали Пятую симфонию Чайковского. Мы сидели сбоку, на скамейке, и рядом были какие-то яркие красные цветы, и у дирижера был тоже какой-то цветок в петлице...

— Третий ряд будем делать? — спрашивает кто-то над самым ухом.

Я вздрагиваю.

Валега, мой связной, сидя на корточках, вопросительно смотрит на меня своими маленькими блестящими, как у кошки, глазами.

— Третий ряд... Нет, третий ряд не будем делать. Переходите на четвертый участок у пристани.

Мы перетаскиваем оставшиеся мины к пристани и начинаем минировать. Осталось еще около сорока штук.

4

Утром над нашим расположением долго кружится «мессершмитт». Огня не открываем — экономим боеприпасы. Две большие партии «хейнкелей» и одна «юнкерсов-88» на большой высоте проплывают на северо-восток.

Часов в семь вечера к нам на КП приходит молоденький лейтенант в новенькой фуражке с красным околышем — от нашего правого соседа, третьего батальона 852-го полка. Расспрашивает, как и что у нас и что собираемся делать. У них тоже все спокойно. Народу человек шестьдесят. Пять пулеметов. Минометов нет. Мы кормим его обедом и отправляем назад.

С наступлением темноты начинаем сворачиваться. Нагружаем две повозки. Третью бросаем. Ширяевский старшина, одноглазый Пилипенко, никак не может расстаться со своими запасами — старыми ботинками, седлами, мешками с тряпьем. Пристраивает их со всех сторон повозки. Ширяев выкидывает. Пилипенко с безразличным видом жует «козью ножку», а когда Ширяев уходит, старательно запихивает мешки под ящики с патронами.

— Такие ботинки бросать. Бога побоялся бы.

Впереди еще пол-России колесить, — и он прикрывает рваной рогожей выглядывающие из-под ящиков мешки.

Часов в одиннадцать начинаем снимать бойцов. Они приходят поодиночке, молча ложатся на зеленом когда-то газоне двора. Украдкой покуривая, укладываются, перематывают портянки.

Ровно в двенадцать даем последнюю очередь. Уходим.

Некоторое время белеет сквозь сосны силуэт дома. Потом исчезает.

Обороны на Осколе более не существует. Все, что вчера еще было живым, стреляющим, ощетинившимся пулеметами и винтовками, что на схеме обозначалось маленькими красными дужками, зигзагами и перекрещивающимися секторами, на что было потрачено тринадцать дней и ночей, — вырытое, перекрытое в три или четыре наката, старательно замаскированное травой и ветками, — все это уже никому не нужно. Через несколько дней все это превратится в заплывшее илом жилище лягушек, заполнится черной вонючей водой, обвалится, а весной покроется зеленой свежей травой. И только детишки по колено в воде будут бродить когда-нибудь по тем местам, где стояли когда-то фланкирующие и кинжального действия пулеметы, и собирать заржавленные гильзы. Все это мы оставляем без боя, без единого выстрела...

Мы идем сосновым лесом, реденьким, молоденьким, недавно, должно быть, посаженным. Проходим мимо штабных землянок. Так и не докопали мы землянки для строевой части. Зияет недорытый котлован. Смутно белеют в темноте свежеобструганные сосенки. На плечах таскали их из соседней рощицы для перекрытия.

Петропавловка — бесконечно длинная, пыльная. Церковь с дырой в колокольне. Полусгнивший мостик, который я по плану как раз сегодня должен был чинить.

Тихо. Удивительно тихо. Даже собаки не лают.

Никто ничего не подозревает. Спят. А завтра проснутся и увидят немцев.

И мы идем молча, точно сознавая вину свою, смотря себе под ноги, не оглядываясь, ни с кем и ни с чем не прощаясь — прямо на восток, по азимуту сорок пять.

Рядом шагает Валега — маленький, выносливый, как ишачок, алтаец. Он тащит рюкзак, две фляжки, котелок, планшетку, полевую сумку и еще сумку от противогаза, набитую хлебом. Перед отходом я хотел часть вещей выкинуть, чтоб легче было нести. Он даже не подпустил меня к мешку.

— Я лучше вас знаю, что вам нужно, товарищ лейтенант. Прошлый раз сами укладывались, так и зубной порошок, и помазок, и стаканчик для бритья — все забыли. Пришлось к химикам ходить.

Нечего было возразить. У Валеги характер диктатора — спорить с ним немыслимо. А вообще это замечательный человек.

Он умеет все. Никогда ни о чем не спрашивает и ни одной минуты не сидит без дела. Куда бы мы ни пришли — через пять минут уже готова палатка, уютная и удобная, обязательно выстланная свежей травой. Котелок его сверкает всегда, как новый. Он никогда не расстается с двумя фляжками — одна с молоком, другая с водкой. Где достает, неизвестно, но они всегда полны. Он умеет стричь, брить, чинить сапоги, разводить костер под проливным дождем. Каждую неделю я меняю белье, а носки он так штопает, что невозможно определить, где же была дырка. Если стоим у реки — у нас ежедневно рыба, если в лесу — земляника, черника, грибы. И все это молча, быстро, без всякого напоминания с моей стороны. За все девять месяцев нашей совместной жизни мне ни разу не удалось на него рассердиться.

Сейчас он шагает рядом мягкой, беззвучной походкой охотника. Я знаю, будет привал — и он расстелет плащ-палатку на самом сухом месте, а в ру-

ках у нас окажется по куску хлеба с маслом и в чистой эмалированной кружке молоко. Потом он ляжет рядом, маленький, круглоголовый, молча будет смотреть на звезды и попыхивать крохотной, уродливой трубочкой, делающей его похожим на старичка, хотя ему всего восемнадцать лет.

О себе он говорит мало. Знаю только, что отца и матери у него нет. Есть где-то замужняя сестра, которую он совсем почти не знает. За что-то судился, но за что — не говорит. Сидел. Досрочно освобожден. На войну пошел добровольцем. Фамилия его настоящая Волегов, с ударением на первом «о». Но зовут его все Валега. Вот и все, что я знаю о нем.

Мы разговариваем редко — он неразговорчив. Один только раз он чуть-чуть приоткрылся. Это было весной, месяца три назад. Мы дьявольски промокли и устали. Сушились у костра. Я выкручивал портянки. Он в консервной банке варил пшенный концентрат. Мы уже две недели сидели на этом концентрате и не могли на него равнодушно смотреть.

Кругом было темно и холодно. Промокшая плащпалатка топорщилась и нисколько не согревала. Мы были вдвоем.

С трубкой во рту, освещенный пламенем костра, он похож был на гнома, готовящего волшебное варево.

— Когда кончится война, — сказал он, — я поеду на родину и построю себе дом в лесу. Бревенчатый. Я люблю лес. И вы приедете ко мне и проживете у меня три недели. Мы будем ходить с вами на охоту и рыбу ловить...

Я улыбнулся:

— Почему именно три недели?

— А сколько же? — Он удивился, но лицо его ничуть не изменилось. — Больше не сможете. Вы будете работать. А на три недели приедете. Я знаю такие места, где есть медведи, и лоси, и щуки по пятнадцати фунтов весом. У нас хорошие леса на Алтае. Не такие, как здесь. Сами увидите. — Он вынул и облизал ложку. — И пельменями вас угощу. Я умею делать пельмени. По-особому. По-нашему.

На этом разговор и кончился.

Сейчас я спрашиваю:

— Ну как, Валега, когда же мы твоих пельменей попробуем?

Он даже не улыбается.

— Мяса такого нет. И приготовить его здесь по-настоящему нельзя.

— Значит, до конца войны ждать будем?

Он не отвечает и продолжает шагать. Ботинки ему непомерно велики — носки загнулись кверху, а пилотка мала, торчит на самой макушке. Я знаю, что в ней воткнуты три иголки — с белой, черной и защитного цвета ниткой.

Часов в семь делаем большой привал. На карте село называется Верхняя Дуванка. Здесь же его называют Вершиловкой. От Петропавловки оно в двадцати двух километрах. Значит, прошли около тридцати. Это неплохо — дорога трудная.

Бойцы с непривычки устали. Скинув мешки, лежат в тени фруктового сада, задрав ноги. Наиболее проворные тащат в котелках молоко и ряженку. Валега тоже раздобыл где-то буханку белого хлеба и мед в сотах.

Я ем и хвалю, хотя у меня нет аппетита. Но нельзя обижать Валегу.

Ноги гудят. Левая пятка немного натерта. Вообще с сапогами дело дрянь. Совсем разваливаются. Так и не дождался я брезентовых. Хоть проволокой обматывай. Надо было послушаться Валегу и походить один день в ботинках — были бы отремонтированы сапоги. А теперь чорт его знает, когда с вещевым складом встретишься. Полк, вероятно, уже далеко, километров за семьдесят — восемьдесят. Возможно, они где-нибудь стали в обороне или пробиваются через немцев. Местное население говорит, что «ранком в неділю проходили солдати. А увечорі пушки йшли». Должно быть, наши дивизионки. «Тільки годину стояли і далі подались. Такі заморені, невеселі солдати».

А где фронт? Спереди, сзади, справа, слева? Существует ли он? На карте его обычно обозначают

жирной красной линией. Противника — синей. Вчера еще эта синяя линия была по ту сторону Оскола. А сейчас?

Пожалуй, до утра немцы ничего не предпринимали. Разведчиков они, вероятно, не раньше двух часов послали, заметив, что мы молчим. Часа в три-четыре начали переправлять пехоту. Даже позже — сборы, приказы и тому подобное. Часов в пять. Сейчас восемь, без пяти восемь. Моторазведка, конечно, могла бы уже нас догнать. Вероятно, ее нет у них. А пехота не догонит. Танки и автомашины раньше вечера, а то и завтрашнего утра на эту сторону не переберутся. Все зависит от того, есть ли у них понтонные парки.

Немцы подошли к Воронежу. Возможно, они его уже взяли.

Почему не слышно никакой стрельбы? Позавчера еще канонада доносилась с севера. Потом стала тише и передвинулась на северо-восток. Сейчас вообще ничего не слышно. Тишина.

Солдаты толкутся у костра с кулешом. Как всегда, ворчат, что мало наливают. Трясут яблони. Я встаю и подхожу к Ширяеву. Он сидит, чистит пистолет. Рядом сохнут портянки.

— Будем трогаться?

Сощурив глаз, Ширяев рассматривает на свет ствол пистолета.

— Вот хлопцы покушают и двинем. Минут двадцать, не больше.

— Сколько до Ново-Беленькой осталось?

— Километров шестьдесят — семьдесят. Вон карта лежит.

Я меряю по карте. Выходит шестьдесят пять километров.

— Два перехода еще.

— Если поднажмем — завтра к обеду будем.

— Быть-то будем, но застанем ли мы там когонибудь? Боюсь, что не того, кого нужно. Не нравится мне эта тишина.

Подходит адъютант старший, весь красный от

веснушек, — лейтенант Саврасов. У него озабоченный вид. Подсаживается. Закуривает.

— Двух человек уже нехватает.

Ширяев кладет пистолет на портянку и поворачивается к Саврасову.

— Как нехватает?

— Сидоренко из первой роты и Кваст со второй. Вечером еще были.

— Куда ж они делись?

Саврасов пожимает плечами.

— Может, ноги потерли?

— Не думаю.

— Давай сюда командиров рот.

Ширяев быстро собирает пистолет и наматывает портянки. Приходят командиры рот.

Оказывается, Сидоренко и Кваст — односельчане. Откуда-то из-под Двуречной. К одному из них даже жена приезжала, когда мы в обороне стояли. Всегда держались вместе, хотя были в разных ротах. Раньше за ними ничего не замечалось.

Ширяев слушает молча, плотно сжав губы. Смотрит куда-то в сторону. Не вставая и не глядя на командиров рот, говорит медленно, почти без выражения:

— Если потеряется еще хоть один человек, расстреляю из этого вот пистолета. — Хлопает себя по кобуре. — Понятно?

Командиры рот ничего не отвечают. Стоят и смотрят в землю. У одного вздрагивает веко.

— Этих двух уже не найти. Дома, защитнички... Отвоевались... — Он ругается и встает. — Подымайте людей!

Глаза у него узкие и колючие. Я никогда не видел его таким. Он оправляет гимнастерку, убирает складки с живота, — все это резкими, короткими движениями.

Он ставит пистолет на предохранитель и прячет в кобуру.

Бойцы вытягиваются на дорогу. На ходу заматывают обмотки. В руках котелки с молоком. У ворот стоят женщины — молчаливые, с вытянутыми вдоль

тела тяжелыми грубыми руками. У каждого дома стоят. Смотрят, как мы проходим мимо. И дети смотрят. Никто не бежит за нами. Все стоят и смотрят.

Только одна бабушка, в самом конце села, подбегает меленьким старушечьим шажком. Лицо в морщинах, точно в паутине. В руках — рыжий горшочек с ряженкой. Кто-то из бойцов подставляет котелок. «Спасибо, бабуся». Бабуся быстро-быстро крестит его и так же быстро ковыляет назад, не оборачиваясь.

5

С Игорем сталкиваемся совершенно неожиданно. Он и Лазаренко, связной штаба, оба верхом, вырастают перед нами точно из-под земли. Кони храпят. Игорь без пилотки, черный от пыли, на щеке — царапина.

— Воды!

Впивается в фляжку. Запрокинув голову, долго пьет, двигая кадыком. Мы ни о чем не спрашиваем.

— Перевяжи кобылу, Лазаренко.

Лазаренко отводит лошадей. Большая рыжая кобыла — по-моему, комиссарова — хромает. Пуля пробила левую заднюю ногу. Кровь запеклась, липнут мухи.

Игорь вытирает ладонью губы, садится на обочину.

— Дела дрянные, — говорит он, — полк накрылся.

Мы молчим.

— Майор убит... комиссар — тоже...

Игорь кусает нижнюю губу. Губы у него совершенно черные от пыли, сухие, потрескавшиеся.

— Второй батальон неизвестно где... От третьего — рожки да ножки. Артиллерии нет. Одна сорокапятимиллиметровка осталась, и та с подбитым колесом... Дайте закурить. Портсигар потерял.

Закуриваем все трое. Газеты нет, — рвем листочки из блокнота.

— Максимов сейчас за командира полка. Тоже ранен. В левую руку, в мякоть. Велел вас разыскать и повернуть.

— Куда?

— А кто его знает, куда! Карта есть? У меня ни черта не осталось. Ни карты, ни планшетки, ни связного. Пришлось Лазаренко с собой взять...

— А Афонька что, убит?

— Ранен. Может, уже умер. В живот попало. Направил в медсанбат, а тот тоже вдребезги.

— И медсанбат?

— И медсанбат. И дивизионная рота связи, и тылы... Дай воды!

Он делает еще несколько глотков, полощет рот. Только сейчас замечаю, как сильно похудел он за эти два дня. Щеки провалились, цыганские глаза блестят, волосы спиральками прилипли ко лбу.

— Короче говоря, в полку сейчас человек сто, не больше. Вернее, когда я уезжал, было сто. Это вместе со всеми — с кладовщиками и поварами. Саперы твои пока целы. Один, кажется, только ранен. У тебя горит?

Он прикуривает, придерживая пальцами мою цыгарку. Глубоко затягивается. Выпускает дым толстой, сильной струей.

— В общем, Максимов сказал — разыскать вас и итти на соединение с ним.

Ширяев вытаскивает карту.

— На соединение с ним? В каком месте?

— Со штадивом связь потеряли. — Игорь скребет затылок мундштуком. — Максимов сам принял решение. Повидимому, штадив от нас отрезан. Последнее место его было километров двадцать от Ново-Беленькой. Но до Ново-Беленькой мы так и не дошли.

— А где сейчас немцы?

— Немцы? Яичницу жрут километрах в десяти — двенадцати отсюда. И шнапсом запивают.

— Много их?

— Хватит! Машин сорок насчитали. Все пятитонки, трехосные. Считай по шестнадцать человек — уже шестьсот пятьдесят.

— А куда движутся?

— Не докладывали. Оттуда две дороги. Одна сюда, другая — вроде грейдера — на юг.

— А Максимов куда приказал?

Игорь тычет пальцем в карту.

— На Кантемировку. Вернее, до села Хуторки. Если там не застанем, тогда строго на юг, на Старобельск.

Мы подымаем бойцов. С большой дороги сворачиваем. Идем проселком. Кругом, насколько хватает глаз, высокие, сгибающиеся под тяжестью зерен хлеба. Бойцы срывают колосья, растирают в ладонях, жуют спелые золотистые зерна. Высоко в небе поют жаворонки. Идем в одних майках, в гимнастерках жарко.

Оказывается, все произошло совершенно неожиданно. Пришли в какое-то село. Расположились. Игорь был с третьим батальоном. Второй где-то впереди, километрах в пяти. Стали готовить обед. Проходящие через село раненые бойцы говорили, что немец далеко — километрах в сорока: сдержали как будто.

И вдруг оттуда, из села, где расположился второй батальон, — танки. Штук десять — двенадцать. Никто ничего не понял. Поднялась стрельба, суматоха. Откуда-то появились вражеские автоматчики. Во время перестрелки убило майора и комиссара. Три танка подбили. Автоматчиков из села выгнали. Заняли круговую оборону. Тут-то Максимов и послал Игоря за нами. Как раз когда он выезжал из села, немцы перешли в атаку — десятка два танков и мотопехота, машин с полсотни. По пути Игоря обстреляли. Ранили лошадь. Откуда у него царапина на щеке, он и сам не знает. Ничего не чувствовал.

Пересекаем противотанковый ров. Громадными зигзагами тянется он по полю, теряясь где-то за горизонтом. Земля еще свежая, — видно, недавно работали. Траншеи чистенькие, аккуратные, растрассированные по всем правилам, старательно замаскированные травой. Трава зеленая, сочная, не успела еще высохнуть.

Все это остается позади — громадное, ненужное, никем не использованное.

Так идем целый день. Иногда присаживаемся где-нибудь в тени под дубом. Потом опять подымаемся, шагаем по сухой, серой дороге. Воздух дрожит от жары. Одолевает пыль. Проведешь рукой по лбу — рука черная. Тело чешется от пота. Гимнастерки у бойцов мокрые насквозь. Портянки — тоже. Даже курить не хочется. Неистово звенят кузнечики.

В каком-то селе бабы говорят, что час тому назад проехали немцы, машин двадцать. А вечером мотоциклистов видимо-невидимо. И все туда — за лес...

Положение осложняется. С повозками приходится расстаться. Снимаем пулеметы, патроны раздаем бойцам на руки. Часть продуктов тоже оставляем — ничего не поделаешь.

Ночью идет дождь — мелкий, настойчивый, противный.

6

На рассвете наталкиваемся на полуразрушенные сараи. Повидимому, здесь была птицеферма — кругом полно куриного помета. День начинается пасмурный, сырой. Мы озябли, в сапогах хлюпает, губы синие. Но костров разжигать нельзя: сараи просматриваются издалека.

Я не успеваю заснуть под натянутой плащ-палаткой, как кто-то носком сапога толкает меня в ноги.

— Занимай оборону, инженер. Фрицы.

Из-под палатки видны сапоги Ширяева — собранные в гармошку, рыжие от грязи. Моросит дождь. Сквозь стропила видно серое, скучное небо.

— Какие там еще фрицы? Где?

— Посмотри — увидишь.

Ширяев протягивает бинокль. Цепочка каких-то людей движется параллельно нашим сараям километрах в полутора от нас. Их немного — человек двадцать. Без пулеметов. Должно быть, разведка.

Ширяев кутается в плащ-палатку.

— И чего их сюда несет? Дороги им мало, что ли? Вот увидишь, сюда попрут, к сараям.

Подходит Игорь.

— Будем жесткую оборону занимать? А, комбат?

Он тоже, повидимому, спал, — одна щека красная, вся в полосках. Ширяев, не поворачивая головы, смотрит в бинокль.

— Уже... Подумали, пока вы изволили дрыхнуть. Люди разложены, пулеметы расставлены. Так и есть... Остановились.

Беру бинокль. Стекла замокли, видно плохо, приходится все время протирать. Немцы о чем-то совещаются. Поворачивают в нашу сторону. Один за другим спускаются в балочку. Возможно, решили итти по балке. Некоторое время никого не видно. Потом фигуры появляются ближе. Вылезают из оврага, идут прямо по полю.

— Огня не открывать, пока не скажу, — вполголоса говорит Ширяев. — Два пулемета я в соседнем сарае поставил, оттуда тоже хорошо.

Бойцы лежат вдоль стены сарая, у окон и дверей. Кто-то без гимнастерки, в голубой майке и накинутой плащ-палатке взгромоздился на стропила.

Цепочка идет прямо на нас. Можно уже без бинокля различить отдельные фигуры. Автоматы у всех за плечами. Впереди — высокий, худой, в очках, должно быть командир. У него нет автомата, — на левом боку пистолет. У немцев он всегда на левом боку. Слегка переваливается при ходьбе — видно, устал. Рядом — маленький, с большим ранцем за спиной. Засунув руки за лямки, курит коротенькую трубку и в такт походке кивает головой, точно клюет. Двое отстали. Наклонившись, что-то рассматривают.

Игорь толкает меня в бок.

— Смотри... видишь?

В том месте, где появилась первая партия немцев, опять что-то движется. Но пока трудно разобрать — мешает дождь.

И вдруг над самым ухом:

— Огонь!

Передний, в очках, тяжело опускается на землю. Его спутник — тоже. И еще несколько человек. Остальные бегут, падают, спотыкаются, опять подымаются, сталкиваются друг с другом.

— Прекратить!

Ширяев опускает автомат. Щелкают затворы. Раненый пытается переползти. Его укладывают. Он так и застывает на четвереньках, потом медленно валится набок. Больше ничего не видно и не слышно. Так длится несколько минут.

Ширяев поправляет сползшую на затылок пилотку.

— Закурим?

Игорь ищет в кармане табак.

— Сейчас опять полезут.

Он вытягивает рыжую круглую коробку с табаком. Немцы в таких носят масло и повидло.

— Ничего, перекурить успеем. Все-таки веселее. — Ширяев скручивает толстенную, как палец, цыгарку.

— Интересно, есть ли у них минометы. Если есть, тогда...

Разорвавшаяся в двух шагах от сарая мина не дает окончить фразу. Вторая разрывается где-то за стеной. Третья — прямо в сарае.

Обстрел длится минут пять. Ширяев сидит на корточках, опершись спиной о стенку. Игоря не видно. Мины летят сериями, по пять-шесть штук. Потом — перерыв несколько секунд и снова пять-шесть штук. Рядом кто-то стонет высоким, почти женским голосом. Потом сразу — тишина.

Приподымаюсь на руках, выглядываю в окно. Немцы бегут по полю, прямо на нас.

— Слушай мою команду!

Ширяев вскакивает и одним прыжком оказывается у пулемета.

Три короткие очереди. Потом одна длинная.

Немцы исчезают в овраге. Мы выводим бойцов из сараев. Они окапываются по ту сторону задней стенки. В сараях оставляем только два пулемета —

пока достаточно. У нас уже четверо раненых и шестеро убитых.

Опять начинается обстрел. Под прикрытием минометов немцы вылезают из оврага. Они успевают пробежать метров двадцать, не больше. Местность совершенно ровная, укрыться негде. Поодиночке убегают в овраг. Большинство так и остается на месте. На глинистой, поросшей бурьяном земле одиноко зеленеют бугорки тел.

После третьего раза противник прекращает атаки. Ширяев вытирает рукавом мокрый от дождя и пота лоб.

— Сейчас окружать начнут. Я их уже знаю.

В окно влезает Саврасов. Он страшно бледен. Мне даже кажется, что у него трясутся колени.

— В том сарае почти всех перебило... — Он с трудом переводит дыхание. — Осколком повредило пулемет. По-моему... — Саврасов растерянно переводит глаза с комбата на меня и опять на комбата.

— Что, по-моему? — резко спрашивает Ширяев.

— Надо что-то... это самое... решать...

— Решать! Решать! И без тебя знаю, что решать. Сколько человек вышло из строя?

— Я еще... не того... не считал...

— Не считал...

Ширяев встает. Подходит к задней стене сарая. Сквозь разрушенное окно видно ровное, однообразное поле без единого кустика.

— Ну что ж. Двигаться будем. А? Здесь не даст житья.

Поворачивается. Он несколько бледнее обычного.

— Который час? У меня часы стали.

Игорь смотрит на часы.

— Двадцать минут двенадцатого.

— Давайте тогда... — Ширяев жует губами. — Только пулеметом одним придется пожертвовать. Прикрывать нас надо.

Оказывается, из пулеметчиков остался один Филатов. Кругликов убит, Севастьянов ранен. Ширяев обводит глазами сарай.

— А Седых? Где Седых?

— Вон, на стропилах сидит.

— Давай сюда!

Парень в майке, ловко повисув на руках, легко спрыгивает на землю.

— Пулемет знаешь?

— Знаю, — тихо отвечает парень, почти не шевеля губами.

Он смотрит прямо на Ширяева, не мигая.

Лицо у него розовое, с золотистым пушком на щеках. Глаза совсем детские — веселые, голубые, чуть-чуть раскосые, с длинными, как у девушки, ресницами. С таким лицом голубей гонять да с соседскими мальчишками драться! И совсем не вяжутся с его детскостью — точно спутал кто-то — крепкая шея, широкие плечи, тугие, вздрагивающие от каждого движения бицепсы. Он без гимнастерки. Ветхая бесцветная майка так и трещит под напором молодых мускулов.

— А где гимнастерка? — Ширяев сдерживает улыбку, но спрашивает все-таки по-комбатски, грозно.

— Вшей бил, товарищ комбат. А тут как раз эти... фрицы. Вот она, за пулеметом. — И он смущенно ковыряет мозоль на широкой загрубелой ладони.

— Ладно, а немецкий знаешь?

— Что? Пулемет?

— Конечно, пулемет. О пулеметах сейчас говорим.

— Немецкий хуже... но думаю, как-нибудь... — он запинается.

— Ничего, я знаю, — говорит Игорь, — все равно надо кому-нибудь из командиров остаться.

Он стоит, засунув руки в карманы, слегка раскачиваясь из стороны в сторону.

— А я думал — Саврасова. Впрочем, ладно. — Ширяев не договаривает, поворачивается к Седых. — Ясно, орел? Останешься здесь со старшим лейтенантом. Лазаренко тоже остается — ребята боевые, положиться можно. Сам видишь — один Филатов остался. Будете прикрывать. Понятно?

— Понятно, — тихо отвечает Седых.

— Что понятно?

— Останусь прикрывать со старшим лейтенантом.

— Тогда по местам. — Ширяев застегивает воротник гимнастерки — становится совсем холодно. — Вот на тот садись, только перетащи его. Тут, где максим, лучше. Готовь людей, Саврасов.

Саврасов отходит. Я не могу оторваться от его колен, — они дрожат и дрожат мелкой противной дрожью.

— Долго не засиживайтесь, — говорит Ширяев Игорю. — Час, не больше. И за нами топайте. Строго на восток. На Кантемировку.

Игорь молча кивает головой, раскачиваясь с ноги на ногу.

— Пулемет бросайте. Затвор выкиньте. Ленты, если останутся, забирайте.

Через пять минут сарай пустеет. Я с Валегой тоже остаюсь. Ширяев уходит с четырнадцатью бойцами. Из них четверо раненых, один — тяжело. Его тащат на палатке.

Дождь перестал. Противник молчит. Воняет раскисшим куриным пометом. Лежим с Игорем около левого пулемета. Седых, установив пулемет, поглядывает в окно. Валега попыхивает трубочкой. Потом вытаскивает сухари и фляжку с водкой. Пьем по очереди из алюминиевой кружки. Опять начинается дождь.

— Товарищ лейтенант, а правда, что у Гитлера одного глаза нет? — спрашивает Седых, смотря на меня своими ясными, детскими глазами.

— Не знаю, Седых. Думаю, что оба глаза на месте.

— А Филатов, пулеметчик, говорит, что у него одного глаза нет. И что он даже детей не может иметь...

Я улыбаюсь. Чувствуется, что Седых очень хочется, чтоб действительно было так. Лазаренко снисходительно подмигивает одним глазом.

— Його газами ще в ту війну отруіли, і взагалі він не німець, він австріяк, фамилія в нього не Гітлер, а складна якась — на букву «ш». Правильно, товарищ лейтенант?

— Правильно. Шикльгрубер — его фамилия. Он тиролец...

Седых натягивает на себя гимнастерку.

— А его фрицы любят?

Я рассказываю, как и почему Гитлер пришел к власти. Седых слушает внимательно, чуть приоткрыв рот, не мигая; Лазаренко — с видом человека, который давно все это знает. Валега курит.

— А правда, что Гитлер только ефрейтор? Нам политрук говорил.

— Правда.

— Как же это так?.. Самый главный — и ефрейтор. Я думал, что политрук врет.

Он смущается и принимается за мозоль. Мне нравится, как он смущается.

— Ты давно уже воюешь, Седых?

— Давно-о. С сорок первого, с сентября.

— А сколько же тебе лет?

Он морщит лоб.

— Мне? Девятнадцать, что ли. С двадцать третьего года я.

Оказывается, он еще под Смоленском был ранен в лопатку осколком. Три месяца пролежал, потом направили на Юго-Западный. Звание сержанта он получил уже здесь, в нашем полку.

— Ну, и что же, нравится тебе воевать?

Он опять смущается и, улыбаясь, пожимает плечами.

— Пока ничего. Драпать вот только неинтересно.

Даже Валега, и тот улыбается.

— А домой не хочешь? Не соскучился?

— А дома что? Девчата. Больше ничего.

— Значит, не хочешь домой?

— Чего! Хочу... Только не сейчас.

— А когда же?

— А чего ж так приезжать? Надо уже с кубарем, как вы.

Валега вдруг приподымается, смотрит в окно.

— Что такое?

— Фрицы, по-моему. Во-он, за бугром...

Левее нас, в обход, движутся немцы. Перебежками

по одному. Игорь наклоняется к пулемету. Короткая очередь. Спина и локти у него трясутся. Немцы скрываются.

— Сейчас из минометов начнет шпарить, — вполголоса говорит Лазаренко, отползая к своему пулемету.

Минуты через две начинается обстрел. Мины ложатся вокруг сарая — внутрь не попадают. Немцы опять пытаются перебегать. Пулемет подымает только небольшую полоску пыли. Дальше этой полоски немцы не идут. Так повторяется три или четыре раза.

Лента приходит к концу. Выпускаем последние патроны и поочередно вылезаем в заднее окно. Седых, Игорь, Валега, потом я. За мной — Лазаренко.

Когда сползаю с окна, рядом разрывается мина. Прижимаюсь к земле. Что-то тяжелое наваливается сзади и медленно сползает в сторону. Лазаренко ранен в живот. Я вижу его сразу ставшее белым лицо и стиснутые крепкие зубы.

— Капут... кажется... — Он пытается улыбнуться. Из-под рубашки вываливается что-то красное. Он судорожно сжимает его пальцами. На лбу выступают крупные капли пота.

— Я... товарищ лейт... — Он уже не говорит, а хрипит. Одна нога подогнулась, он не может ее выпрямить. Запрокинув голову, он часто-часто дышит. Руки не отрываются от живота. Верхняя губа мелко дрожит. Он хочет еще что-то сказать, но понять уже ничего нельзя. Весь напрягаясь, он хочет приподняться и вдруг сразу обмякает. Губа перестает дрожать.

Мы вынимаем из его карманов перочинный ножик, сложенную для курева газету, потертый бумажник, перетянутый красной резинкой. В гимнастерке — комсомольский билет и письмо-треугольник с кривыми, детскими буквами.

Кладем Лазаренко в щель и, прикрыв плащ-палаткой, засыпаем руками. Он лежит с согнутыми в коленях ногами, как будто спит. Так всегда спят бойцы в щелях.

Потом поодиночке перебегаем к небольшому бугорку. От него к другому — побольше. Немцы все еще обстреливают сарай. Некоторое время виднеются стропила, потом и они скрываются.

7

Ночью натыкаемся на наших. Тьма кромешная, дождь, грязь. Какие-то машины, повозки. Чей-то хриплый, надсадистый голос покрывает общий гул голосов, до тошноты вязнет в ушах.

— Н-но, холера! Нно-н-но! Щоб тебе, паразит!

И эта «холера» и «паразит», однообразные и без всякого выражения, с небольшими паузами, чтоб набрать воздух в легкие, сейчас лучше всякой музыки. Свои!

Какой-то мостик. Большая, крытая брезентом повозка провалилась одним колесом сквозь настил. Две жалких кобыленки — кожа да кости, окровавленные бока, вытянутые шеи — скользят подковами по мокрому настилу. Сзади машины. В свете вспыхивающих фар — мокрые фигуры. Здоровенный детина в телогрейке хлещет лошадей по глазам и губам.

— Холера паразитова. Н-но. Щоб тебя! Н-но.

Кто-то копошится у колес, ругаясь и кряхтя.

— Да ты не за эту держи. А за ту... вот так...

— Вот тебе и вот так. Не видишь — прогнила.

— А ты за ось.

— За ось! Смотри, сколько ящиков навалено. За ось...

Кто-то в капюшоне задевает меня плечом.

— Сбросить ее к чортовой матери!

— Я те сброшу, — поворачивается здоровенный детина.

— Вот и сброшу. Из-за тебя, что ли, машины стоять будут?

— Ну и постоят.

— Серега, заводи машины. — Человек в капюшоне машет рукой.

Здоровенный детина хватает его за плечо. Из-под

повозки вылезают еще трое. В свете фар мелькают мокрые спины, усталые, грязные лица, сдвинутые на затылок пилотки. В человеке с капюшоном узнаю начальника наших оружейных мастерских Копырко. Капюшон лезет ему на глаза, мешает. Меня Копырко не узнает.

— Чего вам еще надо?

— Не узнаешь? Керженцев — инженер.

— Елки-палки! Откуда? Один?

Не дожидаясь ответа, опять накидывается на детину с кнутом. Все наваливаются на подводу и с криком, хряком вытягивают колесо. Валега и Седых принимают деятельное участие.

— Садись на машину, — говорит Копырко, — подвезу.

— А куда путь держишь?

— Как куда?

— Куда подвезешь? Мне в Кантемировку надо. Хуторки какие-то там есть.

— На фрицев посмотреть, что ли? — Копырко устало улыбается. — Я еле-еле оттуда машину выгнал.

— А сейчас куда?

— Куда все. На юг... Миллерово, что ли. Ну, давай на машину.

— Я не один. Нас четверо.

Он колеблется.

— Ладно. Садитесь. Все равно горючего нехватит. А кто с тобой?

— Свидерский и двое бойцов — связные.

— Залезайте в кузов. Вон в тот форд. Впрочем... мы с тобой и в кабине поместимся. Чорт его знает, выдержит ли этот мост?

Но мост выдерживает. Кряхтит, но выдерживает. Машина идет тяжело, хрипя и кашляя. Мотор капризничает.

— Ширяева не встречал? — спрашиваю я.

— Нет. А где он?

— Со мной был, а сейчас не знаю где.

— Слыхал, что майора и комиссара убило?

— Слыхал. А Максимова?

— Не знаю — я с тылами был.

Копырко круто тормозит. Впереди — затор.

— Вот так все время. Э-э, чорт!! Три шага проедем — час стоим. И дождь еще этот.

Спрашиваю, кто еще есть из полка.

— Да никого. Ни черта не разберешь. Тут и наша армия, и соседние. Штадив куда-то на север пошел. А там немцы. Ни карт, ни компаса.

— А немцы?

— А бог их знает, где они сейчас. Два часа тому назад в Кантемировке были. Бензин на исходе. А тут еще простудился. Слышишь, какой голос, — он проводит рукой по глазам. — Две ночи не спал. Шофер и оружейный мастер куда-то провалились во время бомбежки. Два бачка бензина кто-то спер. Одним словом — сам понимаешь.

Впереди стоящая машина трогается. Едем дальше. В кабине тепло, греет радиатор, я раскисаю, начинаю клевать носом. Не то бодрствую, не то сплю. На ухабах просыпаюсь. Опять засыпаю. Снится какая-то нелепость.

К утру кончается бензин. Еле дотягиваем до села.

В первой же хате валимся на пол, на храпящие тела, семечную шелуху.

За день немного подсохло. Тучи рваными клочьями бегут куда-то на восток. Изредка выглядывает солнце — торопливо и неохотно. Дорога запружена. Форды, газики, зисы, крытые громадные студебеккеры. Их, правда, немного. И повозки, повозки, повозки... Проползает дивизионная артиллерия. На длинных стволах гроздьями болтаются гуси. Неистово визжит где-то поросенок. Какие-то тележки, самодельные повозки, пустые передки. Много верховых. Два обозника верхом на коровах. Вместо поводьев — обмотки, привязанные к рогам. Под общий хохот они медленно протискиваются между повозками. И все это — с криком, гиком, щелканьем бичей — движется куда-то вперед, вперед, на юго-восток, туда, за горизонт, мимо рощи, мимо мельницы, мимо тригонометрической треноги в поле. Громадная пестрая

гусеница ползет, извивается, останавливается, вздрагивает, опять ползет...

Мы сидим на длинной корявой колоде у дороги, курим последний табак. У Валеги в мешке есть еще пачка махорки, но это все, а нас — четверо. Копырко куда-то исчез со своей машиной. Раздобыл, вероятно, где-нибудь горючее и уехал, не дожидаясь нас. Бог с ним. Хорошо, что хоть ночью подвез.

Повозки сворачивают к колодцу. Там — давка и крики. В колодце уже почти нет воды. Лошади отворачиваются от мутной, горохового цвета жижи. И все-таки все лезут и кричат, размахивая ведрами.

— Ну? — говорит Игорь и смотрит куда-то в сторону.

— Что — ну?

— Дальше что?

— Итти, повидимому.

— Куда?

Я сам не знаю, куда, но все-таки отвечаю:

— Своих искать...

— Кого своих — Ширяева, Максимова?

— Ширяева, Максимова, полк, дивизию, армию...

Игорь не отвечает, насвистывает. Он здорово осунулся за эти дни — нос лупится, усики, когда-то кокетливые, в линеечку, обвисли. Что общего сейчас с тем изящным молодым человеком на карточке, которую он мне как-то показывал? Шелковая рубашка, полосатый галстук с громадным узлом, брюки-чарли. Дипломант художественного института. Сидит на краю стола, в небрежной позе, с папиросой в зубах, с палитрой в руках. А сзади — большое полотно с какими-то динамичными, куда-то устремленными фигурами.

На другой карточке — славная, с чуть-чуть раскосыми глазами девушка в белом свитере. На обороте трогательная надпись. Неокрепший, полудетский почерк.

Всего этого нет... И полка нет, и взвода, и Ширяева, и Максимова. Есть только натертая пятка, насквозь пропотевшая гимнастерка в белых разводах, «ТТ» на боку, и фашисты в самой глубине России,

прущие лавиной на Дон, и вереницы машин, и тяжелые, как жернова, ворочающиеся мысли.

У колодца огромная толпа, какие-то крики. Люди безумеют от жажды. В воздух взлетает ведро. Со всех сторон бегут на крик. Толпа растет, перекатывается к дороге.

...А художник из Игоря получился бы неплохой. Рука у него твердая, линия смелая, рисует хорошо. Он нарисовал как-то меня и Максимова — на листочках блокнота. Они хранятся у меня в сумке.

Знакомство наше началось с ругани. В Серафимовиче, еще на формировке, я снял его людей с газоубежища и заставил рыть окопы. Он прилетел расстегнутый, в ушанке набекрень, полный справедливого гнева. Его только что прислали начхимом в полк, в котором я уже две недели был инженером. На правах старика я отчитал его. Дней десять после этого мы не разговаривали.

Потом уже, чуть ли не под Харьковом, я совершенно случайно увидел у него в планшетке альбом с зарисовками. С этого и началась дружба.

Мимо проезжает длинная колонна машин с маленькими, подпрыгивающими на ухабах противотанковыми пушчонками. У машин необычайно добротный вид, на дверцах толстые аккуратные цифры: Д-3-54-27, Д-3-54-26. Это не наши. У нас — Д-1. Свешиваются ноги из кузовов, выглядывают загорелые, обросшие лица.

— Какой армии, ребята?

— А вам какую нужно?

— Тридцать восьмую.

— Не туда попали. В справочном спросите... — Хохочут.

А машины идут — одна за другой, одна за другой, желтые, зеленые, бурые, пестрые. Конца и края им нет.

— Ну что, пошли?

Игорь встает, каблуком вдавливает в землю окурок.

— Пошли.

Вливаемся в общий поток.

8

— Эй, вы, орлы!

Кто-то машет рукой с проезжающей повозки. Как будто Калужский — помощник по тылу.

— Давайте сюда!

Подходим. Так и есть — Калужский. От него пахнет водкой, гимнастерка расстегнута, гладкое лицо с подбритыми бровями красно и лоснится.

— Залазьте в мой экипаж! Подвезу домой. Трамвая все равно не дождетесь. — Он протягивает руку, чтобы помочь нам влезть. — Водки хотите? Могу угостить.

Мы отказываемся, — не хочется.

— Напрасно. Водка хорошая. И закусить есть чем — дополнительный паек не успели раздать. Масло, печенье, консервы рыбные, — он весело подмигивает, хлопает дружески по плечу. — А хлопцев своих на те повозки сажайте. Со мной весь склад вещевой едет — пять подвод.

— А куда путь держите? — спрашиваю я.

— Наивняк... Кто такие вопросы теперь задает? Едем — и все. А тебе куда надо?

— Я серьезно спрашиваю.

— А я серьезно отвечаю. До Сталинграда как-нибудь доберемся.

— До Сталинграда?

— А что, тебя не устраивает? В Ташкент хочешь? Или в Алма-Ату?

И он бурно хохочет, сияя золотыми коронками. Смех у него заразительный и сочный. И весь он какой-то добротный, — не ущипнешь.

— Наших не встречал? — спрашивает Игорь.

— Бойцов только, и то мало. Говорят, что майора и комиссара убило. Максимов будто в окружение попал. Жаль парня, с головой был. Инженер все-таки...

— А где твои кубики? — перебивает Игорь, указывая глазами на его воротник.

— Отвалились. Знаешь, как их теперь делают. — Калужский прищуривает глаз. — Наденешь, а через три дня уже нет. Эрзац.

— И пояс у тебя как будто со звездой был.

— Был, хороший. С портупеей. Пришлось отдать. Фотограф дивизионный выклянчил. Вы знаете его, — хромой, с палочкой. Неловко отказывать как-то. Уж больно канючил. Может, все-таки по сто граммов налить?

Мы отказываемся.

— Жаль. Хорошая, московская. — Он отхлебывает из фляжки, закусывает маслом, без хлеба. — Мировая закуска! Никогда не опьянеешь. Обволакивает стенки желудка. Мне ваш врач говорил. Тоже головастый. Два факультета кончил. В Харькове. Я даже диплом видел.

— А где он, не знаешь?

— Не знаю. Вырвался, вероятно. Не дурак — куда не надо, не лезет. — Калужский опять подмигивает.

И он долго еще говорит, отхлебывая время от времени из фляжки и облизывая короткие, жирные от масла пальцы. Иногда прерывает свой рассказ и переругивается с соседними подводами, с застрявшими и мешающими проехать машинами, с ездовыми, потерявшими кнут или прозевавшими колодец. Все это — мимоходом, хотя и не без увлечения и даже не без мастерства.

А вообще на вещи он смотрит так. Дело, повидимому, приближается к концу. Весь фронт отступает, — он это точно знает. Он говорил с одним майором, который слышал это от одного полковника. К сентябрю немцы хотят все закончить. Очень грустно, но почти факт. Если под Москвой нам удалось сдержать немцев, то сейчас они подготовились «дай бог как»... У них — авиация... А авиация сейчас все... Надо трезво смотреть в глаза событиям. Главное — через Дон прорваться. Вешенская, говорят, уже занята — вчера один лейтенант оттуда вернулся. Остается только Цымлянская. Говорят, зверски бомбит. В крайнем случае, повозки можно бросить и переправиться где-нибудь выше или ниже. Между прочим — но это под большим секретом, — он выменял вчера в селе три гражданских костюма: рубахи, брюки и какие-то ботинки. Два из них он может уступить нам. Мне и

Игорю. Чем чорт не шутит. Все может случиться. А себя надо сохранить, — мы еще можем пригодиться родине. Кроме того, у него есть еще один план...

Но ему так и не удается рассказать этот план. Игорь, молча ковыряющий ножом подошву сапога, подымает вдруг голову. Похудевшее, небритое лицо его стало каким-то бурым под слоем загара и пыли. Пилотка сползла на затылок.

— Знаешь, чего сейчас мне больше всего хочется, Калужский?

— Вареников со сметаной, что ли? — смеется Калужский.

— Нет, не вареников... А в морду тебе дать. Вот так размахнуться и дать по твоей самодовольной роже. Понял?

Калужский несколько секунд не знает, как реагировать — сердиться ли, или в шутку все превратить, но сразу же берет себя в руки и с обычным своим хохотком хлопает Игоря по колену.

— Нервы все, нервы. Бомбежки боком вылезают.

— Иди ты, знаешь куда, со своими бомбежками и нервами... — Игорь с треском закрывает складной нож и кладет его в карман. — Командир тоже называется! Я вот места себе найти не могу из-за всего этого. А ты — «мы еще можем пригодиться родине»... Да на кой чорт такое дерьмо, как ты, нужно родине? Ездового хоть постыдился бы — такие вещи говорить.

Ездовой делает вид, что не слышит. Калужский соскакивает с повозки и бежит ругаться с шофером, — на его счастье здоровенный «додж» преградил нам дорогу.

Мы с Игорем перебираемся на другую подводу.

9

Общий поток несколько редеет. Часть сворачивает на Вешенскую, часть на Калач, минуя Морозовскую, остальные — и их большинство — на Цымлянскую.

Степь голая, мучительно ровная, с редкими курганами. Сухие, выжженные овраги. Однообразный,

как гудение телеграфных проводов, звон кузнечиков. Зайцы выскакивают прямо из-под ног. По ним стреляют — из автоматов, пистолетов, но всегда мимо. Пахнет полынью, пылью, навозом, конской мочой.

Едем. Днем и ночью едем, останавливаясь, только чтобы покормить лошадей и сварить обед. Немцев не видно. Раза два пролетает «рама». Сбрасывает листовки. Один раз у нас ломается колесо. Долго чиним. Серую слепую кобылу меняем на гнедого жеребчика. Он доставляет массу хлопот, брыкается, фыркает, не хочет везти. И его тоже меняют на какое-то старье, мирное и старательное, с отвисшей мокрой губой.

Настроение собачье. Хотя бы сводку где-нибудь достать и узнать, что на других фронтах. Хоть бы противник где-нибудь появился. А то ни противника, ни войны, нудная тоска.

Какой-то майор-связист — мы ему помогаем виллис из канавы вытащить — говорит, что бои идут сейчас где-то между Ворошиловградом и Миллеровом, и это слово — бои — на какой-то промежуток времени утешает нас. Значит, наши армии дерутся.

— А вообще добирайтесь до Сталинграда, если армии своей не найдете. Там сейчас новые части формируются. Скорее на фронт попадете... — Хлопнув дверцей, майор исчезает в облаке пыли.

Мы, ругаясь, взбираемся на свои подводы, будь они трижды прокляты.

Опять степь, пыль, раскаленное небо.

Бабы спрашивают, где же немцы и куда мы идем. Мы молча пьем холодное молоко и показываем на восток.

Туда... За Дон...

Я не могу смотреть на эти лица, на эти вопросительные, недоумевающие глаза. Что я им отвечу? На воротнике у меня два кубика, на боку — пистолет. Почему же я не там, почему я здесь, почему трясусь на этой скрипучей подводе и на все вопросы только махаю рукой? Где мой взвод, мой полк, дивизия? Ведь я же командир...

Что я на это отвечу? Только то, что война — это

война, что вся она построена на неожиданности и хитрости, что у немцев сейчас больше самолетов и танков, чем у нас, что они торопятся до зимы закончить войну и поэтому лезут на рожон... А мы хотя и вынуждены отступать, но отступление еще не поражение, — отступали же мы в сорок первом году и погнали потом немцев от Москвы... Да, да, да, все это понятно, но сейчас, сейчас-то мы все-таки идем на восток — не на запад, а на восток... И я ничего не отвечаю, а только показываю на восток и говорю: «До свидания, бабуся, еще увидимся, ей-богу, увидимся...»

И я верю в это... Сейчас это единственное, что у нас есть, — вера.

Минуем Морозовскую — пыльную, забитую обозами, с дымящимися развалинами вокзала, с бесконечными вереницами застрявших вагонов.

Потом — Дон, узкий, желтый, затерявшийся среди колес, радиаторов, кузовов, голых, полуголых и одетых тел, среди пыли, гудков, сплошного, ни на минуту не прекращающегося гула ревущих машин и человеческих глоток. Сплошное облако пыли. Воронки. Вздувшиеся лошадиные туши, расщепленные деревья, перевернутые вверх брюхом машины.

Лица красные, потные, осатанелые, голоса хриплые. Белесый лейтенант с инженерными топориками на петлицах — осипший, расстегнутый, без пилотки, пытается что-то организовать. Его никто не слушает — сбивают с ног.

В перерыве между двумя бомбежками проскакиваем мост. Калужского с двумя повозками теряем. Седых слегка царапнуло осколком. Под шумок кто-то стащил Валегин рюкзак. Он ругается, чешет затылок, бродит среди воронок и разбитых повозок. Подумать только — ведь там был такой роскошный бритвенный прибор!

За Доном опять тоскливые степи. Сегодня, как вчера, завтра, как сегодня. Солнце и пыль. Одуряющая жара.

Появляются первые части, идущие на фронт, — хорошо одетые, с автоматами, в касках. Командиры в желтых скрипучих ремнях, с хлопающими по бокам новенькими планшетками. На нас смотрят чуть-чуть иронически. Сибиряки.

В каком-то селе нас задерживают. Училище едет на фронт. Оружия нехватает. Отбирают у встречных. Два лейтенанта — грузины, в новеньких фуражках, хотят забрать у нас автоматы и пистолеты. Сначала ругаемся, потом закуриваем легкий листовой табак.

— На фронт топаете?

— На фронт. Вчера еще учились, а сегодня уже в бой. — Оба улыбаются.

— Ну, не сегодня еще. Надо до фрицев еще дойти.

— А где фрицы? — осторожно, чтоб, упаси бог, не подумали, что они боятся, спрашивают лейтенанты.

— А мы у вас хотели узнать. Вы газеты читаете.

— А что в газетах... «Бои в излучине Дона». Вот и все. Тяжелые бои. Ворошиловград сдали.

— А Ростов?

— Ростов — нет. Не писали еще...

— Не писали?

Лейтенанты мнутся. Один спрашивает небрежно, как бы мимоходом:

— Ну, а как там... на фронте... здорово драпают?

— Кто драпает? — Игорь делает удивленное лицо.

— Ну, наши...

— Никто не драпает. Бои идут. Оборонительные бои.

Лейтенанты недоверчиво посматривают на наш оборванный вид и повозку с вихляющимися колесами.

— А вы?

— Что мы?

— Не драпали?

— Зачем? На формировку едем...

Лейтенанты смеются и пересыпают в наши кисеты золотистый кавказский табак.

— Возьмите нас с собой, а, хлопцы? — говорит вдруг Игорь, хлопая себя по кобуре. — Пистолеты у нас есть, что еще надо...

Лейтенанты переглядываются.

— Ей-богу, ребята. Мы до точки уже дошли.

— Да что мы, — мнутся лейтенанты, — мы люди маленькие. Сходите к начальнику штаба. Может, возьмет. А может... В общем, сходите. Майор Сазанский. Вон хибарка, где стоит повозка с зелеными колесами.

Мы застегиваемся на все пуговицы, подтягиваем ремни, пистолеты оставляем — на всякий случай, чтоб не отобрал. Идем.

— По всем правилам подходите, — кричат вдогонку лейтенанты, — он у нас все уставы наизусть знает. Каблуки не жалейте.

Майор сидит в крохотной халупке, ест борщ со сметаной прямо из котелка. Рядом, на столе, пенсне.

— Ну, чего вам? — спрашивает, не поднимая головы и старательно прожевывая жесткое, видимо, мясо.

Объясняем, вытянув руки по швам, — так, мол, и так. Он дожевывает мясо, кладет ложку на стол и надевает пенсне. Долго смотрит на нас, ковыряя отломанным кусочком спичечной коробки в зубах.

— Что же я вам скажу, друзья? — говорит он низким, рокочущим басом. — Ничего хорошего не скажу. Вы, думаете, у меня первые? Чорта с два! Человек десять, да какое там десять — человек пятнадцать таких же, как вы, приходили ко мне. А куда я всех дену? Солдатами вы не пойдете, а командиров у меня и так по два на взвод. Да в резерве человек десять. Понятно теперь?

Мы молчим.

— Так что, как видите. И рад бы, как говорится, да... — Он опять берется за ложку.

— Ну, а все-таки, товарищ майор...

— Что, все-таки? — Он повышает голос. — Что это значит — все-таки? Вы в армии или не в армии? Сказал нет, и точка. У меня полк, а не биржа для безработных. Понятно? Кругом, шагом марш! — И добавляет уже более мягким голосом. — В Сталинград держите путь. В Сталинграде, говорят, сейчас все начальство. Вы из какой армии?

— Тридцать восьмой, товарищ майор.

— Тридцать восьмой. Тридцать восьмой... — Он

чешет мизинцем переносицу. — Кто-то мне говорил... не помню уже кто... но кто-то, ей-богу, говорил. В общем, попытайтесь в Котельниково попасть. Это по дороге. Ваша армия, кажется, там. Идите... — И опять придвигает к себе котелок.

Козыряем и уходим.

В Котельникове нам говорят, что штаб находится в Абганерове. В Абганерове его не оказывается. Направляют в Карповку. Там тоже нет. Какой-то капитан говорит, что слыхал, будто наша армия в Котлубани. Едем в Котлубань. Никаких следов. У коменданта говорят, что был какой-то майор из тридцать восьмой, поехал в Дубовку. На станции Лог встречаем трех лейтенантов из Дубовки. Тридцать восьмой там нет. Все едут в Клетско-Почтовую.

Машины идут на Калач. Там, говорят, бои сильные.

С питанием плохо. В какой-то проходящей части, неизвестно почему, дали хлеба и концентратов. Валега и Седых добыли где-то мешок овса.

А в общем... Едем в Сталинград. Была не была!

10

Сталинград встречает поднимающимся из-за крыш солнцем и длинными прохладными тенями.

Повозка весело грохочет по булыжной мостовой. Дребезжат навстречу обшарпанные трамваи. Вереницы тупорылых студебеккеров. На них длинные ящики — катюшины снаряды. В лысых, изрытых щелями скверах — задранные, настороженные зенитки. На базаре — горы помидоров и огурцов, громадные бутылки с янтарным топленым молоком. Мелькают пиджаки, кепки, даже галстуки. Давно не видел этого. Женщины попрежнему красят губы.

Сквозь пыльную витрину видно, как парикмахер в белом халате намыливает чей-то подбородок. В кино идет «Антон Иванович сердится». Сеансы в 12, 2, 4 и 6. Из черной пасти репродуктора, на трамвайном столбе, кто-то очень проникновенно рассказывает о Ваньке Жукове, девятилетнем мальчике, в ночь под рождество пишущем своему дедушке в деревню.

А над всем этим — голубое небо. И пыль, пыль... И акации, и деревянные домики с резными петушками, и «Не входить — злые собаки». А рядом — большие каменные дома с грудастыми, поддерживающими что-то на фасадах женщинами. Контора «Нижне-Волгокооппромсбыта», «Заливка калош», «Починка примусов», «Прокурор Молотовского района»...

Улица сворачивает вправо, вниз, к мосту. Мост широкий, с фонарями. Под ним несуществующая речушка. У нее пышное название — Царица. Виден кусочек Волги — пристани, баржи, бесконечные плоты. Сворачиваем еще вправо, подымаемся в гору. Едем к сестре бывшего игоревского командира роты в запасном полку: «Золото, а не женщина, сами увидите».

Останавливаемся у одноэтажного каменного дома с обвалившейся штукатуркой. Окна крест-накрест заклеены бумажными полосками. Белая глазастая кошка сидит на ступеньках и неодобрительно осматривает нас.

Игорь исчезает в подворотне. Через минуту появляется — веселый, без пилотки, в одной майке.

— Давай сюда, Седых, заводи! — И мне на ухо: — Все в порядке. Как раз к завтраку попали.

Маленький уютный дворик. Стеклянная веранда с натянутыми веревочками. На веревочках что-то зеленое. Бочка под водосточной трубой. Сохнет белье. Привязанный за ногу к перилам гусь. И опять кошка — на этот раз уже черная — умывается лапой.

Потом сидим на веранде, за столом, покрытым скатертью, едим сверхъестественно вкусный фасольный суп. Нас четверо, но нам все подливают и подливают. У Марьи Кузьминичны черные, потрескавшиеся от кухни руки, но фартук на ней белоснежный, а примус и висящий на стене таз для варенья, повидимому, ежедневно натираются мелом. На макушке у Марьи Кузьминичны седой узелочек, очки на переносице обмотаны ваткой.

После супа пьем чай и узнаем, что Николай Николаевич, ее муж, будет к обеду — он работает на автоскладе, — что брат ее все еще в запасном полку... А если мы хотим с дороги по-настоящему умыться, во

дворе есть душ, только надо воды в бочку налить. Белье наше она сегодня же постирает, ей это ничего не стоит.

Выпиваем по три стакана чаю, потом наливаем в бочку воды и долго с хохотом плещемся в тесном, загороженном досками закутке. Трудно передать, какое это счастье.

К обеду приходит Николай Николаевич — маленький, лысый, в чесучевом допотопном пиджаке. У него чрезвычайно живое лицо. Пальцы все время постукивают по столу.

Он всем очень интересуется. Расспрашивает о положении на фронте, о том, как нас питают, о чем думает Черчилль, не открывая второго фронта — «ведь это просто безобразие, сами посудите», — и как по-нашему: дойдут ли немцы до Сталинграда, и если дойдут, хватит ли у нас сил его оборонять? Сейчас все ходят на окопы. И он два раза ходил, и какой-то капитан ему говорил, что вокруг Сталинграда три пояса есть, как он их называл, три «обвода». Это, повидимому, здорово. Капитан на него очень солидное впечатление произвел. Такой зря не будет «трепаться», как теперь говорят.

После чая Николай Николаевич показывает нам свою карту, на которой он маленькими флажками отмечает фронт. Металлической линеечкой меряет расстояние от Калача и Котельникова до Сталинграда и вздыхает, качает головой. Ему не нравятся последние события. Он внимательно читает газеты — он в месткоме, поэтому получает не только сталинградскую, но и московскую «Правду». Они у него все сложены в две стопочки на шкафу, и если Марье Кузьминичне нужно завернуть селедку, то приходится бегать к соседям — эти газеты неприкосновенны.

Потом спим во дворе, в тени акаций, закрывшись полотенцами от мух.

Вечером собираемся в оперетту, на «Подвязку Борджиа». Чистим во дворе сапоги, не жалея слюны.

На противоположном крылечке сидит девушка. Пьет молоко из толстого граненого стакана. Ее зовут Люся, она врач. Мы это уже знаем — Марья

Кузьминична сказала. У девушки невероятно черные, блестящие глаза, черные брови и совершенно золотые, по-мужски подстриженные волосы. Легонькое ситцевое платьице-сарафан. Руки и шея бронзовые от загара. Игорь поворачивается так, чтобы постоянно держать ее в поле зрения.

— Совсем неплохие ножки, а, Юрка? Да и вообще...

И неистово плюет на щетку.

Девушка пьет молоко, смотрит, как мы чистим сапоги. Потом ставит стакан на ступеньку, уходит в комнату и возвращается с кремом для чистки сапог.

— Это хороший крем — эстонский. Пожалуй, лучше, чем слюна, — она протягивает баночку.

Мы благодарим. Берем крем. Да, он действительно лучше, чем слюна. Как новые, сапоги заблестят. Теперь не стыдно и в театре показаться. — А мы в театр собираемся? — Да, в театр — на «Подвязку Борджиа». Может, она нам компанию составит? — Нет, она не любит оперетту, а оперы в Сталинграде нет. — Неужели нет? — Нет. — А она любит оперу? — Да, особенно «Евгения Онегина», «Травиату» и «Пиковую даму». Игорь в восторге. Оказывается, Люся училась в музтехникуме — это еще до института было, — и у нее есть рояль. Оперетта откладывается до следующего раза.

— Зайдите к нам — мама чай приготовит.

— С удовольствием, мы так отвыкли от всего этого.

Сидя в гостиной на бархатных диванах с гнутыми ножками, мы всё боимся, что они затрещат под нами, — такие они хрупкие и изящные и такие грубые и неловкие мы. На стене беклиновский «Остров мертвых». Рояль с бюстиком Бетховена. Люся играет «Кампанеллу» Листа.

Две толстые свечи медленно оплывают в подсвечниках. Диван мягкий, удобный, с покатой спинкой. Я подкладываю под спину расшитую бисером подушку, вытягиваю ноги.

У Люси аккуратно подстриженный затылок. Пальцы ее быстро бегают по клавишам, — вероятно, в техникуме она за эту быстроту всегда пятерки имела.

Я слушаю «Кампанеллу», смотрю на Беклина, на гипсового Бетховена, на вереницу уральских слонов на буфете... Но почему-то все это кажется чужим, далеким, точно затянутым туманом.

Сколько раз мечтал я на фронте о таких минутах — вокруг тишина, никто не стреляет, и сидишь ты на диване и слушаешь музыку, а рядом — хорошенькая девушка. И вот я действительно сижу на диване и слушаю музыку... И почему-то мне неприятно. Почему? Не знаю. Знаю только, что с того момента, как мы ушли с Оскола, нет — позже, после сараев, — у меня все время на душе какой-то противный осадок. Ведь я не дезертир, не трус, не ханжа, а вот ощущение такое, будто я и то, и другое, и третье.

Несколько дней назад, где-то около Карповки, кажется, сидели мы с Игорем на обочине и курили. Валега и Седых готовили ужин на костре. Мимо проходила артиллерийская часть — новенькая, идущая на фронт. Молодые веселые бойцы, с медными от загара лицами, тряслись по пыльной дороге на передках, смеясь и перебрасываясь шутками. И кто-то из них, не то сержант, не то боец, весело окликнул звонким, как у запевалы, голосом:

— Здорово окопались, господа военные! Ни пуля, ни мина не достанет...

И все захохотали вокруг него, а он, батарейный заводила повидимому, добавил:

— Самоварчик бы еще да вареньица...

И опять хохот...

Я понимаю, что ни он, ни смеявшиеся бойцы не хотели нас обидеть, но что и говорить — особого удовольствия эта шутка нам не доставила. Валега даже выругался и сказал: «Посмотрим, что вы недельки через две запоете...»

Самое страшное на войне не снаряды, не бомбы, ко всему этому нужно привыкнуть, самое страшное — это бездеятельность, неопределенность, отсутствие непосредственной цели. Куда страшнее сидеть в щели в открытом поле под бомбежкой, чем итти в атаку. А в щели шансов на смерть гораздо меньше, нежели

в атаке. Но в атаке — цель, задача, а в щели только бомбы считаешь: попадет или не попадет...

Люся встает из-за рояля.

— Пойдемте чайку напьемся. Самовар, вероятно, уже закипел.

Стол покрыт белой хрустящей скатертью. В хрустальных блюдечках — густое варенье из вишен без косточек. Мое любимое варенье. Пьем чай из тонких стаканов. Не знаем, куда девать руки — огрубевшие, неотмывающиеся, в ссадинах и царапинах. Боимся накапать варенье на скатерть.

Люсина мать — тонная дама в черепаховом пенсне и стоячем, как у классных наставниц, воротничке — подкладывает нам варенье и все вздыхает, все вздыхает:

— Кушайте, кушайте. На фронте вас не балуют. Плохо на фронте, я знаю, мой муж в ту войну воевал, рассказывал, — и опять вздыхает. — Несчастное поколение, несчастное поколение...

От третьего стакана отказываемся. Сидим для приличия еще минут пять, потом откланиваемся.

— Заходите, заходите, голубчики. Всегда рады.

Потом мы лежим во дворе под пыльными акациями и долго не можем заснуть. Рядом спит Седых. Он чмокает во сне и закидывает на меня руку. Игорь ворочается с боку на бок.

— Не спишь, Юрка?

— Нет.

— О чем думаешь?

— Да так... ни о чем...

Игорь ищет в темноте табак.

— У тебя есть курево?

— В сапоге посмотри, в мешочке.

Игорь шарит в сапоге, достает мешочек и скручивает цыгарку.

— Надоело все это, Юрка.

— Что — все?

— Да болтание это. Как цветок в проруби...

— Что ж, завтра перестанем болтаться. В отдел кадров пойдем. С утра, до завтрака.

— Тоже счастье — отдел кадров! Запрут куда-

нибудь в резерв, шагистикой и приветствиями заниматься. Или в запасный полк — еще лучше.

— Не пойду в запасный.

— Не пойдешь? А учиться тоже не пойдешь? В Алма-Ату или Фрунзе? Всех лейтенантов и старших лейтенантов, говорят, в школу сейчас посылают.

— Ну и пускай посылают. Все равно не пойду.

Несколько минут молчим. Игорь мигает цыгаркой.

— А с ребятами что делать будем?

— С какими? С Валегой и Седых?

— Их ведь надо на пересыльный отправлять.

— Ни на какой пересыльный не пойдут. Мы сами с тобой сдадим повозку и лошадей. А их я не отдам. Я с Валегой девять месяцев воюю. И до конца войны будем вместе, пока не убьют кого-нибудь.

Игорь смеется.

— Смешной он, твой Валега. Вчера они с Седых поссорились: как картошку готовить? Седых хотел просто так, в мундире варить, а Валега ни в какую — лейтенант, мол — это ты, — не любят шелуху чистить, любят чистую. Минут десять препирались.

— Ну что ж, настоящий, значит, ординарец, — говорю я и поворачиваюсь на другой бок. — Спи, завтра вставать рано.

Игорь протяжно зевает, тушит цыгарку о землю.

Где-то, очень далеко, стреляют зенитки. Бродят прожекторы по небу. Вздыхает во сне Валега. Он лежит в двух шагах от меня, свернувшись комочком, прикрыв лицо рукой. Он всегда так спит.

Маленький круглоголовый мой Валега! Сколько исходили мы с тобой за эти месяцы, сколько каши съели из одного котелка, сколько ночей провели, завернувшись в одну плащ-палатку! А как ты не хотел идти в ординарцы ко мне! Три дня пришлось уламывать. Стоял, потупясь, и мычал что-то невнятное, — не умею, мол, не привык. Тебе стыдно было от своих ребят уходить. Вместе с ними по передовой лазил, вместе горе хлебал, а тут вдруг к начальнику в связные. На теплое местечко. Воевать я, что ли, не умею, хуже, что ли, других?

Привык я к тебе, лопоухому, чертовски привык...

Нет, не привык. Это не привычка, это что-то другое, гораздо большее. Я никогда не думал об этом. Просто не было времени.

Ведь у меня и раньше были друзья. Много друзей было. Вместе учились, работали, водку пили, спорили об искусстве и прочих высоких материях... Но достаточно ли всего этого? Выпивок, споров, так называемых общих интересов, общей культуры?

Вадим Кастрицкий — умный, талантливый, тонкий парень. Мне всегда с ним было интересно, многому я у него научился. А вот вытащил бы он меня, раненого, с поля боя? Меня раньше это не интересовало. А сейчас интересует. А Валега вытащил бы — это я знаю... Или Сергей Валедницкий. Пошел бы я с ним в разведку? Не знаю. А с Валегой — хоть на край света.

Только на войне по-настоящему узнаешь людей. Мне теперь это ясно. Она — как лакмусовая бумажка, как проявитель какой-то особенный. Валега вот читает по складам, в делении путается, не знает, сколько семью восемь, и спроси его, что такое социализм или родина, он, ей-богу ж, толком не объяснит: слишком для него трудны определяемые словами понятия. Но за эту родину — за меня, Игоря, за товарищей своих по полку, за село свое маленькое где-то там на Алтае, за свой колхоз, за Сталина, которого он никогда не видел, но который является для него символом всего хорошего и правильного, символом свободного народа, у которого эту свободу хотят теперь отнять, — он будет драться до последнего патрона. А кончатся патроны — кулаками, зубами... Вот это и есть русский человек. Сидя в окопах, он будет больше старшину ругать, чем немцев, а дойдет до дела — покажет себя. А делить, умножать и читать не по складам всегда научится, было б время и желание...

Валега что-то ворчит во сне, переворачивается на другой бок и опять сжимается комочком, поджав колени к подбородку.

Спи, спи, лопоухий... Скоро опять окопы, опять бессонные ночи, «Валега — туда! Валега — сюда!..» А кончится война, останемся живы, придумаем что-нибудь.

11

Утром в отделе кадров сталкиваемся иос к иосу с Калужским — свежим, выбритым, как будто даже поправившимся.

— Деточки... Живы-здоровы? Куда топаете? — Ои сует свою теплую влажиую руку.

— Туда, откуда ты.

— Одиу мииуточку. Не торопитесь. У вас табак есть?

— Есть.

— Необходимо перекурить. И мозгой заодио шевельнуть. Вои скамеечка симпатичная.

Ои тащит иас к скамейке в пыльиом сквере.

— Незачем прыгать очертя голову. Поиимаете? Здесь дело простое. Или резерв — или передовая. Чик-чик — и ваших нет.

— Ну?

— Вас это устраивает? — Бритые брови его удивлеиио приподымаются. — На передовой, зиаете, что творится сейчас. С бору по сосеике. Я с раиеиым лейтеиаитом говорил сегодия. Только вчера из Калача. Шлют на первое попавшееся место. Вот тебе люди, вот рубеж — держи. Поиимаете? «Мессеры» по головам ходят. Одним словом...

Толстым коротким пальцем он чертит в воздухе крест.

— А резерв? Пшеииая каша. Хлеб, как глииа, Ну, может быть, селедка. И заиятия с утра до вечера — уставы, БУПы, ручиой пулемет... Семечек хотите?

Не дожидаясь ответа, сыплет иам в ладоии мелкие пережареииые семечки.

— Теперь дальше. — Ои слегка иаклоияется и говорит загадочным полушопотом: — Встретился я здесь с одиим капитаиом, — я вас с ним позиакомлю. Хороший парень. Работал помощником по разведке в штабе одиой дивизии. Разговорились. Оказались общие зиакомые. Короче — дней через пять-шесть, максимум десять, будет здесь подполковиик Шураиский. Вы его зиаете? Золото, а ие человек. Я с иим иа «ты». Вместе выпивали... Ои, этот самый Шураиский, устроит. Сей-

час он в Москве, в командировке. В общем, мой совет — поворачивайте пока оглобли. У вас есть где жить? А я вас буду держать в курсе событий...

Он вдруг вскакивает и сует семечки в карман.

— Одну минуточку. Подождите... Вон с тем майором два слова только...

И, поправив фуражку, скрывается за углом.

Мы заходим в дом с грязными окнами. Бесцветный лейтенант в начищенных сапогах сообщает, что инженерный отдел находится на Туркестанской улице. Там берут на учет всех саперов. А прочие специальности — стрелки, минометчики, артиллеристы — в пятой комнате. С одиннадцати до пяти.

Идем на Туркестанскую. Игорь решает выдать себя за сапера.

— К чорту противогазы! Надоели. А ты меня за три дня всем премудростям научишь.

На Туркестанской опять лейтенант — только уж черный и в брезентовых сапогах. Потом — майор. Потом пять анкет и — «приходите завтра к десяти».

Через день, в десять, заполняем еще какие-то карточки и с бумажкой «Майору Забавникову, зачислить в резерв» — шагаем на Узбекскую, 16.

Там человек двадцать командиров-саперов. Пьют чай, сидя на подоконниках, курят, ругают резерв. Майора нет. Потом он приходит — маленький, желчный, со слезящимися глазами. Опять — кто, что, откуда? Распорядок — с девяти до часу занятия, потом обед. С трех до восьми — опять занятия. Записываемся в список для питания в какой-то гидророте. Уходим домой.

Вечером мы бродим с Люсей по набережной. Небо красное, зловещее. Над горизонтом облака, — точно густой черный дым. Волга, шершавая от ветра, без всякого блеска. И плоты, плоты без конца. Обвитые зеленью буксиры — как в троицын день. На том берегу — домики, церквушка, колючие журавли в каждом дворе.

Идем об руку, иногда останавливаемся около каменного парапета, облокачиваемся на него, смотрим

вдаль. Люся что-то говорит, кажется о Блоке и Есенине, и спрашивает меня что-то, и я что-то отвечаю, и почему-то мне не по себе и не хочется говорить ни о Блоке, ни о Есенине.

Все это когда-то интересовало и волновало меня, а сейчас отошло далеко, далеко. Архитектура, живопись, литература... За время войны ни одной книжки не прочел. И не хочется. Не тянет.

Все это — потом, потом...

А завтра — опять этот резерв. По двадцать раз разбирай и собирай пулемет Дегтярева. И послезавтра, и после-послезавтра. И опять этот желчный, со слезящимися глазами майор Забавников будет говорить нам, что когда прикажут, тогда и отправят на фронт, что есть на то люди, которые об этом думают, и — пойдет, пойдет, пойдет...

Проходим мимо памятника Хользунову — Герою Советского Союза. К стыду своему, я не знаю, что он сделал. Бронзовый, тяжелый, в кожанке, он стоит уверенно, прочно, спокойно. Мы читаем надпись, рассматриваем барельефы на пьедестале.

Выходим на центральную площадь. Серый, с черными аккуратными крестами и средневековым львом на геральдическом щите, стоит подбитый «хейнкель». Он похож на злую раненую птицу, припавшую к земле и вцепившуюся в нее когтями. Мальчишки ползают по перебитым крыльям, залезают в кабину, ковыряются в приборах. Взрослые угрюмо и с уважением рассматривают из-за натянутой веревки разбитые моторы и торчащие пулеметы.

— Весь бронированный, сволочь.

— Да, металла не жалеют.

— Вот и суйся к ним с фанерой.

— А сколько у него пулеметов?

— Два. И две пушки.

— И бомбы?

— И бомб две тонны.

— Две тонны?

Люся тянет меня за рукав.

— Идемте, мне надоело на него смотреть. Поедем на Мамаев курган.

— Куда?

— На Мамаев курган. Оттуда весь Сталинград как на ладони. И Волга. И за Волгу далеко-далеко видно. Там хорошо. Честное слово!

Мы едем на Мамаев курган.

Он плоский и некрасивый. Молоденькие деревца, насаженные рядами. Люся говорит, что здесь предполагалось разбить Парк культуры и отдыха. Возможно, когда-нибудь здесь и будет красиво, но пока что мало привлекательно. Какие-то водонапорные башни, сухая трава, редкий колючий кустарник.

Но вид действительно замечательный.

Большой распластанный город прижался к самой реке. Каменное нагромождение новых домов — громоздких, но издали кажущихся красивыми. Небольшим белым островком выступают они из моря деревянных построек. Покосившиеся, подслеповатые, тянутся домики вдоль оврагов, ползут к реке, вылезают наверх, втискиваются между железобетонными корпусами. Большие дымные заводы, грохочущие кранами, паровозными гудками. «Красный Октябрь», «Баррикады», и далеко, совсем уже за горизонтом, корпуса Тракторного... Там свои поселки — белые симметричные корпуса, маленькие, поблескивающие этернитовыми крышами коттеджи.

И за всем этим — Волга, спокойная и гладкая, такая широкая, мирная, и кудрявая зелень на том берегу, и выглядывающие из нее домики, и фиолетовые дали, и каким-то дураком брошенная ракета, рассыпающаяся красивым зелено-красным дождем...

Мы сидим на краю оврага, извилистого и голого, и смотрим, как ползет поезд внизу. Он страшно длинный, и на платформах у него что-то покрытое брезентом — должно быть, танки. Короткотрубый, точно надувшийся паровоз тяжело и недовольно пыхтит. Он не жалеет дыма, тянет медленно, с упорством привыкшего к тяжести битюга.

— О чем вы думаете? — спрашивает Люся.

— О пулемете. Здесь хорошее место для пулемета.

— Юра... Как вы можете?

— А другой вон там поставить. Он прекрасно будет простреливать ту сторону оврага.

— Неужели вам не надоело все это?

— Что «это»?

— Война, пулеметы.

— Смертельно надоело.

— Зачем же вы об этом говорите? Если есть возможность об этом не говорить, зачем же...

— Просто привычка. Я теперь и на луну смотрю с точки зрения ее выгодности и полезности. Одна зубная врачиха рассказывала, что, когда ей говорят о ком-нибудь, она прежде всего вспоминает его зубы, дупла и пломбы...

— А я вот, когда я не в госпитале, стараюсь не думать о всех этих культях, трепанациях и прочих ужасах.

— Вы недавно работаете в госпитале — вот и все.

— Второй уж месяц.

— А я второй год. А военный год — это добрых три мирных. А то и пять...

Люся опирается рукой о мое колено и смотрит мне в глаза. У нее маленькая родинка у левого глаза и ресницы такие, как у Седых, — длинные, чуть закручивающиеся кверху.

— А какой вы до войны были, Юра?

Что ей ответить? Такой же, как теперь, только немножко иной. Любил на луну смотреть, и шоколад любил, и сирень, и в третьем ряду партера сидеть, и выпить с ребятами...

Некоторое время сидим и молча смотрим на противоположный берег.

— Красиво, правда? — спрашивает Люся.

— Красиво, — отвечаю я.

— Вы любите так сидеть и смотреть?

— Люблю.

— Вы в Киеве тоже, вероятно, сидели с кем-нибудь на берегу Днепра вечером и смотрели?

— Сидели и смотрели.

— У вас там жена в Киеве?

— Нет. Я не женат.

— А с кем же вы сидели?

— С Люсей сидел.

— С Люсей? Как смешно — тоже Люся.

— Тоже Люся. И она так же, как и вы, коротко подстригала волосы. На рояле, правда, не играла.

— А где она сейчас?

— Не знаю. Осталась у немцев. Многие остались у немцев. Мои родители тоже у немцев.

— А у вас есть ее карточка?

— Есть.

— Можно посмотреть?

Я вынимаю из бумажника карточку. Мы сняты с Люсей вдвоем. Плохонькая любительская карточка на дневной бумаге, почти совсем выцветшая. Люся берет ее в руки и наклоняется так низко, что ее волосы касаются моего лица. От них пахнет душистым свежим мылом.

— А у вашей Люси лицо несимметричное. Вы не заметили?

— Нет, не замечал.

— А вы любите ее? Или только так?

— Мне кажется, что да. Во всяком случае — скучаю.

— Очень?

— Пожалуй — очень.

— Почему «пожалуй»?

— Ну, просто — очень.

Люся опускает глаза.

И вдруг краснеет. Даже уши, маленькие, с проколами от серег, становятся красными.

Внизу проползает еще один поезд, такой же длинный и пыхтящий. Дребезжит где-то трамвай, но его не видно. На небе появляются звездочки — бледные и робкие.

Я смотрю на звезды, на маленькое розовое ухо с дырочкой, на тонкую Люсину руку... На мизинце колечко с зеленым камешком. Она симпатичная и славная, Люся, и мне сейчас приятно с ней. А через несколько дней мы расстанемся и больше никогда не увидимся. И еще с другими Люсями встречусь я за время войны и также, может быть, буду сидеть с ними, а потом и они уплывут куда-то, и я забуду их лица и

имена, и сольются они все во что-то одно, большое, расплывчатое, приятное, создающее иллюзию прошлого, далекого, такого заманчивого.

И я даю ей на всякий случай адрес моего московского друга, по которому она, когда кончится война, если захочет, может написать. Она записывает адрес в маленькую записную книжечку и говорит, что обязательно напишет.

...Через час мы уходим. Люся молчит и крепко, двумя руками, держится за меня, и я чувствую, как бьется ее сердце, и руки у нее теплые и мягкие, и вся она какая-то уютная и трогательная.

12

Нам дают работу. Мне, Игорю и еще двум лейтенантам из резерва. Именуемся группой особого назначения. Наш начальник — майор Гольдштаб — страшно интеллигентный, лысый и близорукий. Руководитель группы — угрюмый, дергающий носом капитан Самойленко, тоже из резерва.

Работа несложная. Промышленные объекты города на всякий случай подготавливаются к взрыву. Надо составить схему распределения зарядов, подсчитать необходимое количество их, определить способ взрыва и проинструктировать специально выделенные на заводах команды подрывников. И это — все.

На мою долю выпадают Мясокомбинат, холодильник, 4-я мельница и хлебозавод. Игорю достается пивозавод, другая мельница и завод «Метиз».

Поселяемся в новой квартире — большой, пустой и неуютной, с балконом, выходящим на Привокзальную площадь. Обстановки почти никакой. Стол, четыре стула, три продавленные кровати и кем-то забытая электрическая спиралька-кипятилка.

Мы с Игорем захватываем две койки — кладем на них свои шинели. Третью занимает старший лейтенант со странной фамилией — Пенгаунис, должно быть латыш. Четвертый — Шапиро — располагается на стульях. Валега и Седых в соседней комнате, на полу.

Угрюмый капитан где-то на частной квартире. Раз в день он приходит, дергает носом, спрашивает, что мы сделали, выкуривает папиросу и уходит.

На заводах мнутся директора — разводят руками, говорят, что не из кого составлять команды, одни женщины остались. Рабочие косятся: что это военные зачастили? Разыгрываю пожарного специалиста — щупаю огнетушители.

На холодильнике угощают мороженым в больших тарелках. В Мясокомбинате — колбасой и охотничьими сосисками.

Дни стоят ясные, жаркие, ночи — душные.

Марья Кузьминична жалуется, что на базаре все дорожает, молока и масла совсем уже достать нельзя. Николай Николаевич вздыхает около своей карты. Сводки мало утешительны. Майкоп и Краснодар сданы.

В городе много раненых. С каждым днем их все больше и больше. Обросшие, бледные, движутся они вереницами к Волге, сверкая бинтами на пыльном окровавленном обмундировании. Госпитали эвакуируются. По городу и квартирам ходят патрули — проверяют документы. Дороги на Калач и Котельниково забиты машинами. Во всех дворах усиленно роют щели и какие-то большие глубокие ямы — говорят, бассейны для воды на случай пожара. Изредка прилетают фрицы — роняют две-три бомбы где-нибудь на окраине и улетают. Зениток в городе много.

В Москву прилетает Черчилль. Коммюнике весьма неопределенное.

Где идут бои, точно не знаем. В сводках «северо-восточнее Котельниково», «в излучине Дона»... Говорят, Абганерово уже у немцев. Это шестьдесят пять километров отсюда. Марья Кузьминична слыхала, что наши оставили Калач и отошли к Карповке. Раненые в основном из Калача. Разводят руками: «Танки... авиация... Что поделаешь!..»

Приказа об эвакуации еще нет, но Люсины соседи — зубной врач с женой и двумя детьми — вчера выехали в Ленинск... погостить к сестре.

А в оперетте — «Сильва», «Марица», «Роз-Мари».

В буфетах, кроме волжской воды — пять копеек баночка, — пустота. На сцене — цилиндры, манишки, обольстительные улыбки, сомнительные каламбуры.

В зоопарке попрежнему грустит слон, неистовствуют мартышки, толстый, ленивый удав дремлет в углу своей клетки, на старой соломе.

У Дома Красной Армии, в витринах, затянутых металлической сеткой, регулярно вывешиваются «Известия» и «Сталинградская правда».

В городской библиотеке, с балконом прямо на Волгу, симпатичная старушка в прическе восьмидесятых годов выдает Бальзака и просит не загибать страницы.

Мальчишки стреляют из рогаток по воробьям, воюют в «фрицев и наших». Девочки играют в «классы», прыгая на одной ножке.

Так ползет август — душный, безоблачный, пыльный.

Как-то встречаю Калужского — в новенькой гимнастерке, в фуражке со сверкающим околышем. Он устроился в одном из эвакогоспиталей начпродом. Сейчас госпиталь эвакуируется в Астрахань, и у него по горло работы — раненых миллион, транспорта нет, одним словом, ей-богу, на фронте лучше... Кстати, если мне нужно сахару, он может уступить с десяток кило — все равно вывезти не удастся, придется сдавать фронту.

Я знаю, что Валега будет меня ругать, но говорю, что у меня нет времени. Разговор кончается. Бодро махнув ручкой, он укатывает на груженном доверху бараньими тушами «газике» куда-то в сторону Волги. Я провожаю его взглядом и захожу на почту, авось есть что-нибудь «до востребования».

13

В воскресенье просыпаюсь раньше обычного. Откуда-то появились блохи, и я никак не могу заснуть. Игорь и другие еще спят.

Встаю, иду на кухню. Седых готовит на примусе

оладьи. Валега ковыряется в репродукторе — он давно мечтает о радио.

Сквозь окно ослепительно сверкает залитая солнцем стена противоположного дома и кусок бледного, точно выцветшего от жары неба.

На заводы сегодня не пойду — схемы сделаны, количество взрывчатки подсчитано, инструктаж со дня на день откладывается: до сих пор не составлены еще группы подрывников.

Сдергиваю с Игоря шинель.

— Вставай! Идем купаться.

Он недовольно морщится, пытается натянуть шинель на лицо, ворчит, но все-таки встает. Моргает сонными глазами.

Седых вносит шипящие на сковородке оладьи.

— Сегодня утром фрица сбили. — Он ставит сковородку на кирпич. — Сам видел. Сначала задымился — длиный такой черный хвост пустил, потом стал крениться — больше, больше и свалился куда-то за город. Должно быть, в мотор попали.

— В городе много зениток, — говорит Шапиро, слезая со своих стульев, — батарей двадцать пять будет.

Он очень любит цифры и всякие подсчеты.

— Если они одновременно откроют огонь, то за минуту выпустят по меньшей мере семьсот пятьдесят снарядов.

— А сколько у немцев самолетов? — спрашивает Игорь. Он всегда над ним посмеивается, но Шапиро не обращает внимания.

— К началу войны было около десяти тысяч. Сейчас, вероятно, больше.

— Почему?

— Простая арифметика. Если считать, что у них сто авиазаводов и каждый выпускает по одному самолету в день — я беру невероятный минимум, — то выходит три тысячи в месяц. Потерь у них таких быть не может. Значит...

— Ты на пляж пойдешь? — перебивает Игорь.

— Нет. У меня чирей выскочил. Шестой чирей за

этот месяц. И на самом неудачном месте, приходится на одной половинке сидеть...

Пляжа в Сталинграде нет. Прыгаем прямо с плотов в жирные, радужные от нефти волны. Вода теплая, точно подогретая.

Потом лежим на бревнах и, сощурившись, смотрим на Волгу. Она ослепительно блестит. Она не похожа на Днепр. Совсем не похожа. Последний раз я его видел за несколько дней до войны. Он легкомысленнее и веселее. Громадная дуга пляжа, заваленного голыми, черными от солнца телами, какие-то грибки, киоски, кокетливо-ажурные водные станции. И бесконечное количество лодок — байдарок, шлюпок, полутригеров, стройных гоночных скифов, дубов и плоскодонок, белоснежных стремительных яхт. Все это снует, шевелится, мелькает белым, желтым и синим, дрожит в раскаленном полуденном солнце.

Здесь — не то. Здесь деловитее и серьезнее. Здесь плоты и баржи, озабоченные, закопченные катеры, простуженно гудящие, хлопающие по воде тросами буксиры. До войны тоже, вероятно, были и яхты, и шлюпки, но до войны я здесь не был. А сейчас это широкое, сияющее, затянутое плотами, обсаженное по берегам кранами и длинными скучными сараями обилие воды напоминает цех какого-то особого, не похожего на другие завода.

И все-таки это Волга. Можно часами лежать вот так на животе и смотреть, как плывут куда-то вниз плоты, как блестят и переливаются нефтяные разводы, как пыхтит против течения допотопный пароходик, шлепая колесами. И я лежу и смотрю, а Игорь говорит о том, что ему надоело это безделье, надоел Шапиро со своими чирьями, Пенгаунис, каждый день стирающий, развешивающий на балконе подворотнички, надоели заводские директора и вся эта бумажная волокита.

Я слушаю его одним ухом, смотрю на пыхтящий катерок, пристающий к тому берегу, и стараюсь не думать о том, что, может быть, через неделю или две здесь будет фронт, и здесь, где мы сейчас лежим, будут немцы, а там, в кудрявой зелени, на том берегу.—

мы, и бомбы будут вздымать белые фонтаны воды, и вздувшиеся тела поплывут по этой сверкающей поверхности куда-то вниз, к Астрахани, к Каспию.

Игорь с размаху хлопает меня между лопаток.

— Полезли в воду... Вон пароход плывет.

С разгону, оттолкнувшись ногами от скользкого толстого бревна, он вонзается в воду. Несколько секунд его не видно. Потом фыркающая голова его появляется далеко от берега. Сильными короткими взмахами — почти вся спина наружу — плывет он наперерез пароходу. Он хорошо плавает. Люся тоже так плавала. Не так сильно и резко, но тоже хорошо.

Этот стиль называется кроль. У меня он пока еще не получается. С дыханием что-то не выходит, и ноги устают. Они должны все время работать, быстро и ровно, как ножницы.

Пароход проходит — приземистый, с длинной трубой и целым хвостом барж позади. Игорь возвращается запыхавшийся.

— Сердце уже сдает. Старею. И вообще не река, а нефтехранилище какое-то, — он весь блестит от нефти. — Идем-ка лучше в библиотеку.

Не возражаю. От лежания на бревнах болит спина.

В библиотеке Игорь наслаждается «Аполлоном» за 1911 год. Я — какими-то новеллами перуанского происхождения в «Интернациональной литературе». Плетеные кресла удобны. В комнате тихо, уютно. Портреты Тургенева, Тютчева и еще кого-то, с усами и булавкой в галстуке. Большие стенные часы мелодично бьют каждые четверть часа. Двое ребятишек давятся от смеха над иллюстрациями Дорэ к Мюнхгаузену. У меня тоже когда-то была эта книга в красном с золотом переплете и с такими же рисунками. Я мог ее рассматривать раз по двадцать на день. Особенно нравилось мне, как барон сам себя за косу из болота тащит. Нравилась и другая картинка: ворота разрезали коня пополам, а он стоит, спокойно пьет воду из фонтана, а сзади хлещет целый водопад.

Сидим до тех пор, пока библиотекарша не намекает, что в шесть часов библиотека закрывается.

— Приходите завтра. С двенадцати до шести мы всегда открыты. А «Аполлон» еще есть — за двенадцатый и семнадцатый годы.

Прощаемся и уходим. Валега, вероятно, уже ворчит — обед остыл.

У входа в вокзал квадратный черный громкоговоритель простуженно хрипит:

— Граждане, в городе объявлена воздушная тревога. Внимание, граждане, в городе объявлена...

Последние дни по три-четыре раза в день объявляют тревоги. На них никто уже не обращает внимания. Постреляют, постреляют, самолета так и не увидишь, — и дадут отбой.

Валега встречает насупленным взглядом исподлобья.

— Вы же знаете, что у нас духовки нет. Два раза уже разогревал. Картошка вся обмякла, и борщ совсем... — Он безнадежно машет рукой, разматывает борщ, завернутый в шинели. Где-то за вокзалом начинают хлопать зенитки.

Борщ действительно замечательный. Мясной, со сметаной. И откуда-то даже тарелки — красивые, с розовыми цветочками.

— Совсем как в ресторане, — смеется Игорь, — еще бы подставки под ножи и треугольные салфеточки в стакане.

И вдруг все летит к чортовой матери — тарелки, ложки, стекла, висящий на стене репродуктор.

Что за чорт?..

Из-за вокзала медленно, точно на параде, плывут самолеты. Я еще никогда не видел такого количества. Их так много, что трудно разобрать, куда они летят. Они летят стаями, черные, противные, спокойные, на разных уровнях. Все небо усеяно разрывами зениток.

Мы стоим на балконе и смотрим в небо. Я, Игорь, Валега, Седых. Невозможно оторваться.

Немцы летят прямо на нас. Они летят треугольником, как перелетные гуси. Летят низко — видны желтые концы крыльев, обведенные белым кресты, шасси, напоминающие выпущенные когти... Десять... двена-

дцать... пятнадцать... восемнадцать... Выстраиваются в цепочку... как раз против нас. Ведущий переворачивается через крыло, колесами вверх, заходит в пике. Я не свожу с него глаз. У него красные колеса и красная головка мотора. Включает сирену. Из-под крыльев вываливаются черные точки. Одна, две, три, четыре, десять, двеиадцать... Последняя — белая и большая. Я закрываю глаза, инстинктивно цепляюсь за перила. Нет земли, чтобы в нее врыться... Слышно, как «певун» выходит из пике. Потом ничего уже нельзя разобрать.

Сплошной грохот. Все дрожит мелкой противной дрожью. На секунду открываю глаза. Ничего не видно. Не то пыль, не то дым. Все затянуло чем-то сплошным и мутным... И опять свистят бомбы, опять грохот. Держусь за перила. Кто-то сжимает мне руку, точно тисками — выше локтя. Лицо Валеги — остановившееся, точно при вспышке молнии... Белое, с круглыми глазами и открытым ртом... Исчезает...

Сколько это длится? Час, два или пятиадцать миут? Ни времени, ни пространства. Только муть и холодные гладкие перила. Больше иичего.

Перила исчезают. Я лежу на чем-то мягком, теплом и неудобном. Оно движется подо мией. Я цепляюсь за него. Оно ползет.

Мыслей нет. Мозг выключился. Остается только инстинкт — животиое желание жизни и ожидание. Даже не ожидаиие, а что-то не объяснимое словами... Скорей бы, скорей. Что угодно — только скорей!

Потом мы сидим на кровати и курим. Как это произошло, я уже ие помию. Кругом пыль — точно туман. Пахнет толом. На зубах, в ушах, за шиворотом — везде песок. На полу осколки тарелок, лужи борща, капустные листья, кусок мяса. Глыба асфальта посреди комиаты. Стекла выбиты все до одного. Шея болит, точно ударил по ней кто-то палкой.

Мы сидим и курим. Я вижу, как дрожат пальцы у Валеги. У меня, вероятно, тоже. Седых потирает ногу. Игорь пытается улыбнуться. У него большой синяк на лбу.

Выхожу на балкон. Вокзал горит. Домик, правее

вокзала, тоже горит. Там, кажется, была редакция или политотдел, не помню уже. Левее, в сторону элеватора, сплошное зарево. На площади пусто. Несколько воронок с развороченным асфальтом. За фонтаном лежит кто-то. Брошенная покосившаяся повозка. Точно на задние лапы присела. Бьется лошадь. У нее распорот живот, кишки розовым студнем разбросаны по асфальту. Дым становится все гуще и чернее. Он сплошной пеленой плывет над площадью.

— Кушать будете? — спрашивает Валега. Голос у него тихий, не его, срывающийся.

Я не знаю, хочу ли есть, но говорю: «Буду». Едим холодную картошку прямо со сковороды. Игорь сидит против меня. Лицо его серо от пыли, точно статуя. Ядовито-фиолетовый синяк расплылся по всему лбу.

— Ну ее к чорту, картошку, не лезет в глотку... — И выходит на балкон.

Пенгаунис и Шапиро приходят бледные и запыленные. Бомбежка застала их на центральной площади. Пересидели в щели. Бомбы попали в Дом Красной Армии и угловой дом напротив, где был госпиталь. Южная часть города горит. Попало в машину с боеприпасами, и они до сих пор еще рвутся. У одной женщины голову оторвало, из кино выходила. Там человек двадцать погибло. Как раз сеанс окончился.

Я спрашиваю, который час. Пенгаунис смотрит на часы. Без четверти девять. Из библиотеки мы пришли около семи. Значит, бомбежка длилась почти два часа.

Игорь возвращается с балкона.

— А где наш капитан живет?

Никто не знает. Положение идиотское. Может быть, к Гольдштабу сходить? Хотя он знает наш адрес и сообщит, если надо. Нет, лучше все-таки сходить. Невозможно сидеть. Туда не больше получаса ходьбы.

На улицах люди с тюками, с тележками. Бегут, спотыкаются. С тележек все валится. Останавливаются, перекладывают. Молча, без ругани, с расширенными, остановившимися глазами. Дым — едкий, скребущий горло — поднимается из домов, расползается по улицам. Хрустит стекло под ногами. Кирпичи, куски бетона, столы, перевернутый шкаф. Кого-то несут на

одеяле. Старушка в клетчатом платке тащит табурет и гигантских размеров узел.

— Господи боже! Пресвятая богородица!

Узел сползает. Платок свалился с головы и волочится по земле.

На углу Гоголевской громадная воронка — целый дом влезет. Бойцы убирают глыбы асфальта, разбросанные во все стороны. Воздух дрожит от пронзительного, раздирающего уши вопля пожарных машин.

Люди бегут, бегут, бегут...

Дым расползается по всему городу, заслоняет небо. Длинные желтые языки пламени вырываются из окон, лижут стены углового дома. Пожарные разматывают шланги.

В здание нас не пускают. Долго звоним из будки Гольдштабу. Никак не можем дозвониться. Мешает чей-то разговор. Что-то хрипит и хлюпает. Голос Гольдштаба доносится откуда-то издалека, точно с того света:

— Идите домой... ждите.

Идем домой. Люди все бегут, бегут, бегут. Из нижней квартиры вытягивают большой зеркальный шкаф.

Пытаемся заснуть. Ворочаемся с боку на бок. Почему-то жестко и неудобно. Света нет. Радио молчит. Всю ночь бушуют пожары.

14

Капитан является на рассвете. Через пять минут будет полуторка — поедем на Тракторный.

— На Тракторный? Зачем?

— Не знаю. Приказано.

— Кто приказал?

— Гольдштаб. Он тоже выезжает на Тракторный.

— А что там делать?

— Я сказал, что не знаю. Собирайте, говорит, свою группу и ждите машину.

— И больше ничего?

— Ничего. Вышел на минутку из кабинета начальника, сказал про машину и ушел обратно.

— А так что слышно?

Капитан пожимает плечами, — разве поймешь?

Седых отзывает меня в сторону:

— Там склад на вокзале разбомбило. Может, сходить?

— Я те схожу!

— Водка, говорят, есть.

— Ты слышал, что я тебе сказал?

— Слышал.

— Иди складывай свои манатки.

Я сворачиваю рулоны синьки, всовываю их в сумку. Шапиро прислушивается.

— Опять летят...

Тишина. Рядом Валега, с ножом в одной руке, с консервной банкой в другой. Низкий, далекий еще, знакомый гул моторов.

— Надо в подвал итти, — дергает носом капитан и направляется к дверям. В дверях сталкивается с потным и красным человеком в кожанке.

— Вы Самойленко? — голос хриплый, задыхающийся.

— Я...

— Где ваши люди? Я с машиной. Давайте скорей, гудят уже.

Валега вопросительно смотрит на меня — с ножом и банкой в руках.

— Давай на машину. Слышал?

Когда влезаем в машину, сыплются первые бомбы. Где-то сзади, в железнодорожном поселке. Самолеты летят над головой, медленно заворачивают вправо.

Я снимаю пилотку, чтобы ее не сорвало ветром. Выезжаем за город. Теперь хорошо видно, как самолеты пикируют на вокзал, центр, пристань. Над городом сплошное облако пыли. Откуда-то с реки подымается высокий, расползающийся кверху, как гриб, столб густого черного дыма. Должно быть, горят нефтебаки.

Дорога забита людьми. Куда-то идут, идут, идут, оборачиваясь на город, — полуголые, в шубах, закопченные...

Гольдштаб сидит в подвале. Народу — не протис-

каться. Ящики, тюки, сваленные шинели. Кто-то кричит по телефону хриплым голосом. Гольдштаб бледен, небрит. Прищурившись, смотрит на нас, не узнает.

— Вы к кому?

— К вам. Саперы.

— Ага. Саперы. Чудесно. Кладите шинели сюда, на ящик. На машине приехали? Хорошо. Давайте сюда. — Говорит отрывисто, торопливо, потирая маленькие, покрытые черными волосами сухонькие ручки. — Времени в обрез. Немцы по ту сторону оврага, — он что-то ищет в карманах, не находит, — метров пятьсот, не больше. Стреляют по Тракторному из минометов. Десант. Повидимому, небольшой. Наших регулярных частей еще нет. Сдерживают рабочие. — Смотрит на маленькие, чрезвычайно изящные золотые часики-браслет. — Сейчас шесть пятнадцать. К восьми ноль ноль завод должен быть подготовлен к взрыву. Ясно? Саперы там есть — из армейского батальона, но маловато. Заряды, шнур, капсюли — все есть. Нужно помочь. Свяжетесь с лейтенантом Большовым, — вы его там найдете — в синей шинели и синей пилотке. С ним все уточните. В восемь ноль ноль я буду там...

Он задумывается, прикусив губу.

— Ну, ладно...

Вынимает из бокового кармана крохотный сафьяновый блокнотик с подвешенным карандашиком. Записывает.

— Керженцев — ТЭЦ, Свидерский — литейный, Самойленко — сборочный и т. д. — Кладет блокнот обратно в карман и застегивает пуговицу. — Больше не задерживаю. Вещи и шинели можете оставить пока здесь.

Едем дальше.

Большова находим довольно быстро — по синей шинели и пилотке. Худощавый, бледный, глаза слегка на выкате, иронические и умные. В углу рта окурок. Руки в карманах.

— Помощники, да? — улыбается противоположным папиросе углом рта.

— Да, помощники.

— Ну что ж, в добрый час. Часика б на два раньше,

было б лучше. А сейчас... — он зевает и сплевывает окурок, — основное уже сделано. Омметра нет?

— Нет. А что?

— Капсюли не калиброваны. Вообще, если скажут — сегодня, вряд ли выйдет... Что, бомбит город?

— Бомбит. А почему не выйдет?

— Почему? — Большов лениво улыбается.—Взрывчатка дрянная. Тола кот наплакал. Остальное аммонит. Отсыревший, в комьях. Ну, и капсюли не калиброваны. Цепь проверить нечем. Омметра нет.

— А детонирующий шнур? — спрашивает Игорь.

— Обещают завтра дать. И омметры завтра. Все завтра. А взрывать сегодня...

— Сегодня?

— Говорят. Если не отгонят, то сегодня.

Он вынимает из кармана аккуратно сложенную газету, отрывает ровненький прямоугольничек.

— Махорка есть?

Закуриваем. Мимо, по широкой, обсаженной деревьями асфальтированной аллее, проходят отряды рабочих. Несут пулеметы — танковые, сняты с машин. У некоторых ни винтовок, ничего. Идут сосредоточенно, молча.

Я спрашиваю:

— Где противник?

— А вон, за цехами. Там овраг, Мечетка или Нечетка — чорт его знает. Шпарят из минометов. Штук десять танков. Даже не танков, а танкеток. С той вышки хорошо видно.

— А где наши объекты?

— А у вас что?

— ТЭЦ, — отвечаю я.

— ТЭЦ? В двух шагах. За этим корпусом налево. Четыре трубы большие. Сержанта моего найдете. Ведерников. Спит, вероятно, где-нибудь там, в конторе. Всю ночь работал. Советую и вам вздремнуть.

Сержант действительно спит, уткнувшись головой в угол дивана, раскинув ноги по полу. Видно, бросился на диван и сразу заснул.

— Эй, друг!

Сержант переворачивается, долго трет глаза. Они

маленькие, сидят глубоко и совсем теряются на большом скуластом лице. Никак не может проснуться.

— Вас лейтенант прислал?

— Да. Большов.

— Принимать будете?

— Пока что ознакомьте меня с тем, что сделано.

— Опять ознакомить? Тут один уже знакомился. Капитан какой-то, Львович, кажется.

— А теперь я.

Сержант, потянувшись, встает.

— Ну что ж, пошли... — Ищет в кармане махорку. — Всю ночь мешки таскали — будь оно неладно. Плечей не чувствуешь. Бумажные, сволочи, все рвутся.

— И много?

— Да с сотню будет, если не больше. Трехпудовые. От этого ТЭЦа один пшик останется.

— Сеть готова?

— Готова. Электрическая только. Аккумуляторов натаскали чортову гибель, а омметров нет. Электрик тут один мне помогал, — говорит, у них что-то в этом роде есть, но никак найти не могут. А так все готово. Детонаторы болтаются. Только всовывай и рубильник нажимай.

— А где подрывная станция?

Сержант указывает в сторону окна.

— Метров триста отсюда щель. Там все хозяйство. И капитан там. И электрик, вероятно.

Мы обходим электростанцию. Она чистая и большая. Восемь генераторов, под каждым заряд — три-четыре мешка. Кроме того, заряды под котлами, на масляных переключателях и на трансформаторной — метров триста от самой станции. Цепь длиннейшая — километра два. Сделана аккуратно — концевики тщательно обмотаны изоляционной лентой по два капсюля на заряд. За ночь действительно сделано много.

Где-то по ту сторону электростанции слышно, как разрываются мины.

— По окраине бьет, — говорит сержант. — Из ротных все. Чепуха. В щель пойдете?

— А где телефон?

— В щели. Все там. Вроде КП устроили.

15

В щели набито битком. Игорь, Седых, высокий курчавый брюнет в военной форме, с маленькими бачками, какие-то рабочие в спецовках, щуплый, чахоточного вида субъект в лоснящемся пиджаке и кепке с пуговкой. Военный оказывается Львовичем, в кепке с пуговкой — инженер-электрик ТЭЦ. Зовут его все Георгий Акимович.

Все сидят и курят при свете «летучей мыши». Щель неплохая, обшита досками, с накатником, герметическими дверями, нарами. Такая, как в наставлении к инженерному делу, — в виде буквы Н, с двумя входами.

— Что без омметра делать будем? — спрашиваю я.

Георгий Акимович искоса поглядывает на меня.

— У нас мостик Уитстона есть.

— Что же вы молчите?

— Вот и говорю. Только он в сейфе, а ключ у Пучкова — главного инженера. А Пучков со вчерашнего вечера в штабе.

— Надо послать, значит.

— Посылали уже. Они, видите ли, на «Красный Октябрь» уехали. Три часа назад еще звонили, что едут. И вот все едут.

У Георгия Акимовича очень подвижное лицо. Когда он говорит, движется не только рот, но и нос, лоб, впалые щеки с лихорадочным румянцем. Во рту у него нехватает одного зуба, как раз переднего, и от этого он шепелявит. Возраст трудно определить — повидимому, лет тридцать пять.

— Две ночи кряду не спишь, толку никакого...

Он нервно комкает папиросу.

— Вот позвонят сейчас по телефону — действуйте... А дальше что?

— Действовать, повидимому, — отвечаю я.

— Рубильник включать? Да? Так, по-вашему?

Большие, с темными веками глаза его злобно сверлят меня.

— По-моему, так.

— А рабочие на станции? Вместе с машинами к

чортовой матери? Кто их оповещать будет? Мы с вами? У нас и так работы вот по сих пор будет. — Он быстро проводит рукой по горлу. — Вообще ни плана, ни организации, ничего нет...

— Георгий Акимович, — перебивает его Львович. Он сидит в стороне, на запасных аккумуляторах, сгибает и разгибает какую-то проволочку.

— Что — Георгий Акимович? Нужно все-таки мало-мальски мозгами шевелить. На ТЭЦ сейчас шестьдесят человек работает. Куда им деваться, если это... если придется все-таки тарарах устроить... Куда глаза глядят? Врассыпную? Дальше — есть какая-нибудь очередность у цехов? Ни черта нет. Литейный будет рваться, а мы только собираться, или наоборот. Вообще... — он нервно мнет длинными сухими пальцами папиросу. — Вот немец лупит сейчас из минометов, попал осколок в провод — и точка. Вся наша сеть ни к дьяволу не годится. Сколько раз говорил: идиотство держать «уитстона» в сейфе. Воров боятся. Единственный, видите ли, аппарат на весь Сталинград. А вот теперь сиди и жди у моря погоды...

Он делает несколько коротких, быстрых затяжек, тушит папиросу о стену и встает.

— Может, приехал. По телефону не дозвонишься. Не коммутатор, а горе...

Игорь тоже встает.

— Ко мне в Литейный сходим? А? Посмотришь.

Идем в Литейный.

— Как тебе нравится этот тип? — спрашивает Игорь.

— Как сказать? Не завидую его жене. ТВС плюс несварение желудка, должно быть. Впрочем, все, что он говорит, — сущая правда.

— А меня раздражает.

— Ты неврастеником стал, ей-богу, — все раздражает. Шапиро раздражает, латыш подворотнички стирает — раздражает, этот тоже не угодил. Какого же тебе рожна надо?

— Не люблю ворчунов, что поделаешь.

— Поживем — увидим. Надо вот Седых и Валегу

иа капсюлях натреннровать. Чтоб, как часы, втыкали и не боялись.

Седых улыбается:

— А чего там бояться? Я такнх вот сазаиов толом глушил, когда в Купянске стоялн. Там рыбы, знаете, сколько? Вот завтра, если взрывать не будем, я вам осетров притащу — двумя руками не подымете. Я уже заметил, тут челнок за забором лежит...

У входа в Литейиый группа рабочих окружила здоровенного парня с перевязанной рукой. Рукав от плеча разодран, иа повязке красные пятна.

— До инстнтута, сволочи, добрались. Тр-р, тр-р нз автоматов. А у нас — вннтовки. Только ко входу подходим, а они из окои — тр-р-р, тр-р-р. Хорошо, «каве» подошел, ахнул прямо в дом. Так они и посыпались, как таракаиы. Сейчас на той стороне Мечетки...

Глаза у пария блестят. Ему нравится, что его слушают, что он уже ранен, что он стрелял в немцев, и ему не хочется кончать своего рассказа.

— Только однн выстрел «каве» дал. Во второй этаж угодил. Так н полетели камии. А фрнцы с заднего хода от дерева к дереву.

— А много нх, фрицев-то? — спрашивает кто-то нз толпы.

— На иас с тобой хватит. Дивнзии две будет, а то и больше.

— А ты счнтал?

— Счнтал...— Парень презрительно плюет н встает, прндерживая правой рукой левую. — Пойди посчитай. Там только арнфметикой и заннматься... Где медпуикт, хлопцы? С вами иаговоришься...

На обратном пути опять встречаем раненых — старнка и мальчика. Оба раиены легко: один в руку, другой в голову. Немцы все еще за оврагом. Стреляют из мнHометов. В атаку ие идут. Нашн — тоже. Плохо, что нет иастоящнх командиров. Говорят, завтра должны подойти стрелковые части с артнллерией. Два раза немецкие танкн подъезжали к оврагу, немного пострелялн н ушлн. Наши тоже мало стреляют: боеприпасов, вероятно, иет. А в общем, ничего — жить еще можно. Тракторозаводцы сумеют постоять за свой за-

вод. И, совсем по-молодому подмигнув глазом, старик с мальчиком идет искать медпункт. Прибитая к фонарному столбу дощечка, с наспех нарисованным крестом, указывает в сторону Волги. Когда мы шли в цех, ее не было.

В щели Георгий Акимович уже ковыряется со своим мостиком. Он большой, красивый, весь лакированный, с массой стрелок и выключателей. Георгий Акимович в хорошем настроении. Сеть исправна.

— Видите, как стрелка роскошно прыгает? Не мостик — сказка. Другого такого нет в Сталинграде. Даже из центральной электростанции за ним присылали. Чувствительный, как чорт. Сейчас все детонаторы наши перекалибруем. Есть запасные?

— Хоть пруд пруди, — отвечает Ведерников, — сотни две или три.

Только-только заканчиваем калибровку, как начинается обстрел. Длится около часа. Через каждые две-три минуты — по снаряду. Большинство ложится вокруг станции. Несколько попадает в машинный зал, два в котельную. Их называют минами, но это не мины. У мины нет пробивной силы, а в машинном зале уже зияют дыры в потолке.

Стрелка «уитстона» беспомощно сваливается на ноль. Цепь порвана. Георгий Акимович ищет свою кепку с пуговкой.

— Закопать надо провод, от осколков житья не будет.

И, не дожидаясь конца обстрела, вылезает из щели. Найти порыв не так просто. Цепь последовательная, и при малейшем порыве она выключается целиком. При параллельном соединении порыв найти легче — цепь разбивается на участки, и каждый участок можно проверять в отдельности.

Мы проходим по всему проводу, щупая его руками. Валега с нами, с мостиком в руках. Георгий Акимович все время на него кричит, чтобы он был осторожней — другого такого теперь не сыщешь. Два порыва находим быстро, с третьим возимся довольно долго, но и его находим в конце концов. Георгий Акимович быстро и ловко обматывает липучкой раненое место.

До вечера закапываем провод и переводим сеть на параллельную. Немцы два раза повторяют налет. Георгий Акимович не сводит глаз с «уитстона». Но все проходит благополучно — порывов нет.

Часов в восемь приезжает Гольдштаб. Привозит омметр. Отводит меня и Львовича в сторону. Потирает руки.

— Первый сигнал — «который час?» Это — приготовиться. Исполнительный — «пришлите список номер три». Понятно? От телефона ни на шаг.

— Понятно.

— Помните, что после предварительной команды более получаса у вас не будет. За полчаса все должно быть закончено и подготовлено. За эвакуацию рабочих отвечаете вы, Львович, Керженцев — за взрыв.

— Ясно. А очередность?

— Никакой очередности. И первая и вторая команда подается во все цехи одновременно. Взрывать, значит, тоже одновременно. После взрыва соберетесь у пристани, — вы знаете, Львович, где будет моторка.

— Ясно.

— Все ясно?

— Все.

Гольдштаб уезжает. Где-то совсем рядом, за Литейным, взлетают ракеты. Трещат автоматы, изредка «такают» пулеметы.

Рядом с дверью прямо к стенке прибит рубильник. Маленький, обыкновенный, с черной ручкой. Такие точно на счетчиках в квартирах. Я смотрю на него. Два провода тянутся от него: один к аккумуляторам — их восемь ящиков, закопанных в яму, другой к зарядам — восьмидесятитрехпудовым мешкам с аммонитом. Один провод откручен — торчит. Ручка рубильника откинута, привязана веревочкой — на всякий случай. А через час или два, а может быть и раньше, позвонят по телефону, и я соединю провода, отвяжу веревочку, еще раз проверю сеть и двумя пальцами осторожно включу рубильник... И тогда... Ни генераторов, ни котлов, ни машинного зала с белоснежными, как в операционной, металлическими плитками... Ничего...

Сидим и курим. Валега штопает штаны на колене. Седых с сержантом — на станции. Поблескивает в углу телефон. Георгий Акимович поминутно включает мостик. Игорь лежит на нарах, смотрит в потолок.

В двенадцать звонит Гольдштаб. Приказ — проверить сеть и не спать.

В щели так накурено, что нельзя разобрать лиц: как на плохо проявленном негативе. В три опять звонок. Звонит Большов — нет ли десятков двух лишних калиброванных капсюлей. Есть. Он пришлет сержанта за ними. Ладно.

Опять курим. Выходим на двор, смотрим на звезды, ракеты, четырехтрубную громаду ТЭЦ. Возвращаемся, сидим, курим. Включаем. Выключаем. Молчим.

В пять — снова звонок. Гольдштаб. Можно ложиться спать.

Слава тебе, господи!

Ложимся на голые нары, сдвинув пистолеты на живот.

Напрасно все-таки мы свои шинели у Гольдштаба оставили.

16

То же самое повторяется и во вторник, и в среду, и в четверг. Обстрелы, порывы, дежурства, ожидание звонка. В пять — можно спать.

Атмосфера разряжается.

Дни проходят один за другим, ясные, голубые, с летающими осенними паутинами.

Приказа все нет.

От города, повидимому, ничего уже не осталось. Немцы бомбят его с утра до вечера. Над ним — непроходящее облако дыма и пыли. Горят нефтехранилища. Черный, как копоть, дым иногда застилает солнце, и тогда на него можно смотреть не щурясь, как сквозь закопченное стекло во время затмения. Бои идут в южной части города — у элеватора, и в северной — на Мамаевом кургане.

На нашем овраге без перемен. Как-то ночью пришли две дивизии. Шли долго, беспрерывно, всю ночь

напролет — батальон за батальоном. С артиллерией и обозами. Раза два немцы пытались перебраться через овраг, и тогда начиналась автоматная трескотня — обычно ночью. И Гольдштаб звонил: будьте готовы, — но утром все успокаивалось, и мы ложились спать.

Начинаем обживаться в своей щели. Проводим электричество, готовим еду на плитке, обвешиваем стены великолепным ватманом из заводского техотдела. У Валеги и Седых, в их углу, даже портрет Сталина и две открытки — Одесский оперный театр и репродукция репинских «Запорожцев».

Седых приволакивает откуда-то учебник географии Крубера, письма Чехова, «Ниву» за двенадцатый год.

По вечерам, усиленно слюнявя палец, читает. Морщит лоб, шевелит губами. Иногда спрашивает, что значит «тезоименитство», или «генерал-от-инфантерии», или откуда у цесаревича Алексея столько орденов, если ему только семь лет. Мне нравится Седых, нравится его курносая, детская физиономия, чуть раскосые, смеющиеся глаза, безудержно прущая из него молодость. Даже смешная привычка ковырять ладонь, когда он смущен, тоже нравится.

Все делает он с удовольствием и с аппетитом. Моется так, что, глядя на него, самому хочется мыться; отчаянно фыркает, шумно шлепает себя по плечам и животу. Прикажешь ему принести немного дров, — тащит чуть ли не кубометр. Молодые мышцы его рвутся в бой. Гайки он откручивает пальцами. С Игорем затевает борьбу, и Игорь после этого два дня не может повернуть шею. А Игорь считает себя мастером французской борьбы и до тонкости знает всякие тур-де-бра и тур-де-теты.

Любознателен Седых до смешного. Подсядет, обхватит руками колени и слушает, слегка приоткрыв рот, как дети — сказку. Вопросы его неожиданны и по-детски наивны. Почему гитлеровцы не могут разгадать секрет «катюши», и почему в новолуние всегда дожди, и почему компасная стрелка на север показывает, и правда ли, что у Рузвельта ноги не работают?

Вечером как-то идет разговор о героях и наградах.

Седых слушает внимательно, сосредоточенно, обхватив руками колени, — его любимая поза.

— А что нужно сделать, чтобы орден Ленина получить? — спрашивает он.

Все смеются.

— Ну не Ленина, другой какой-нибудь, поменьше?

Я объясняю, говорю, что не так это просто. Он слушает молча, смотря куда-то в угол. На губе — прилипший окурок.

— Тогда все, — тихо говорит он.

— Что все?

— Будет у меня орден. — Говорит он страшно просто и убедительно, как о чем-то уже свершившемся.

Потом встает и идет за щепками. Я смотрю на его широкую спину, так не вяжущуюся с золотистым пушком на щеках, вспоминаю, как он вытирал тряпочкой автомат перед немецкой атакой — каждый винтик, каждую щелочку, — и верю тому, что он сказал.

Валега ревнует меня к нему. Это видно по всему.

— У старшего лейтенанта Свидерского нет ординарца, иди к нему, — угрюмо говорит Валега и забирает у него кружку, из которой он льет мне воду на руки.

Седых приносит откуда-то охапку соломы. Валега щупает, морщится: «Лейтенант не будут на такой дряни спать», — и приносит другую, ничем не отличающуюся от предыдущей охапку.

Но в общем живут они дружно, вместе варят обед, Валега немного покрикивает, критикует недоваренную кашу. Седых весело смеется, передразнивает Валегу и называет его почему-то «шнапсом».

По вечерам Валега и Седых вяжут заряды — у нас в резерве ящиков пять тола. Утром глушат рыбу и приходят с трепещущими в ведрах осетрами и стерлядями.

Сержанта Ведерникова переводят в другой цех, и мы его больше не видим. Шапиро и Пенгауниса тоже редко встречаем. Иногда заходит к нам Большов, и мы, подложив толстую «Ниву», режемся в «козла» или «двадцать одно». Георгий Акимович не выносит этого — хватает письма Чехова и демонстративно

уходит в свой угол. Он спит на двери, положенной между двумя нарами.

Мне он начинает нравиться, несмотря на свой сварливый характер и вечное недовольство чем-нибудь. Работает он не покладая рук и не жалея себя. Цепь проверяет и поправляет всегда сам, — а рвется она у нас по три-четыре раза в день. Ворчит, ругается, кипятится, обвиняет всех в безделье, но свою ТЭЦ и каждую машину, каждый винтик в ней обожает, как живое существо. Вообще в нем мирно уживаются пессимизм и брюзжание с невероятной энергией и активностью.

— Куда нам с немцами воевать? — говорит он, нервно подергивая галстук и собирая лоб в морщины. — Они от самого Берлина до Сталинграда на автомашинах доехали, а мы вот в пиджаках и спецовках в окопах лежим с трехлинейкой образца девяносто первого года.

Игорь вспыхивает. Он вечно сцепляется с Георгием Акимовичем.

— Что вы хотите этим сказать?

— Что воевать не умеем.

— Что такое уметь, Георгий Акимович?

— Уметь? От Берлина до Волги дойти — вот что значит уметь.

— Отойти от границы до Волги тоже надо уметь.

Георгий Акимович смеется мелким, сухим смешком.

Игорь начинает злиться.

— Что вы смеетесь? Смешного ничего нет. Франция фактически за две недели распалась. Нажали — и развалилась, рассыпалась, как песок. А мы второй год воюем одни, как палец.

— Что вы с Францией сравниваете? Сорок миллионов и двести миллионов. Шестьсот километров и десять тысяч километров. И кто там у власти стоял? Петэны, лавали, спокойненько работающие теперь с немцами.

— Вот-вот-вот... — горячится Игорь. — Петэны и лавали... Именно петэны и лавали. А у нас их нет. Прикончили. Это главное. Вы понимаете, что это главное, что люди у нас немножечко другого сорта. И поэтому-то мы и воюем. До сих пор воюем. Даже

здесь, на Волге, потеряв Украину и Белоруссию, воюем. А какая страна, скажите мне, какая страна, какой народ выдержал бы это?

Георгий Акимович улыбается уголком рта.

— Никакой.

— Ага! Никакой? Вы сами признаете, что никакой.

— Признаю. Но разве от этого легче? Разве от сознания того, что другие страны менее, чем мы, способны на сопротивление, — разве от этого легче? Это называется убаюкивать себя. А нам это не нужно. Надо на все трезво смотреть. Одним геройством ничего не сделаешь. Геройство геройством, а танки танками.

— Наши танки не хуже немецких. Они лучше немецких. Один танкист мне говорил...

— Не спорю, не спорю. Возможно, что и лучше, я в этом не разбираюсь. Но одним хорошим танком не уничтожишь десять посредственных. Как по-вашему?

— Подождите. Будет и у нас много танков.

— Когда мы с вами на Урале уже будем?

Игорь вскакивает, как ужаленный.

— Кто будет на Урале? Я, вы, он? Да? Чорта с два. И вы это сами прекрасно знаете. Вы это все так, из какого-то упрямства, какого-то дурацкого желания спорить, обязательно спорить. Отвратительная привычка.

Георгий Акимович дергает носом, бровями, щеками.

— Чего вы злитесь? Сядьте. Ну, сядьте на минуточку. Можно ж обо всем спокойно. — Игорь подсаживается. — Вот вы говорите, что и отступать надо уметь. Верно. Перед Наполеоном мы тоже отступали до самой Москвы. Но тогда мы теряли только территорию, да и то это была узкая полоска. И Наполеон, кроме снегов и сожженных сел, ничего не приобрел. А сейчас? Украины и Кубани нет — нет хлеба. Донбасса нет — нет угля. Баку отрезан, Днепрострой разрушен, тысячи заводов в руках немцев. Какие перспективы? Экономика сейчас — это все. Армия должна быть обута, одета, накормлена, снабжена боеприпасами. Я не говорю уже о мирном населении. Не говорю о том, что добрых пятидесяти миллионов, которые там,

у фашистов, под сапогом, мы не досчитываемся. В силах ли мы все это преодолеть? По-вашему, в силах?

— В силах... В прошлом году еще хуже было. Гитлеровцы до Москвы дошли, и все-таки их отогнали.

— А я вот не уверен, что хуже. Донбасс, Ростов, Кубань, Майкоп были наши. Сейчас их нет. Волжская коммуникация фактически перерезана. Вы представляете себе, какой путь должна теперь делать бакинская нефть? Вы скажете — Кузбасс, Барнаул, Урал... Верно, это мощные промышленные узлы. Но до начала войны, кроме них, были еще Кривой Рог, Никополь, Запорожье, Мариуполь, Керчь, Харьков. Это потеряно. Часть заводов мы эвакуировали, но эвакуировать — еще не значит пустить в ход. А тем временем, видите, что делается.

Над нами как раз проходит отбомбившаяся партия «юнкерсов-88». Медленно заворачивает и идет на другой заход.

— Они даже без истребителей ходят. Безнаказанно, сволочи, ходят.

Некоторое время мы молчим и следим за плывущими в небе черными, противными, такими спокойными и уверенными в своей силе желтокрылыми самолетами. Георгий Акимович курит одну папиросу за другой. Вокруг него уже десяток окурков. Смотрит в одну точку — туда, где скрылись самолеты.

Игорь сидит и бросает камешки в лежащую неподалеку банку из-под консервов. Камни ложатся совсем рядом, но никак не могут угодить в банку. Кажется, будто он с головой ушел в это занятие.

И вдруг встает.

— Нет, не может этого быть. Не пройдут они дальше. Я знаю, не пустим мы их.

И уходит.

Не может быть... Это все, что мы можем пока сказать.

Был же когда-то, чорт возьми, семнадцатый год! И восемнадцатый, и девятнадцатый! Ведь хуже было. Тиф, разруха, голод. Максим и трехдюймовка — это все. И выкрутились все-таки. И Днепрострой потом

построили. И Магнитогорск, и вот этот самый завод, который я должен теперь взрывать...

Знаю, Георгий Акимович на это только снисходительно улыбнется. Когда он говорит об этом, он всегда говорит так, как будто мы маленькие дети. Улыбнется и скажет что-нибудь о том, что это был четвертый год войны, вымотавшей не только нас, но и всех других, что французские, английские и немецкие солдаты не хотели уже воевать. И еще что-нибудь в этом роде.

Он как-то сказал:

— Мы будем воевать до последнего солдата. Русские всегда так воюют. Но шансов у нас все-таки мало. Нас может спасти только чудо. Иначе нас задавят. Задавят организованностью и танками.

Чудо?

Недавно ночью шли мимо солдаты. Я дежурил у телефона и вышел покурить. Они шли и пели, тихо, вполголоса. Я даже не видел их — только слышал их шаг по асфальту и тихую, немного даже грустную песню про Днипро и журавлей. Я подошел. Бойцы расположились на отдых вдоль дороги, на примятой траве, под акациями. Мигали из-под рукавов огоньками цыгарок. И чей-то молодой негромкий голос доносился откуда-то из-под деревьев:

— Нет, Вась... ты уж не говори. Лучше нашей нигде не сыщешь. Ей-богу... Как масло, земля — жирная, настоящая. — Он даже причмокнул как-то по-особенному. — А хлеб взойдет — с головой закроет...

А город пылал, и красные отсветы метались по стенам цехов, и где-то совсем недалеко трещали автоматы — то чаще, то реже, — и взлетали ракеты, и впереди неизвестность, а может и смерть.

Я так и не увидел того, кто это сказал. Кто-то крикнул: «Приготовиться к движению!» Все зашевелились, загремели котелками. И пошли. Пошли медленным, тяжелым солдатским шагом. Пошли к тому неизвестному месту, которое на карте их командира отмечено, должно быть, красным крестиком.

Я долго стоял, прислушиваясь к удалявшимся и потом совсем затихшим шагам солдат...

Есть детали, которые запоминаются на всю жизнь.

Маленькие, как будто незначительные, они как-то въедаются в тебя, вырастают во что-то большое, значительное, становятся как бы символом.

Я помню одного убитого бойца. Он лежал на спине, раскинув руки. К губе его прилип окурок. Маленький, еще дымившийся окурок. И это было страшнее всего, что я видел до и после на войне. Страшнее разрушенных городов, распоротых животов, оторванных рук и ног. Раскинутые руки и окурок на губе. Минуту назад была жизнь, мысли, желания. Сейчас — смерть...

И в той песне, в тех простых словах о земле, жирной, как масло, о хлебах, с головой закрывающих тебя, тоже было ч т о-т о... Я даже не знаю, как это назвать. Толстой называл это скрытой теплотой патриотизма. Возможно, это самое правильное определение. Именно скрытая. Скрытая, потому что о ней уже не говорят, как не говорят о воздухе, без которого мы не можем жить. Она в каждом из нас, в каждом нашем поступке, каждой мысли, каждом слове, в каждой интонации, с которой оно произнесено. Это ч т о-т о — спокойная, без фраз и лишних слов, вера в победу, вера в правоту защищаемого тобой дела. Это и есть то чудо, которого так ждет Георгий Акимович, чудо, более сильное, чем немецкая организованность и танки с черными крестами.

Я смотрю на Георгия Акимовича. Маленький, желчный, в лоснящемся пиджачке, он скрючившись сидит на ступеньках, поджав колени, худые и острые. У него бледные руки с голубыми жилками и такие же жилки на висках. Дома у него, вероятно, страшный беспорядок, и дети его раздражают, и с женой он ругается. Он и до войны, вероятно, все находил плохим и на все раздражался.

А вот вчера на моих глазах около него, шагах в двадцати, разорвался снаряд. Он искал порыв. И он только слегка наклонился и тут же обмотал поврежденное место и потом ещё проверил весь провод на участке вокруг места разрыва.

— Вы понимаете, — говорил он мне потом, — с этим заводом связана вся моя жизнь. Я пришел сюда практикантом, когда по этим местам ходили еще люди

с теодолитом. На моих глазах выросли ТЭЦ и все эти цехи. Я пять ночей не спал, когда устанавливали генератор номер шесть — американский, второй от окна. Я их знаю все, как облупленные. Знаю характер и привычки каждого. Вы понимаете, что значит для меня взрыв? Нет, не понимаете... Вы военные, вам просто жалко завод — и всё. А для меня...

Он не договорил и ушел к своему мостику.

Полтора месяца назад мы сидели с Игорем на корявой колоде у дороги, смотрели, как отступали наши войска. Фронта не было. Были дороги, по которым ехали куда-то машины. И люди шли. Тоже куда-то...

Это было полтора месяца назад — в июле.

Сейчас — сентябрь. Мы уже десятый день на этом заводе. Десятый день немцы бомбят город. Бомбят — значит, там еще наши. Значит, идут бои. Значит, есть фронт. Значит, сейчас лучше, чем в июле...

Около ТЭЦ разрывается снаряд. Начинается обеденный обстрел. С трех до половины четвертого, с точностью хронометра. Через полчаса надо итти чинить сеть. Валега и Седых с котелками бегут за обедом.

17

Дня через два, рано утром, является в нашу щель Гольдштаб. С ним не менее десятка командиров.

Мы сидим на ступеньках щели и мастерим целлулоидовые портсигары. В заводской лаборатории тонны разнообразнейшего целлулоида и красиво переливающаяся в больших, аптекарского вида бутылях грушевая эссенция. Вот мы и занимаемся портсигарами. Пилим, режем, скребем, клеим, отрываясь только на восстановление сети и на обед.

— Ну что ж, будем прощаться, — говорит Гольдштаб, вертя в руках миниатюрный игоревский портсигар с выдвигающейся крышкой. — Пришла ваша смена. Саперы двести семнадцатого АИБ.

— А нам куда?

— На ту сторону. В штаб фронта — инженерный отдел.

Ну что ж, тем лучше. Мы сдаем свои объекты и через полчаса шагаем по зыбким доскам штурмового мостика, перекинутого через рукав Волги на остров.

С Георгием Акимовичем мы почему-то даже целуемся, прощаясь. Он цепко трясет мою руку и говорит, моргая глазами и собирая в морщины кожу лба:

— Часто буду вспоминать я наши беседы на этих ступеньках. Надеюсь, все, что я пытался вам доказать, никогда не сбудется. Мы после войны встретимся, и вы мне скажете: «Ну, кто был прав?» И я скажу: «Вы».

Он провожает нас до тропинки, сбегающей по рыжим обрывам до самой Волги, и долго еще машет нам своей кепкой с пуговкой.

Еще один человек прошел через жизнь, оставил свой небольшой, запоминающийся след и скрылся. По-видимому, навсегда.

Потом мы сидим на левом берегу, на перекинутой рассохшейся лодке, смотрим на дымящиеся трубы Тракторного — он ни на минуту не прекращал работы, — и Шапиро рассказывает, что в июле завод выпускал по тридцать танков в сутки, а в августе даже до пятидесяти, сейчас же занимается исключительно ремонтом поврежденных машин и что часть оборудования уже вывезена на Урал, а другую собираются вывезти, если только удастся отогнать немцев откуда-то, где есть не то мост, не то какие-то причалы.

Ночуем в небольшой избушке в лесу. Весь следующий день проводим в поисках дома лесника — ориентир, по которому можно найти инженерный отдел фронта.

Штабов и тылов так много — в каждой рощице и лесочке, — что найти нужный отдел совсем не просто. Везде часовые, колючая проволока, таблички: «Прохода нет».

К вечеру все-таки находим. Отдел, но не домик. Домика давно уже не существует. Только на карте — черный прямоугольничек с косой веточкой сбоку. Отдел состоит из четырех землянок. В одной из них — она так замаскирована, что мы минут десять топчемся вокруг нее, — сидит майор в страшно толстых очках

без оправы, в целлулоидовом воротничке. Он пробегает глазами содержание пакета и сразу оживляется:

— Замечательно! Просто замечательно! А я уж не знал, что делать. Садитесь, друзья. Или — нет, лучше выйдем. Тут и одному-то негде развернуться...

Оказывается, только что перед нами — «вы не встретились?» — был капитан из инженерного отдела шестьдесят второй армии. У них нехватает полковых инженеров. Сегодня ночью должна переправляться сто восемьдесят четвертая дивизия, а утром, во время бомбежки, вышли из строя инженер и командир взвода. И в действующих дивизиях сейчас недобор — сержанты вместо полковых инженеров. В резерве — ни души. Сколько уже с этим Тракторным возятся, два раза запрос делали.

— Короче говоря... вы, вероятно, голодны? Сходите в нашу столовую — прямо по этой тропиночке, поужинайте и возвращайтесь сюда. А я заготовлю документы. Вы успеете поймать еще дивизию на этой стороне.

После рисовой каши с повидлом заходим к майору. Он мелким, женским почерком, с изящно завивающимися хвостиками у «д», надписывает конверты.

— Кто из вас Керженцев?

— Я.

— Вам отдельно. В сто восемьдесят четвертую. Советую поймать ее здесь. Часов с восьми они будут двигаться на переправу из Бурковского. А то завтра всю передовую исползаете и не найдете. — Он протягивает мне конверт, склеенный из топографической карты.

— Постарайтесь увидать дивизионного инженера, а потом уже в полк. Впрочем, вам виднее...

Остальные получают общее направление в штаб инжвойск шестьдесят второй армии.

— Он на той стороне. Вчера был в Банном овраге. Сейчас куда-то перебрался. Но где-то в том же районе. Поищите.

— А в сто восемьдесят четвертую больше не нужно саперов? — спрашивает Игорь. — Вы говорили, что там командир взвода вышел из строя.

Майор смотрит на Игоря сквозь толстые стекла

очков, и глаза его от этого кажутся большими и круглыми, как у птицы.

— Вы — старший лейтенант. Мы вас инженером посылаем. С инженерами у нас сейчас хуже всего. — И, почесав карандашом переносицу, добавляет: — Вам всем, между прочим, кроме товарища, который в сто восемьдесят четвертую направляется, имеет смысл подождать здесь. Ночью из шестьдесят второй представитель приедет за лопатами, вы с ним и поедете. Расположитесь пока где-нибудь здесь, под осинками.

Мы уходим под осинки.

— Ты пешком пойдешь? — спрашивает Игорь.

— Дойду до регулировщика, а там посмотрю.

— Я тебя провожу.

Я прощаюсь с Шапиро, Пенгаунисом и Самойленко. Седых долго мнет своей шершавой ладонью мою руку.

— Мы еще встретимся, товарищ лейтенант.

— Обязательно, — нарочито бодро, как всегда при прощаниях, отвечаю я. Я бы с удовольствием взял его в свой взвод.

Через несколько минут он догоняет нас.

— Возьмите мой портсигар, товарищ лейтенант. Вы свой так и не успели кончить. А у меня хороший, двойной.

Он сует мне в руку прозрачный желтый портсигар таких размеров, что я даже не уверен, влезет ли он в карман, — в него добрых полфунта табаку войдет. Опять жмет мне руку. Потом Валеге, потом опять мне. Мне жалко с ним расставаться.

Молча доходим до регулировщика.

— Сто восемьдесят четвертая еще не проходила. Какой-то саперный батальон недавно шел, а так — все машины, — говорит регулировщик, немолодой уже, с рыжими, жидкими, как у татарина, усами и большими запыленными ушами.

Мы садимся на кузов разбитой машины, закуриваем. Солнце зашло, но еще светло. На западе, над Сталинградом, небо совсем красное, и трудно сказать, отчего это, — от заходящего солнца или от пожара. Три черных дымовых столба медленно расплываются в воздухе. Внизу они тонкие, густые и черные, как

сажа. Выше они расплываются, а совсем высоко сливаются в сплошную длинную тучу. Она плоская и неподвижная, и хотя в нее поступают все новые и новые порции дыма, она не удлиняется и не утолщается. Вот уже более двух недель стоит она, спокойная и неподвижная, над горящим городом.

А кругом золотые осинки на черном фоне — тонкие и нежные. По дороге проезжают машины. Останавливаются, спрашивают, как проехать на шестьдесят вторую переправу или хутор Рыбачий, и едут дальше. Дорога широкая, разъезженная, вся в ромбах и треугольниках от шин. Трудно понять, где ее края и куда она заворачивает. Ощетинившийся указательный столб когда-то, должно быть, стоял на обочине. Сейчас он на самом фарватере, и кто-то на него уже наехал. Он накренился, и табличка с надписью «Сталинград — 6 км» указывает прямо в небо.

— Дорога в рай, — мрачно говорит Валега.

Оказывается, он тоже не лишен юмора. Я этого не знал.

Подходит регулировщик.

— Во-он журавли полетели, — тычет он грязным, корявым пальцем в небо. — Никакой войны для них нет. Табачком не богаты, товарищи командиры?

Мы даем ему закурить и долго следим за бисерным, точно вышитым в небе треугольником, плывущим на юг. Слышно даже, как курлычут журавли.

— Совсем как «юнкерсы», — говорит регулировщик и сплевывает, — даже смотреть противно...

Эта ассоциация промелькнула, повидимому, у всех нас в мозгу, и мы смеемся.

— Туда или оттуда? — спрашивает регулировщик, придерживая мою руку, чтобы прикурить.

— Туда.

Он качает головой, делает несколько затяжек.

— Да... Невесело там, что и говорить. — И отходит.

Проходят раненые. Поодиночке, по двое. Серые, запыленные, с безразличными, усталыми лицами. Один подсаживается, спрашивает, нет ли напиться. Валега отдает ему фляжку с молоком. Он пьет долго и мед-

ленно. Ранен в грудь. Сквозь рваную гимнастерку сереют грязные, замазанные кровью бинты на костлявой, покрытой черными волосами груди.

— Ну как там, на передовой?

— Паршиво, — равнодушно отвечает он, с трудом вытирая запекшиеся губы грязной, окровавленной рукой. В глазах его, серых, как и весь он, ничего нет, кроме страшной, смертельной усталости.

— Здорово жмет?

— Куды там — головы не подымешь.

Он хочет встать, но закашливается, — на губах появляется розовая пена. Опять садится, тяжело дышит. В горле или груди его что-то хлюпает.

— Народу ни черта нет. Вот что погано...

— А в городе кто? Они или мы?

— А кто его знает, где там город! Горит все. Бомбит с утра вот до сих пор... Дай-ка еще глотнуть, сынок.

Он вяло, будто нехотя, прижимается губами к горлышку фляжки, и из углов его рта тоненькой струйкой бежит розовое от крови молоко. Потом встает и уходит, с трудом волоча ноги, опираясь на сучковатую кривую палку.

К регулировщику подъезжают трое верховых.

Посылаю Валегу узнать, не из нужной ли они нам дивизии. Он идет и спрашивает что-то, держась рукой за повод. Возвращается.

— Говорят, сто восемьдесят четвертая напрямик к переправе пошла. Они не из нее, но видали бойцов.

Всадники скачут дальше, поднимая облако пыли.

— Ну что ж, я пойду, — говорит Игорь.

— Ну что ж, иди, — отвечаю я и протягиваю руку.

Кажется, надо еще что-то сказать, но ничего не получается.

— Я не прощаюсь, — говорит Игорь.

— Я — тоже.

Мы трясем друг другу руки.

— Будь здоров, Валега. Смотри за лейтенантом хорошенько.

— Обязательно... Как же!

— Ну, я пошел.

— Всего, Игорек.

— Да... У меня твой нож перочинный, кажется, остался.

— Разве?

— Вчера я у тебя брал, когда хлеб резали. — Он шарит по карманам. — Вот он, под подкладку завалился.

Игорь протягивает нож — Валегин трофей, роскошный золингеновский нож с двумя лезвиями, штопором, шилом, отверткой и еще целой кучей непонятных инструментов.

— Ну, теперь все. Будь здоров.

— Будь здоров.

И он уходит своей обычной, непринужденно ленивой походкой, сдвинув пилотку на затылок и засунув руки в карманы.

Неужели и с ним я уже никогда не увижусь?

18

На переправе, как и всегда, трудно что-либо понять. Лошади, повозки, пушки с передками, пятящиеся в темноте машины. И люди. Людей больше всего — ругающихся, сталкивающихся, что-то отнимающих друг у друга. Кто-то на кого-то наехал. Забыли какие-то ящики. Ищут какого-то Стеценко. Ждут катера. Ругают его. Уже давно должен быть — и все нет...

Грузятся сразу две дивизии — сто восемьдесят четвертая и еще какая-то, двадцать девятая, кажется.

И во всей этой суматохе надо найти какого-то дивинженера, или командира дивизии, или начальника штаба — вручить пакет и ждать дальнейших распоряжений. А распоряжений, вероятно, никаких и не будет. У всех и так голова кругом идет — и пушки надо погрузить, и боеприпасы, и лошадей, и людей не растерять, и вообще, какого чорта вы сейчас лезете, когда видите, что делается!

Я нахожу инженера, но не того; нахожу командира полка, но тоже не того — из двадцать девятой.

Кто-то дергает меня за рукав.

— Слушай, друг, фонарика нет?

— Есть.

— Посвети, дорогой. А то с ног сбился. Карту дали, а что в этой темноте кромешной увидишь...

Различаю только массивную фигуру в телогрейке, с болтающимся на груди автоматом.

— Давай под лодку залезем... Две минуты только. Ей-богу.

Под лодкой тесно, пахнет гнилым деревом. Зажигаю фонарик. Горит он тускло, — батарея кончается. У человека оказывается крупное, тяжелое лицо с широко расставленными глазами и мясистыми губами. На воротничке — шпала. С трудом вытягивает карту из лопающейся от бумаг, перетянутой резинкой планшетки.

— Вот и разбери, — тычет он грязным ногтем в красный, неровный треугольник на карте. — Карта тоже называется! Белый квадрат вместо завода. Что тут поймешь? — И он длинно и заковыристо ругается.

— Должны дивизию менять. Говорили, на переправе представитель будет. Чорта с два! Ни души. Теперь ищи этот треугольник в городе. КП ихнее — дивизионное. Ни ориентира тебе, ни черта!

Спрашиваю, из какой он дивизии. Оказывается, комбат 1147 полка 184 дивизии.

— Не у вас сегодня инженера убили?

— У нас. Цыгейкина. А что?

— Я на его место прислан.

— Ну! — Крупнолицый капитан даже радуется. — Вот и хорошо. Поедешь с нами. Я один, как палец, остался. Комиссар в медсанбате, а начальник штаба ночью ничего не видит...

Мы вылезаем из-под лодки.

— Подожди минутку. Лошадей только проверю. А то знаешь этих старшин...

Он исчезает, точно растворяется в толпе и крике. Я ищу Валегу. Он примостился уже около каких-то

ящиков и мирно спит, поджав ноги, чтоб не оттоптали. Поразительная у него способность спать в любой обстановке. Сажусь рядом. С реки тянет легкой, успокаивающей прохладой. Пахнет рыбой и нефтью. Топчутся рядом кони, позвякивая сбруей. Где-то, совсем уже далеко, все еще ищут Стеценко.

Город горит. Даже не город, а весь берег, на всем охватываемом глазом протяжении. Трудно даже сказать, пожар ли это. Это что-то большее. Так, вероятно, горит тайга — неделями, месяцами, на десятки, сотни километров. Багровое клубящееся небо. Черный, точно выпиленный лобзиком силуэт горящего города. Черное и красное. Другого нет. Черный город и красное небо. И Волга красная. «Точно кровь», — мелькает в голове.

Пламени почти не видно. Только в одном месте, ниже по течению, короткие прыгающие языки. И против нас — измятые, точно бумажные цилиндры нефтебаков, опавшие, раздавленные газом. И из них пламя, — могучие протуберанцы, отрывающиеся и теряющиеся в тяжелых, медленно клубящихся фантастических облаках свинцово-красного дыма.

В детстве я любил рассматривать старый английский журнал периода войны четырнадцатого года. У него не было ни начала, ни конца, но зато были изумительные, большие, на целую страницу, картинки: английские Томми в окопах, атаки, морские сражения — пенящие волны и таранящие друг друга миноносцы; смешные, похожие на этажерки, парящие в воздухе «блерио», «фарманы» и «таубе». Трудно было оторваться.

Но страшнее всего было громадное, на двух средних страницах, до дрожи мрачное изображение горящего от немецких бомбардировок Лувена. Тут было и пламя, и клубы дыма, похожие на вату, и бегущие люди, и разрушенные дома, и прожекторы в зловещем небе. Это было до того страшно и пленительно, что перевернуть страницу не было никаких сил. Я бесконечное количество раз перерисовывал эту картинку, раскрашивал цветными карандашами, красками, ма-

ленькими мелками и развешивал потом эти рисунки по стенкам. Казалось, что ничего более страшного и величественного быть не может.

Картинка была неплохо исполнена. Я до сих пор помню в ней каждую деталь, каждый завиток клубящегося дыма — и мне вдруг становится ясно, как бессильно, в известных случаях, искусство. Никакими клубами дыма, никакими языками пламени и зловещими отсветами не передашь все-таки того ощущения, которое испытываю я сейчас, сидя на берегу перед горящим Сталинградом.

На том берегу идет бой. Трассирующие очереди пулеметов и автоматов стелются по самому берегу. Неужели немцы уже до воды добрались? Несколько длинных очередей перелетают через Волгу и теряются на этой стороне.

Откуда-то из-за спины стреляет «катюша». Раскаленные снаряды, не торопясь, плывут, обгоняя друг друга в дрожащем от зарева небе, и ударяют в противоположный берег. Разрывов не видно. Видны только вспышки. Потом доносится треск.

Кто-то рядом со мной смачно плюет и удовлетворенно покряхтывает. Только сейчас замечаю, что рядом с нами, растянувшись, лежат бойцы.

— Ты мерина успел подковать? — спрашивает кто-то.

— Успел. А ты?

— Лютика успел, а вороному только два передних. У него какая-то рана. Никак не дается.

Приходит комбат. Тяжело дышит.

— Ей-богу, с ума сойдешь от этих переправ. Лет на пять постареешь. — Он громко сморкается. — Был генерал. Ясно сказал: сейчас мы, а потом двадцать девятая. Только на минуту отошел, а они свои ящики уже навалили. Артиллерию, видишь ли, переправили, а боеприпасы на этой стороне оставили. А кто им мешал? Я вот с каждой пушкой снаряды везу. Господи; опять этот чорт!

Комбат снова скрывается. Слышно, как кого-то ругает. Возвращается.

— Ну ладно... все это чепуха. На ту сторону как-нибудь переберемся. Важно, как там...

Выясняется, что полк получил приказ к двум ноль ноль закончить переправу, а к четырем ноль ноль сменить почти не существующую уже дивизию в районе «Метиз» — Мамаев курган. Сейчас уже час, а ни один батальон еще не переправился. На той стороне только саперы, разведчики и опергруппа штаба. Командир полка и начальник штаба тоже, кажется, там. Главное, надо всю артиллерию — сорока пяти и семидесяти шести, приданную батальону, — к рассвету перетащить на передовую, на прямую наводку.

— Хорошо, — говорю я, — дашь мне две роты и пэтээровцев, а сам с одной ротой занимайся артиллерией. У тебя по скольку человек в роте?

— Человек по сто.

— Роскошно. Значит, договорились. Мне только точно место назначения дай.

— Да вот этот треугольник чортов на карте. Откровенно говоря, я думаю, что там никого уже нет. В той дивизии человек сто, не больше. Две недели на том берегу уже дерутся...

И, шумно сплюнув, опять убегает с кем-то ругаться. Голос у него такой, что, вероятно, на той стороне слышно.

Приходит катер. Он маленький, низенький, точно нарочно спрятавшийся в воду, чтоб не было видно. На буксире разлапистая, неуклюжая баржа с длинным торчащим рулем.

Катер долго не может пристать — пятится, фырчит, брызгается винтом. Наконец сбрасывает сходни. Длинной, осторожной цепочкой спускаются раненые. Их много. Сперва «ходячие», потом — на носилках. Их уносят куда-то в кусты. Слышны гудки машин.

Потом грузят ящики. Закатывают пушки. Топчутся лошади по сходням. Одна проваливается, ее вытаскивают из воды и опять ведут. Все идет, против ожидания, спокойно и организованно.

Мы отчаливаем, когда уже начинает светать. Сплошная, неопределенная масса чего-то за нашей спи-

ной превращается в легкое кружево осинника. Стоим, вплотную прижавшись друг к другу. Кто-то дышит мне прямо в лицо чесноком. Глухо стучит где-то под ногами машина. Кто-то грызет семечки, шумно сплевывая. Валега, облокотившись на шинель, перекинутую через борт, смотрит на горящий город.

— Большой он все-таки, — говорит кто-то за моей спиной, — как Москва.

— Не большой, а длинный, — поправляет чей-то мальчишеский голос, — пятьдесят километров в длину. Я был до войны.

— Пятьдесят?

— Тютелька в тютельку, от Сарепты до Тракторного.

— Ого!

— Что ого?

— Войск много надо, чтобы удержать. Дивизий десять, а то и пятнадцать.

— А ты думаешь, тут меньше? Каждую ночь перебрасывают.

Катер огибает острую, почти незаметную в темноте косу. Над нами пролетает со свистом мина. Ударяется позади, в воду.

— Не нравится фрицу, что едем, в Волгу спихнуть хочет.

Мальчишеский голос смеется:

— А чего ж ему хотеть? Конечно, спихнуть... Рус буль-буль... — И опять смеется.

— Фрицу многого хочется, — вступает кто-то третий, судя по голосу, пожилой, — а нам никак уже дальше нельзя. До точки допятились, до самого края земли... Куда уж дальше!

Слышно, как кто-то кого-то хлопает по шинели.

— Правильно, папаша. Вот это по-нашему, поморяцки. Сами уж никак купаться не полезем. Больно вода холодная... Правда?

И все смеются.

Стараюсь повернуть голову. Это очень трудно, — я сжат со всех сторон. Скошенным глазом вижу только белесые пятна лиц и чье-то ухо. Подъезжаем к берегу.

19

Катер никак не может подойти вплотную к причалу. Соскакиваем прямо в воду, мутную и холодную.

На берегу таскают какие-то ящики. Ими завален весь берег. Под ногами путаются цепи, тросы. На ящиках и на земле раненые, молчаливые и угрюмые, прижавшиеся друг к другу.

Берег у воды плоский, песчаный. Дальше — высокий, почти вертикальный обрыв. И над всем — красное, заваленное дымом небо. Стреляют совсем рядом, как будто за спиной. Становится прохладно. Надеваю шинель.

Комбат — его фамилия, оказывается, Клишенцев — кричит на кого-то, не так повернувшего пушку.

— Ну какого чорта ты ее лафетом вперед тычешь? Мозги, что ли, не варят, телячья голова?

Бойцы шлепают по воде с пулеметами, минометами, болтающимися на спине и груди минами. Собираются кучками на берегу. Конечно, закуривают. Клишенцев подбегает ко мне. Он совсем уже охрип.

— Бери четвертую и пятую и двигай! А я пушки сгружу. И сразу же за вами. Связного только пришли, чтоб зря не шататься. Сидорко такой у меня есть — все найдет. Спросишь у Фарбера, командира пятой роты, — и, притянув к себе, шепчет в ухо: — Говорят, от той дивизии ничего не осталось. Постарайся наших разведчиков найти. Они где-то там... В бой без меня не впутывайся... — Он сует мне в руку фляжку. — На, подкрепись на дорогу.

Водка приятно обжигает горло, горячей струйкой пробегает внутри.

Командиры собирают людей. Один — долговязый, сутулый, в короткой, по колено, шинели, в очках. Его фамилия Фарбер. Повидимому, из интеллигентов, — «видите ли», «собственно говоря», «я склонен думать». Другой — Петров, тоненький, щупленький, совсем мальчик. Меня это не очень радует.

Идем вдоль берега, в сторону города. Ноги вязнут в песке. Приседаем, когда свистят мины. Бойцы идут молча, с трудом передвигая ноги, тяжело дыша, при-

держивая руками болтающиеся мины. Они сегодня прошли около сорока километров.

Навстречу вереницы раненых — по двое, по трое, в одиночку. Опираются на винтовки. Спрашивают, где переправа.

Пули свистят над самой головой. Шлепают в воду. Трассирующие высоко подпрыгивают и гаснут в воздухе.

— Где фрицы? — спрашивают бойцы у встречных.

Те неопределенно показывают в ту сторону, куда мы идем:

— Недалеко... Ближе, чем до дому.

Проходим мимо какой-то белой постройки. Должно быть, водокачка — от нее тянутся трубы. Потом дорога подымается вверх. По ней, на руках, тащат вниз пушку.

— Куда? — спрашиваю.

Никто не отвечает.

— Куда пушку тащите?

— А ты кто такой? Не видишь, что делается? Немцам, что ли, оставлять...

Вынимаю пистолет.

— Поворачивай назад...

— Куда?

Кто-то в расстегнутой шинели и съехавшей на затылок пилотке толкает меня в грудь.

— Видали таких... Герои! Не обращай внимания, Кацура. Тащи!

Чувствую, что мне вдруг нехватает воздуха и что-то сжимает горло.

Пули ударяют уже по самому берегу.

Наверху дороги — отсюда виден только задранный шлагбаум, поваленный столб и мотки сваленной проволоки — появляется несколько фигур. Приткнувшись к столбу, они стреляют, потом бегут вниз.

Кто-то задевает меня плечом и чертыхается.

Я поворачиваюсь и ударяю с размаху в белое прыгающее передо мной лицо.

— Назад! — кричу я во все горло, так, что у меня звенит в ушах, и бегу вверх по дороге.

Фрицы, оказывается, рядом, за железной дорогой.

Пути идут почти по самому краю высокого берега. Застывшие вереницы цистерн на фоне чего-то горящего. Откуда-то справа, из-под колес, строчит наш пулемет.

Пролезаю под вагоном. Шинель цепляется за что-то и трещит. Ужасно она мешает, путается между ног. Прижавшись лицом к рельсу — он приятно холодит, — стараюсь рассмотреть, где немцы. Перпендикулярно к путям — улица. Мощеная, прямая, как стрела. Налево — нефтебаки. Из одного валит дым. В мятой стене три большие дыры от снарядов с рваными, закрученными краями. Точно раны.

Направо — обгоревшие сараи, огороженные колючей проволокой.

Немцы, повидимому, сидят в баках, — красные, белые, зеленые точки несутся оттуда. Цокают по цистернам.

Мысль работает невероятно отчетливо. Пулеметов у них, повидимому, два, и, по-моему, ручные. Минометов нет. Это хорошо. Фарберу надо ударить слева, прямо на баки. Я с другим по дороге — в обход баков, справа. Пулеметы стреляют в лоб. Надо успеть пробежать через дорогу и дальше вдоль каменной стенки.

Фарбер отползает. Ползет неловко, как-то бочком, припадая на правую сторону.

Несколько пуль щелкает в цистерну, над самой головой. Тонкая изогнутая струйка керосина бьет в рельс передо мной, и я чувствую на лице мелкие, как из пульверизатора, брызги. Взлетает ракета. Освещает баки, сарай, каменную стенку. Неестественно укорачиваясь и удлиняясь, пляшут тени. Ракета падает где-то за нами. Слышно, как шипит...

Пора... Я закладываю пальцы в рот — свисток свой я потерял еще под Купянском. Мне почему-то кажется, что свистит кто-то другой, находящийся рядом.

Бегу прямо на бак с тремя дырками. Справа и слева кричат. Трещат автоматы. Кто-то с развевающимися ленточками бескозырки бежит передо мной. Никак не могу его догнать. Баки куда-то исчезают, и я вижу только ленточки. Они страшно длинные, вероятно до пояса.

Я тоже что-то кричу. Кажется, просто «а-а-а-а». Бежать почему-то легко и весело. И мелкая дрожь в животе от автомата. Указательный палец до боли в суставах прижимает крючок.

Опять появляются баки, но другие, поменьше, с трубами, извивающимися, как змеи. Труб много, и через них надо прыгать.

За баками — немцы. Они бегут навстречу нам и тоже кричат. Черные ленточки исчезают. Вместо них — серая шинель и раскрытый рот. Тоже исчезает. В висках начинает стучать. Почему-то болят челюсти.

Немцев больше не видно.

Впереди — белые, с железной решеткой ворота. Вот добегу до них и сяду, а потом дальше... Но я не могу остановиться. Ворота уже позади, впереди — асфальтовая дорожка и какие-то корпуса.

Потом я лежу на животе и никак не могу всунуть новый магазин в автомат. Руки трясутся. В пазу что-то застряло.

— Перебило автомат. Возьмите вот этот.

Кажется, Валега, но у меня нет времени оборачиваться.

Сквозь сетку — я лежу у низенькой каменной стенки, с мелкой, как в птичниках, натянутой сеткой — опять видны бегущие немцы. Их много. Они бегут через заводской двор, стреляют из своих черных автоматов, прижав их к животам, и это похоже на какой-то нелепый фейерверк. Немцы даже днем стреляют трассирующими пулями.

Выпускаю целый магазин, потом другой. Фейерверк исчезает. Становится вдруг тихо. Пью воду из чьей-то фляжки и никак не могу оторваться.

— Селедку, что ли, ели, товарищ лейтенант? — говорит кто-то, придерживая фляжку, чубатый, в тельняшке и матросской бескозырке.

Я допиваю воду. Никогда, кажется, такой вкусной и холодной не пил. Ищу Валегу. Он тут же, набивает магазин. Маленькой золотой кучкой лежат сбоку патроны. Рядом с ним круглолицый парень торопливо, затяжка за затяжкой, докуривает «бычок». Плюет на него и вдавливает в землю.

Впереди — асфальтированный, совершенно гладкий заводской двор. За ним — свалка железа, паровоз с разбитыми вагонами и какое-то белое строение вроде железнодорожного блок-поста с балкончиком. Сзади тоже двор — пустой и большой.

Место дрянное: ни окопаться, ни укрыться, — один низенький заборчик с сеткой.

Надо захватить будку и железо, это ясно. Здесь нам не усидеть. Передаю приказание Фарберу и Петрову. Они тоже возле стенки, справа и слева от меня. Парень в тельняшке втыкает капсюли в круглые, с крупными насечками гранаты.

— Во... правильно... — подмигивает он черным сощуренным глазом. — Я эту будку знаю... Мировая будка. И подвальчик что надо!

— Ты был там?

— Всю ночь просидели. Пока фриц не выгнал. С вечера еще пришли. Разведка. КП искали.

Сует гранату в карман, одну втыкает за пояс.

Фарбер подает знак, что у него все готово. Несколько позже — Петров. Немцы откуда-то слева начинают стрелять из пулеметов. Окопались уже, значит, сволочи. Надо торопиться, пока другие не заработали.

Парень в тельняшке, пригнувшись, точно на старте — одна нога отставлена, другая согнута, — уголком напряженного, немигающего глаза смотрит на меня. На левой руке, чуть пониже локтя, что-то наколото — кажется, имя.

Даю сигнал.

Что-то мелькает — темное и быстрое, обдающее ветром. Со стенки сыплется штукатурка. Сетка дрожит, точно по ней сильно ударили. Парень в тельняшке бежит прямо к будке, размахивая автоматом. До будки метров шестьдесят, двор абсолютно гладкий.

И вдруг весь он заполняется людьми, бегущими, кричащими, зелеными, черными, полосатыми. Парень в тельняшке уже у будки. Исчезает в дверях. Фрицы беспорядочно стреляют. Потом перестают. Видно, как они бегут. Их легко узнать по широким, без поясов, шинелям.

Все это происходит так быстро, что я ничего

не успеваю сообразить. Вокруг пусто. Я и Валега. И чья-то пилотка на сером асфальте.

Перелезаем через сетку. Согнувшись, бежим к будке. Посреди двора трое или четверо убитых. Все ничком. Лиц не видно.

Около будки длинная, теряющаяся где-то в железе траншея. Спрыгиваем туда. Кто-то роется в карманах убитого немца.

— Ты что делаешь?

Боец, не подымаясь, поворачивает голову. Два серых маленьких глаза на угреватом лице удивленно смотрят на меня.

— Как что? Фрица обыскиваю.

Он засовывает что-то в карман, торопливо, путаясь в цепочке. Повидимому, часы.

— Шагом марш отсюда! Чтоб духу твоего не было...

Кто-то толкает меня в плечо.

— Да это же мой разведчик, лейтенант. Потише немножко...

Я оборачиваюсь. Парень в тельняшке, с сигарой во рту. Глаза у него узкие и недобрые. Блестят из-под челки.

— А ты кто?

— Я? — Глаза его еще больше сужаются, и на шершавых, загорелых щеках прыгают желвачки. — Командир пешей разведки. Чумак.

Каким-то неуловимым движением губ сигара перебрасывается в другой угол рта.

— Сейчас же прекрати этот кабак... Понятно?

Я говорю медленно и неестественно спокойно.

— Собери своих людей, расставь посты. Через пятнадцать минут придешь и доложишь. Ясно?

— А вы кто такой, что приказываете?

— Ты слыхал, что я сказал? Я — лейтенант, а ты — старшина. Вот и все... И чтоб никаких трофеев, пока не разрешу.

Он ничего не отвечает. Пристально смотрит. Лицо у него узкое, губы тонкие, плотно сжатые. Косая челка свисает прямо на глаза. Стоит, расставив ноги, засу-

нув руки в карманы, слегка раскачиваясь взад и вперед.

Так мы стоим и смотрим друг на друга. Если он сейчас не повернется и не уйдет, я вытащу пистолет.

Цвик-цвик... Две пули ударяют прямо в стенку окопа между мной и им. Я приседаю на корточки. Одна из пуль волчком крутится у моих ног, ударившись о что-то твердое. Разведчик даже не шевельнулся. Тонкие губы его вздрагивают, в глазах светится насмешка.

— Не понравилось, лейтенант, а?

И, ленивым, привычным движением сдвинув крохотную бескозырку на самые глаза, медленно, не торопясь, поворачивается и уходит, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Зад у него плотно обтянут и слегка оттопырен.

Двое бойцов тащат по траншее пулемет. Траншея узкая, и пулемет никак не может пролезть.

— Какого чорта вы здесь возитесь! Дорогу только загромождаете! — кричу я на них, и меня раздражает, что они молчат и только моргают глазами.

Они встают и жмутся к стенке, чтобы пропустить меня.

— Ну, чего стали? Тащите дальше...

Оба сразу хватаются за станину, стараясь протиснуть пулемет дальше. Я перелезаю через него и иду по траншее.

— Точно с цепи сорвался, — доносится до меня голос одного из них.

Я сворачиваю вправо. Петров суетится, покрикивает на бойцов, никак не может установить пулемет, — он почему-то все скатывается.

Петров еще очень молод. Недавно, повидимому, из училища. Тоненькая шейка. Широченные, болтающиеся на ногах сапоги.

— Ну, как по-вашему, хорошо, товарищ лейтенант? — спрашивает он, подсунув под пулемет какой-то ящик.

Смотрит вопросительными, невыносимо голубыми глазами.

— Ладно, сойдет.

— А второй у меня там, за тем заворотом. Хотите посмотреть? Оттуда всю насыпь видно.

Идем туда. Оттуда действительно хорошо видно: немцы сидят за насыпью. Иногда мелькают каски.

Присев на корточки, пишу донесение. Четвертая и пятая роты и взвод разведчиков заняли оборону по западной окраине завода «Метиз». Людей столько-то, боеприпасов столько-то. Последнюю цифру я несколько преуменьшаю, хотя так или иначе, рассчитывать сегодня на подкидку боеприпасов трудновато.

Сидорко, тот самый, которого рекомендовал мне Клишенцев — юркий, раскосый, похожий на китайчонка, — только успевает засунуть донесение в пилотку, как немцы начинают атаку.

Откуда-то появляются танки. Шесть штук. Ползут справа, из-за насыпи. Там, кажется, мост есть, — отсюда не видно. А у нас только четыре противотанковых ружья и десятка два гранат. Куда делась пушка? Я совсем забыл о ней. Неужели опять убежали? Вся надежда теперь на свалку железа. Может, и не перелезут танки?

Рядом со мной загорелый бронебойщик, с русыми закрученными усиками, придающими ему молодцеватый вид. Ему, повидимому, жарко. Он поочередно сбрасывает с себя все — телогрейку, гимнастерку, рубашку. Остается голый, сверкая невероятно белой гладкой спиной.

В траншее тесно и неудобно. Все время переползают, ударяются коленями, чертыхаются.

Танки идут прямо на нас.

Плохо, что нет телефона. Трудно понять, что где делается.

Танки, остановившись у железа, открывают огонь. Снаряды ложатся сзади. Вероятно, болванки — разрывов не слышно. Откуда-то справа доносится голос Чумака — резкий и гортанный. Кричит какому-то Ванюшке, чтоб ему дали противотанковых гранат.

— В подвале... В углу... Где чайник стоит...

Один танк перебирается все-таки через железо... Лязгает гусеницами. Переваливаясь с боку на бок, ползет прямо на нас. Хорошо виден черный противный

крест. Полуголый бронебойщик целится, расставив ноги и упершись задом в стенку траншеи. Пилотка свалилась — на голове светится белый, незагоревший кружок.

— Подобьет или не подобьет?

Крест все приближается...

Кто-то кричит мне в самое ухо. Ни черта не могу разобрать.

— Что такое?

— Немцы обходят слева. Пехота их левей паровоза пошла...

— Почему же пулеметы молчат? Ведь там два пулемета.

Бегу вдоль траншеи. У пулемета Петров и еще кто-то. Заело. Не пролезает лента.

— Почему второй пулемет молчит?

Голубые детские глаза готовы заплакать.

— Ей-богу, не знаю... Пять минут тому назад...

— Гранаты! Давай гранаты!

Пули свистят над самой головой.

Я бросаю гранаты, одну за другой. Немецкие, с длинными ручками. Дергаю за шнур и бросаю через бруствер. Немцы уже у самых окопов. Кричат...

Почему пулемет не работает?

«А-а-а-а-а-а!»

Что-то валится на меня. Я отскакиваю, с размаху ударяю гранатой. Больше у меня ничего нет в руках. Что-то грузное оседает на дно траншеи. Бросаю еще четыре гранаты. Это последние — больше нет. Где автомат, чорт возьми?

Хочу выдернуть из кобуры пистолет, — ремешок зацепился. Никак не вылезает. Чорт!

И вдруг.... тишина!

У ног моих кто-то в серой шинели. Уткнулся лицом в угол траншеи. Перед окопом — никого. Неужели отбили?

Я бегу по траншее назад. Бойцы щелкают затворами. Петров у пулемета.

— Все в порядке, товарищ лейтенант. Работает!

Голубые глаза смеются весело, по-детски.

— Видали, как отсекли? Сразу побежали...

Повернувшись к пулемету, дает очередь. Шейка его трясется. Какая она тоненькая!.. И глубокая впадина сзади, и воротник шнрокий...

Таким вот, вероятно, совсем недавно еще стоял он у доскн и моргал добрыми голубыми глазами, не зная, что ответить учнтелю.

— А почему тот не работает? Он, по-моему, к вам тоже нмеет какое-то отношение.

Голубые глаза смущенно опускаются вннз.

— Я сейчас пойду узнаю, товарищ лейтенант...

Опершись о ствол пулемета, он подымается. Руки у него тоже тоненькие, детские, с веснушками.

— Мне кажется...

Глаза его вдруг останавливаются, точно он увидел что-то необычно интересное, и весь он медленно, как-то боком, саднтся на дно.

Мы даже не слышалн выстрела. Пуля попала прямо в лоб, между бровямн.

Его оттаскнвают. Беспомощно подпрыгивают по земле ноги — тоненькие, в широкнх болтающихся сапогах. На пулемете уже другой. Шея у него толстая н красная. Командиром роты назначаю политрука. Иду к белой будке.

Противнмк молчит. Повидимому, готовится к следующей атаке.

По траншее тащат убитых. Они мешают сейчас живым. Их складывают в боковую щель. Двое бойцов, согнувшись, несут кого-то. Я сторонюсь. Белые, гладкие рукн с загорелымн, точно перчаткн, кистями волочатся по земле. Лица не вндно. Оно в кровн. Голова мотается. На макушке белый кружок от пилотки. Узнаю бронебойщнка с усиками. Тоже кладут в щель, на кого-то в замазанных кровью штанах, с торчащей из-за обмотки алюмнниевой ложкой.

Не успеваю дойти до белой будки. Немцы опять атакуют. Отбиваем... Потом — снова...

Так длится до обеда. Двадцать — тридцать минут отдыха — перекур, набнвка патронов, кусок хлеба за щеку — н опять серые фигуры, крнк, трескотня, неразбериха...

Один раз «хейнкели» высоко, из поднебесья — мы даже их не замечаем, — бомбят нас. Но бомбы падают на немцев. Бойцы смеются.

Сидорко все еще нет. И двух других, посланных позже, тоже нет. Возможно, попали под бомбежку. В воздухе ни на минуту не прекращается гудение моторов. С вышки хорошо видно, как стелется белое облако над берегом.

После обеда откуда-то начинает стрелять наша артиллерия. Бьет по насыпи. Несколько шальных снарядов попадает и в наши окопы. Немцы не унимаются. Но танки не проходят. Тот, с крестом, так и застрял на железе — подбит. Одолевают минометы. У нас много убитых и раненых. «Легких» отправляем на берег. «Тяжелых» переносим в подвал будки, просторный, с железобетонным перекрытием.

Часам к девяти противник выдыхается. В десять все успокаивается. Изредка только пофыркивают пулеметы.

20

В подвале невыносимо накурено. Дым стоит пластами. Коптит фитиль в тарелочке. Раненые — ими забит весь подвал — просят воды. Воды нет. Приходится носить с Волги, а по дороге все распивают.

Валега дает кусок хлеба и сала. Ем без всякого аппетита.

Чумак приходит в разодранной тельняшке, растрепанный. Садится на стол. На меня не смотрит. Стягивает через голову тельняшку. На груди его, мускулистой и загорелой, синий орел с женщиной в когтях. Под левым соском сердце, проткнутое кинжалом, на плече — череп и кости. Ниже локтя — маленькая сквозная дырочка, почти без крови. Кость, повидимому, цела, кисть работает. Маруся — санинструктор, страшно румяная, толстощекая, с двумя завязанными сзади желтенькими косичками — перевязывает рану.

Разведчики сегодня подбили два танка. Один — Чумак, другой — тот самый угреватый разведчик, из-за которого у нас произошла стычка.

Я спрашиваю его, почему он ни о чем не докладывает.

— А о чем докладывать?

— О сегодняшнем дне. О потерях. Существует в армии такой порядок — докладывать после боя.

Чумак медленно поворачивается. Я не вижу его лица. Блестит потная, с глубокой ложбиной вдоль позвоночника спина.

— День — сами видели — солнечный, а потери — ну, какие же потери? Бескозырку потерял — вот и все. Будут еще вопросы?

— Будут. Только не здесь. Выйдем на минутку.

— А там пули. Убить может.

Я проглатываю пилюлю и направляюсь к выходу, он — тоже.

Опершись плечом о косяк двери, жует папиросу.

— Знаете что, товарищ лейтенант? Давайте помирному. Не трогайте разведчиков. Ей-богу, лучше будет.

— Лучше или хуже — другой вопрос. Сколько у вас людей?

— Двадцать четыре. Сколько было, столько и осталось. А разведчиков, советую...

— Танк кто подбил?

— А кто бы ни подбил — не все ли равно?

— Вы подбили?

— Ну, я... Не вы же...

— Расскажите, как вы его подбили.

— Ей-богу, спать охота. После войны о танках поговорим...

— Рекомендую вам запомнить, что я сейчас за комбата.

— А я откуда знаю?

— Вот я вам говорю.

— Комбат — Клишенцев. Кроме того, я подчиняюсь только командиру полка и начальнику разведки.

— Их сейчас нет, поэтому вы должны подчиняться мне. Я заместитель командира полка по инженерной части.

Чумак искоса смотрит острым глазом.

— Вместо Цыгейкнна, что лн?

— Да, вместо Цыгейкнна.

Пауза. Плевок через губу.

— Что ж... Мы с саперамн обычно душа в душу.

— Надеюсь, что н впредь так будет.

— Надеюсь.

— Как фамнлня того, второго, который подбнл?

— Корф.

— Рядовой?

— Рядовой.

— Это его первый танк?

— Нет, четвертый. Первые трн у Касторной.

— Награжден?

— Нет.

— Почему?

— А дядя знает, почему. Матернал подавали...

— Через час дадnте мне новый материал. О нем и о других тоже. Ясно?

На этом разговор кончается. Идет он в самых сдержанных тонах.

— Разрешите нттн, товарнщ заместитель командnра полка по инженерной части?

Я ннчего не отвечаю н спускаюсь внnз. Все тело ломит. Режет глаза. Вероятно, от дыма — страшно все-такн накурено.

Составляю донесенне. Рядом, положив голову на рукн, спнт Фарбер. Он забежал на мннутку за табаком н доложить о потерях. И так заснул над раскрытым портсигаром с недокуренной цыгаркой в руке. В углу кто-то тнхо разговарнвает, попыхнвая папнросой. Доносятся только отдельные фразы:

— А у меня как раз заело... Каблуком пришлось отбнвать. Прошу у Павленко патронов... А он лежнт, уткнувшнсь лнцом в землю, н серое что-то течет.

Потом вдруг появляется Игорь. Стоит передо мной и смеется. Уснкн у него уж не маленькне, а как у того бронебойщнка — залнхватски закрученные по углам рта. Спрашнваю, как он сюда попал. Он ннчего не отвечает н только смеется. И на груди у него — снний орел с женщнной в когтях. Прямо на гнмнастерке.

А у орла прищуренные глаза, и он тоже смеется. Надо, чтобы он перестал смеяться. Надо сорвать его с гимнастерки. Я протягиваю руку, но меня кто-то держит за плечо. Держит и трясет.

— Лейтенант... А лейтенант...

Я открываю глаза.

Небритое лицо. Серые холодные глаза. Прямой костистый нос. Волосы зачесаны под пилотку. Самое обыкновенное усталое лицо. Слишком холодные глаза.

— Проснись, лейтенант, волосы сожжешь.

Тарелка с фитилем у самой моей головы невыносимо коптит.

— Что вам надо?

Человек с серыми глазами снимает пилотку и кладет ее рядом на стол.

— Моя фамилия Абросимов. Я начальник штаба полка.

Я встаю.

— Сидите. — Он переходит на «вы».—Вы лейтенант Керженцев? Новый инженер — вместо Цыгейкина, так я понял из вашего донесения.

— Да.

Он проводит рукой по лицу, по глазам, некоторое время, не мигая, смотрит на коптящий фитиль. Чувствуется, что он, так же как и мы, смертельно устал.

Я докладываю обстановку. Он слушает внимательно, не перебивая, ковыряя ногтем доску стола.

— Петрова, говорите, значит, убило?

— Да. Снайпер, должно быть. Прямо в лоб.

— Так-с... — Нижними зубами он покусывает верхнюю губу.

— Потери вообще довольно значительные. Убитых двадцать пять. Раненых около полусотни. Один пулемет вышел из строя. Осколком ствол перебило.

— А соседи кто?

— Слева второй батальон нашего же полка. Справа же...

Я задумываюсь. Фарбер мне говорил, но у меня выпало из памяти.

— Справа сорок пятый, товарищ капитан, — вставляет Чумак. Он стоит тут же, рядом, засунув руки

в карманы. — От них представитель приходил. Мы с ним стык уточняли.

— Сорок пятый... — задумчиво говорит Абросимов и встает, застегивает телогрейку.

— Ну что ж, Керженцев... Пройдемся по обороне, а потом... потом придется тебе батальон принимать.

Он пристально, точно оценивая, смотрит на меня. Застегивает пуговицы. Они большие и никак не пролезают в петли.

— Клишенцева — комбата — убило. Бомбой. Прямое попадание. Придется временно покомандовать батальоном. Ничего не поделаешь...

И — повернувшись в сторону Чумака:

— Химику ногу оторвало. На ту сторону повезли. Ну, пошли, инженер. Комбат, точнее...

Только когда мы выходим, замечаю, что в углу копошатся связисты — двое, с золотенькими, вырезанными из консервной банки звездочками на пилотках.

Подымаемся наверх. У входа часовой. Я его уже знаю. Его фамилия Калабин. У него большое родимое пятно на щеке. Он хороший стрелок. На моих глазах четырех убил. Он из-под Костромы, и дома у него жена ожидает ребенка.

На дворе прохладно. Я вдыхаю полной грудью свежий ночной воздух. Небо чистое и звездное. Большая Медведица над Мамаевым курганом. Где-то над головой однообразно, как мотоцикл, тарахтит «кукурузник». Точно на месте топчется. Присмотревшись, различаю силуэт. Он летит к Мамаеву кургану. Справа, вероятно над «Красным Октябрем», висят ракеты — около десятка. Они осыпаются золотым дождем искр. Стрельбы никакой. Тишина.

Идем по траншее. Закутанные в шинели фигуры. Винтовки на брустверах. «Кукурузник» бомбит уже где-то за Мамаевым курганом,— видны вспышки. Щупают небо немецкие прожекторы. Подбитые танки — три штуки все-таки подожгли за день — все еще горят, и противный едкий дым стелется над нашими окопами. Ветер в нашу сторону.

Прощаюсь с капитаном на левом фланге, у пробоины в стене. Дальше идет второй батальон.

— Ну смотри, комбат, не подкачай. Завтра опять «сабантуй»... .А патронов пришлем. И к утру пушки будут. С ними все-таки веселей.

Он уходит вместе со своим связным в сторону полуразрушенного корпуса. Там, кажется, КП соседа.

Некоторое время вндно еще, как онн перепрыгнвают через железо. Потом скрываются.

Облокотнвшнсь о бруствер, смотрю в сторону иемцев. Тихо и темно. В одном только месте что-то вроде огонька. Вспыхнвает и гасиет. Неосторожиый наблюдатель какой-иибудь. Курит. А может, так тлеет чтоиибудь...

До чего же тихо!..

А завтра опять «сабантуй»... Самолеты, крнк, трескотня...

Сегодня все-таки сдержали. Только в одном месте потесннли нас немцы — у Фарбера, иа самом правом фланге. Метров на сорок. Придется перекинуть туда горбоносого лейтенанта с его взводом. Рамов, что ли, его фамнлня? Боевой как будто парень. Мне он сегодня понравился. А часнка в трн контратакуем...

Я нду в подвал.

У будкн уже другой часовой — маленький, в волочащейся по земле плащ-палатке. Его не знаю.

Бранятся в телефои связисты:

— «Мрамор»! Я — «Граиит». Как слышишь? «Мрамор», «Мрамор»! Сукин сын, опять прикуривать пошел. «Мрамор», «Мрамор»!

Желтеет солома в углу. Валега, конечно, позаботился. Завалюсь сейчас. Два часа, целых два часа буду спать... Как убитый.

— В два разбудишь, Валега. В четверть третьего...

Ответа не слышу. Уткнувшись в чей-то мягкий, теплый, пахнущий потом жнвот, уже сплю.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

За всю жизнь не припомню такой осени.

Прошел сентябрь — ясноголубой, теплый, с обворожительными утрами и задумчивыми, фиолетовыми закатами. По утрам плещется в Волге рыба, и большие круги расходятся по зеркальной поверхности реки. Высоко в небе пролетают, курлыча, запоздалые журавли. Левый берег из зеленого становится желтым, затем красновато-золотистым. На рассвете, до первых залпов нашей артиллерии, он нежен, как акварель.

Медленно и неохотно рассеивается туман. Некоторое время он держится застывшей молочной пеленой над самой рекой, потом исчезает, растворившись в прозрачном утреннем воздухе.

И задолго до первых лучей солнца ударяет первая дальнобойка. Переливисто раскатывается эхо над непроснувшейся Волгой. Затем вторая, третья, четвертая, и наконец все сливается в сплошном, торжественном гуле утренней канонады.

Так начинается день. А с ним...

Ровно в семь бесконечно высоко, сразу глазом и не заметишь, появляется «рама». Поблескивая на виражах в утренних косых лучах стеклами кабины, долго и старательно кружится над нами. Назойливо урчит своим особым, прерывистым мотором и медленно, точно фантастическая двухвостая рыба, уплывает на запад.

Это — вступление.

За «рамой» — «певуны». «Певуны» или «музыканты» — по-нашему, «штукас» — по-немецки, красноносые, лапчатые, точно готовящиеся схватить что-то птицы. Бочком, косой цепочкой плывут они в золотистом осеннем небе, среди ватных разрывов зенитных снарядов.

Едва протерев глаза, покашливая от утренней папиросы, вылезаем из своих землянок и, сощурившись, следим за первой десяткой. Она определяет весь день. По ней мы узнаем, какой у немцев по расписанию квадрат, где сегодня будет дрожать земля, не будет видно солнца из-за дыма и пыли, на каком участке всю ночь будут раскапывать и вновь закапывать убитых, ремонтировать поврежденные пулеметы и пушки, копать новые щели и землянки.

Когда цепочка проплывает над нашей головой, облегченно вздыхаем, снимаем рубашки и льем друг другу воду на руки из котелков.

Когда же передний, не долетев еще до нас, начинает сваливаться на правое крыло, — забиваемся в щели, ругаемся, смотрим на часы — господи боже мой, до вечера еще целых четырнадцать часов! — и, скосив глаза, считаем свистящие над головой бомбы. Мы уже знаем, что каждый из «певунов» тащит у себя под брюхом от одиннадцати до восемнадцати штук, что сбросят они их не все сразу, сделают еще два или три захода, психологически распределяя дозы, и что в последнем заходе особенно устрашающе загудят сирены, а бомбы сбросит только один... А может, даже и не сбросит, а только погрозит кулаком.

И так будет длиться целый день, пока солнце не скроется за Мамаевым курганом. Если не бомбят — лезут в атаку. Если не лезут в атаку — бомбят.

Время от времени прилетают тяжелые «юнкерсы» и «хейнкели». Их отличают по крыльям и моторам. У «хейнкелей» крылья закругляющиеся, у «юнкерсов» — обрубленные и моторы с фюзеляжем в одну линию, как гребешок.

Они плывут высоко, углом вперед. И бомбы свои, светлые и тяжелые, роняют лениво, вразнобой, не снисходя до пикировки. Поэтому мы их и не любим, эти тяжелые «юнкерсы»: никогда не знаешь, куда уронят

бомбы. Залетают они всегда со стороны солнца, чтоб слепить глаза.

Целый день звенят в воздухе «мессеры», парочками рыская над берегом. Стреляют из пушек. Иногда сбрасывают по четыре небольших аккуратненьких бомбочки — по две из-под каждого крыла — или длинные, похожие на сигару ящики с трещотками — противопехотными гранатами. Гранаты рассыпаются, а футляр долго еще кувыркается в воздухе. Потом мы стираем в нем белье. Две половинки, — совсем как корыта.

По утрам, с первыми лучами солнца, неистово гудя, проносятся над головами наши «илюши» — штурмовики — и почти сейчас же возвращаются, продырявленные, бесхвостые, чуть не задевая нас колесами. Возвращается половина, а то и меньше. «Мессеры» долго еще кружатся над Волгой, а где-то далеко, за Ахтубой, чернеет печальный черный гриб горящего самолета.

Задравши до боли в позвоночнике головы, следим за воздушными боями. Я никак не могу угадать, где наши и где гитлеровцы: маленькие, черненькие, вертятся они, как сумасшедшие, высоко в поднебесье... Один Валега никогда не ошибается — глаз у него острый, охотничий, — на любой высоте «миг» от «мессера» отличит.

А дни стоят один другого лучше — голубые, безоблачные, самые что ни на есть летные. Хоть бы туча появилась, хоть бы дождь пошел! Мы ненавидим эти солнечные ясные дни, этот застывший в своей голубизне воздух. Мы мечтаем о слякоти, о тучах, о дожде, об осеннем хмуром небе. Но за весь сентябрь и октябрь только один раз видели тучу. О ней много говорили; подняв кверху обслюненный палец, гадали, куда она пойдет, но она, проклятая, прошла стороной, и следующий день попрежнему был ясный, солнечный, пронизанный самолетами.

Один только раз — в начале октября — немцы дали нам отдых — два дня: материальную часть, должно быть, чистили. Кроме «мессеров», самолетов не было. В эти два дня купали в корытах бойцов и меняли белье. Потом опять началось.

Фашисты рвутся к Волге. Пьяные, осатанелые, в пилотках набекрень, с засученными рукавами. Говорят, перед нами эсэсовцы — не то «Викинг», не то «Мертвая голова», не то что-то еще более страшное. Кричат, как оглашенные, поливают нас дождем из автоматов, откатываются, опять лезут.

Дважды они чуть не выгоняют нас из «Метиза», но танки их путаются в железном хламе, разбросанном вокруг завода, и это нас спасает...

Так длится... чорт его знает сколько... пять, шесть, семь, а может быть, и восемь дней.

И вдруг — стоп. Тишина. Перекинулись правее — на «Красный Октябрь». Долбят его и с воздуха, и с земли. А мы смотрим, высунув головы из щелей. Только щепки летят. А щепки — это десятитонные железные балки, фермы, станки, машины, котлы... Третий день не проходит облако пыли над заводом. Когда дует северный ветер, это облако наваливается на нас, и тогда мы выгоняем всех бойцов из землянок, так как немецкой передовой не видно, а они, сукины дети, могут ударить под шумок.

Но в общем спокойно, только минометы работают да наша артиллерия бьет с того берега. И мы сидим у своих землянок, курим, ругаем фрицев, авиацию и тех, кто ее придумал. «Посадил бы я этих изобретателей Райтов в соседнюю щель — интересно, что бы запели». Потом гадаем, когда же свалится последняя труба на «Красном Октябре». Позавчера их было шесть, вчера три, сегодня осталась одна — продырявленная, с отбитой верхушкой. Стоит себе и не падает, назло всем.

Так проходит сентябрь.

Идет октябрь.

2

Меня вызывают из «Мрамора» по телефону к «тридцать первому» — командиру полка, майору Бородину. Я его еще не видел. Он на берегу, там, где штаб. Во время высадки ему помяло пушкой ногу, и на передовой он еще не бывал.

Я знаю только, что у него густой, низкий голос и немцев он почему-то называет турками. «Держись, Керженцев, держись, — гудит он в телефон, — не давай туркам завод, понатужься, но не давай». И я тужусь изо всех сил и держу, держу, держу. Временами и сам не понимаю, почему еще держусь, — с каждым днем людей становится все меньше и меньше.

Но сейчас это позади. Третий день отдыхаем. Даже сапоги снимаем на ночь... Надолго ли только?

Впрочем, зачем гадать? Захватив Валегу, иду на берег.

Майор живет в крохотной, как курятник, подбитой ветром землянке. Немолодой уже, с седыми висками, добродушно отеческого вида. На одной ноге сапог, на другой — калоша. Пьет чай с хлебом и чесноком. Покряхтывает. Такие любят детей. И дети их любят. И мешают им, и теребят, и заставляют раскачивать себя на коленях.

Майор внимательно слушает меня, шумно отхлебывая чай из большой раскрашенной кружки. Здоровой ногой отодвигает стоящий рядом стул. Протягивает мягкую руку.

— Вот ты какой, значит. А я почему-то думал, что большой, мордатый, косая сажень. — Голос у него вовсе не такой раскатистый и тяжелый, как в телефонной трубке. — Чаю хочешь?

Я соглашаюсь — давно не пил настоящего чая.

Ординарец приносит чайник и чашку, такую же большую и пеструю. Складным ножом отрезает ломтик лимона. У меня даже слюнки текут. Майор подмигивает маленьким, глубоко сидящим глазом.

— Видишь, как живем. Не то что вы на передовой. Лимончиком встречаем.

Некоторое время молча пьем чай, похрустывая сахаром. Потом майор переворачивает кружку кверху дном, кладет на нее крохотный кусочек сахару и, отодвинув в сторону, аккуратно сметает со стола крошки.

— Ну, так как же у тебя там? А, комбат?

— Да ничего, товарищ майор, держимся пока...

— Пока?

— Пока.

— И долго, ты думаешь, это «пока» протянется? В голосе его появляется какая-то другая интонация, не совсем уже отеческая.

— Пока люди и боеприпасы есть, думаю, будем держаться.

— «Думаю», «пока»... Это нехорошие слова. Не военные... Про птицу знаешь, которая думала много?

— Про индюка, что ли?

— Вот именно, про индюка. — Он смеется уголком глаза. — Куришь? Кури. Хороший. «Гвардейский», что ли, называется.

Он пододвигает лежащую на столе пачку и рассматривает рисунок. Под красной косой надписью бегут красные солдаты в касках, за ними красные танки, а над головою красные самолеты.

— Так ли в атаку ходите? А?

— А мы больше отбиваем, чем ходим, товарищ майор.

Майор улыбается. Потом лицо его становится вдруг серьезным, а мягкие, немного вялые губы — жесткими и резкими.

— Штыков сколько у тебя?

— Тридцать шесть.

— Это активных?

— Да, активных. Кроме того, связисты, связные, хозвзвод на берегу, человек шесть на том берегу с лошадьми. Всего с полсотни наберется. Ну, еще минометчики. Человек семьдесят всего будет.

— Тридцать шесть и семьдесят. Ловко получается. Половина на половину... Нехорошо.

— Соглашаюсь: нехорошо. Я уже хотел ту шестерку к себе взять, а лошадей медсанбату подкинуть, да ваш помощник не разрешил, — за сеном, говорит, ехать должны.

Майор грызет наконечник трубки. Трубка у него большая, изогнутая, изгрызенная.

— Инженер по образованию? Да?

— Архитектор.

— Архитектор... Дворцы, значит, разные, музеи, театры. Так, что ли?

— Так.

— Вот и мне дворец построишь. Сапер наш — Лисагор... Ты его еще не знаешь? Познакомлю... Один дворец построил уже было, да Чуйков — командующий — занял. Вот и живу в этой дыре, после каждой бомбы землю из-за шиворота вытряхиваю. — Майор опять улыбается, собрав морщины вокруг глаз. — Ну, а мины и тому подобные спирали Бруно знаешь, конечно?

— Знаю.

— Этим и будешь сейчас заниматься. Придут комбаты — поговорим. А пока кури, — он щелчком подталкивает мне пачку. — Комбата на твое место уже запросил, да вот не шлют. А без инженера, как без рук. Лисагор — парень хороший, да в чертежах и схемах ни бе ни ме... Бывает такое.

Где-то рвутся бомбы. Звука не слышно, только в ушах что-то неприятное давит, и пламя в лампе тревожно мигает.

Потом приходят комбаты и другие командиры.

Совещание длится недолго — минут двадцать, не больше. Бородин говорит. Мы слушаем, смотрим на карту.

Оказывается, участок нашей дивизии самый широкий — километра полтора в глубину. Левее нас узенькая полоска вдоль самого берега — тринадцатая гвардейская, Родимцевская. Тянется почти до самого города, до пристаней — тоненькой, не шире двухсот метров, извилистой ленточкой. Правее, на «Красном Октябре», тридцать девятая гвардейская и сорок пятая. Это им, значит, сейчас достается. Красная линия фронта проходит как раз по белому на карте пятну завода. Правее еще две-три дивизии. И конец. Это — все. Все, что осталось на этом берегу — пять или шесть километров на полтора, и полтора — это еще в самом широком месте. В центре города — фашисты. Тракторного на карте нет, но где-то там, говорят, еще одна наша дивизия прилепилась, Гороховская, кажется.

Ночью сегодня должна переправиться девяносто вторая бригада. Она уже дралась в Сталинграде. Сейчас возвращается после десятидневной формировки. Место ее между нами и Родимцевым. Нам надо потесниться немного вправо и несколько сжаться. Это неплохо.

Но с «Метизом» мне придется распрощаться. Там будет третий батальон. Мне попадается участок между «Метизом» и восточным концом извилистого оврага на Мамаевом. Самый паршивый участок. Ровный и почти без траншей. Подходы все простреливаются. Днем о связи с берегом не может быть и речи. На прежнем моем участке подходы тоже простреливались, но там было много траншей и всяких баков и строений. Это все-таки облегчало связь.

Да, повезло Кандиди — командиру первого батальона. На готовенькое садится. А мне... Чорт его знает, где и КП себе выбрать. Ничего похожего на нашу симпатичную белую будку с подвалом нет.

Майор говорит медленно, спокойно, чуть даже ворчливо. Не выпускает трубки изо рта. Водит большим пальцем по карте.

— Задача простая — врыться, опутаться проволокой, обложиться минами и держаться. Месяц, два, три — пока не скажут, что дальше делать. Понятно? Мамаев занять полностью мы не в силах. Но то, что есть, отдавать нельзя.

Майор отрывается от карты и устремляет на меня свои маленькие, глубоко запавшие глаза.

— У тебя труднее всего, Керженцев. Основание выступа в твоих руках. Другая сторона — у сорок пятого полка. В этих двух местах немцы и будут рваться, чтобы отрезать первый батальон и заодно два батальона сорок пятого. Они тоже на Мамаевом. А людей больше не будет. Рассчитывайте на то, что есть. Пополнение — только заплаты. Да и пополнение-то — мальчишки.

Вынув изо рта трубку, он сплевывает на пол, растирает ногой.

— У тебя стариков сколько осталось, Керженцев?

— Человек пятнадцать, не больше. Из них человек десять матросов.

— Неплохо. У Синицына и Кандиди и того нет. А это наш костяк. Учтите. Зря не гробьте. Лопаты есть?

С лопатами дело дрянь. Уезжая с формировки, дивизия не успела получить инженерного имущества. А то, что по пути в селах взяла, ржавое и негодное, в первые же два дня поломалось. Киркомотыг совсем нет. Со дня на день ждем инженерную летучку-склад, но она застряла где-то на том берегу, и мы ковыряемся найденным среди развалин старьем.

— Обещают сегодня мины подкинуть, товарищ майор, — поднимается из угла небритый лейтенант в расстегнутой телогрейке. — Я вчера с начальником армейского склада говорил. С тысячу противопехотных нам дадут. А противотанковые — не раньше чем через неделю.

Майор отмахивается: знаю, мол, садись.

— Нажимайте на окопы сейчас. Пока нет саперных лопат, выкручивайтесь пехотинскими. У тебя, Синицын, больше, чем у остальных, — я помню, и участок полегче. Отдашь половину Керженцеву. А ты, Лисагор, — лейтенант в телогрейке вытягивается, — сегодня к вечеру представишь план оборонительных работ. Керженцев поможет. — И ко мне: — Через несколько деньков с тебя требовать буду!

Майор встает, показывая этим, что толочься нам больше здесь незачем: и так накурили — не продохнешь.

3

На берегу Лисагор подходит ко мне.

— Разрешите представиться — лейтенант Лисагор, командир саперного взвода тысяча сто сорок седьмого стрелкового полка сто восемьдесят четвертой стрелковой дивизии.

Голос звучный, привычный к рапортам. Приветствие по всем правилам — пальцы вместе, предплечье и ладонь в одну линию, сильный рывок вниз. Лицо

несколько потрепанное, небритое. Глаза умные, с хитрецой. Сам коренастый, крепкий. На вид — лет тридцать.

— Строительством моим интересуетесь? Метрострой настоящий. Пятый день долбаем.

Он берет меня под локоть.

Шагах в двадцати от землянки майора саперы роют туннель в крутом волжском обрыве — длинный, метров в десять. В виде буквы Т.

— Справа для майора, слева для начштаба, — объясняет Лисагор. — Три на четыре — представляете? А там, левее, еще один — для опергруппы и комиссара. А людей всего восемнадцать. Вместе с сержантами. И чтоб к послезавтрему готово было. Ловко?

Бойцы долбят кирками твердый, как камень, грунт. Двое долбят, двое выносят землю ведрами, двое крепят лес. На земле стоит коптилка. Пахнет копотью, по́том, сырой землей.

Лисагор садится на корточки, опирается спиной о деревянное крепление. Закуривает.

— Одну такую уже откопали. Досками обшили. Печурку в углу поставили. Вот этот усач, помкомвзвода мой, все своими руками сделал: и печь, и трубы. На все руки мастер. Лампу двухлитровую с зеленым абажуром достали. Майор уже намечал, где кровать поставить. А Чуйков пришел, сел на стул, спросил, сколько земли над головой — а ее метров двенадцать, —и пришлось майору распрощаться с квартирой, а саперщикам все с начала начинать. Вот оно как на войне, товарищ лейтенант. А людей — кот наплакал...

— А я вот тоже хотел у тебя попросить... человек этак пять.

Лисагор настораживается.

— Зачем?

— Слыхал, что майор говорил давеча насчет мин?

— Это пускай дивизионные делают. На то они и существуют. А наше дело КП, НП. Их сто, а нас восемнадцать. И так по целым суткам не спят. Да и мины эти, знаешь, когда будут.

— Ты сам говорил, что тысячу предлагали.

— Говорил, говорил... Чего только не наговоришь... На то он и начальник склада, чтоб врать. Не знаешь, что ли, их?

— Ладно. Не будем спорить. Организуй мне на завтрашнюю ночь пять человек — хоть своих, хоть чужих, — остальное меня не интересует.

Лисагор сопит, ковыряет финкой землю между ног.

— Вот всегда так — организуй, сделай, завтра к утру, сегодня к вечеру... А с кем и как — никто не спрашивает. За ночь я батальона не рожу. Видишь, спины какие у людей — хоть выжимай.

Я встаю.

— Ну что ж, придется майору доложить — саперы на блиндажах заняты, оборону укреплять некем.

Лисагор тоже встает.

— Ишь, упорный какой... Ладно, не ходи. Дам людей. Да делать-то им там нечего будет. Тебе еще недели две траншеи копать.

— Траншеи — траншеями, а мины — минами. Завтра вечером пришлю бойцов.

— За чем? За минами?

— А то за чем?

Лисагор не отвечает. Согнувшись, вылезает из туннеля.

— Пошли на воздух, пока фрицев нет.

Солнце слепит глаза. На берегу — точно муравейник. Что-то тащат, копают, строят. Дымят прилепившиеся к обрыву кухни, сохнет белье. Сияют медные горы снарядов с красными, синими, желтыми головками. Ящики с патронами. Мешки. Опять ящики. Исковерканная пушка без ствола. Подбитая «катюша». Распухшая лошадиная туша, облепленная мухами. Задние ноги уже отрезаны.

Левее — полузатонувшая баржа. Торчат одни ребра. На этих ребрах, как куры на насесте, четверо бойцов стирают рубахи. Весело ржут, брызгаются, сверкая спинами.

А небо голубое, ослепительное, без единого облачка. И белоснежная церквушка с зеленым остроконечным куполом на том берегу выглядывает из осинника, по-осеннему красного. Там тоже много людей. Копошатся

и ползают по белому от яркого солнца пляжу. Время от времени беззвучно распускаются пышные букеты мнннных разрывов. Потом доносится звук. Люди разбегаются. Переждав несколько минут, опять сползаются, опять копошатся.

Небольшая шлюпка, точно водяной жучок, барахтается у берега. Течеине сильиое, н ее сносит вправо. Быстро-быстро мелькают весла.

— Сейчас стрелять начнут, — говорит Лнсагор, вынимая нз кармана коробку нз-под зубного порошка. Скручивает цыгарку.

Минуты через две недалеко от лодки взлетает белый фонтан.

— Вот чудакн — напрямик прут, — говорит Лнсагор, аккуратно зализывая цыгарку и всыпая в нее махорку с ладони. — Только вымотаются н немцам работу облегчат. Плылн б по теченню, прицел пришлось бы все время менять.

— По течению плыть — к фрицам попадешь, — говорит кто-то за моей спииой.

Саперы, облокотившись иа лопаты, тоже следят за лодкой.

Фонтаиов становнтся все больше н больше. Лодка ненстово взмахивает весламн.

— Плохой минометчик, — авторнтетно заявляет тощнй, узкогрудый боец, стоящий рядом. — Вчера с третьего раза в щепки разиес.

— Вчера н лодка в пять раз больше была, — отвечает кто-то другой хрнплым, медленным басом, — н грузу гора, еле двигалась.

Одиа мниа разрывается почти у самой лодкн. Лодка только прыгает иа волиах, и иа иесколько секуид прекращается махаиие весел.

— Сейчас пулемет начнет, — спокойно говорит Лисагор, затягнваясь цыгаркой и пуская кольца. — Как пнть дать — застрочнт.

И почти сразу же вокруг лодкн появляется целая серия маленьких, иногда сливающихся фонтанчиков.

Все вокруг умолкают. Лодка перестает махать веслами.

— Вот, сволочи... — вырывается у кого-то за моей спиной, — доконает-таки...

На берегу и вокруг нас почти все следят за лодкой. Весла опять начинают мелькать. Но не четыре, а два. Повидимому, одного ранило или убило.

Шлюпка достигла уже середины реки. Сейчас она как раз против нас. Опять начинает миномет.

— Метров пятьдесят осталось, а там уж не видно фрицам будет.

— Ну, нажимай, нажимай, хлопцы!

Густота разрывов достигает своего предела. Просто непонятно, как лодка еще цела. Правда, ее сильно несет, и фонтаны все время отстают.

Кто-то на самом берегу орет во все горло:

— Давай, давай, давай!

И вдруг, точно по команде, фонтаны исчезают. Две или три мины хлопают еще по воде, но лодка уже далеко от них. Бойцы расходятся, добродушно и довольно ругаясь.

Лисагор швыряет окурок.

— Вот так и доставляют нам еду и боеприпасы. Видал? А вы там, на передовой, — давай, давай патроны!

На весь правый берег, оказывается, работает только одна переправа, шестьдесят вторая, — два катера с баржами, остальные погибли. А с севера не пройдешь — заминировано. За ночь эти катеры успевают максимум по шесть ходок сделать, от силы — семь, а это для восьми или десяти дивизий капля в море... Приходится собственными средствами доставлять.

— В нашем полку целая флотилия есть, — говорит Лисагор. — Пять шлюпок, три плоскодонки и понтон. Было штук пятнадцать, да повыходили из строя. Старые. Текут. И осколками сечет. Понтон — совсем как решето. Трое моих все время сидят конопатят. — Он искоса поглядывает на меня. — А ты говоришь, мины ставить. Сегодня ночью еще людей в сорок пятый посылать надо. Вчера у нас две шлюпки сперли. Эх! И надоело же все это... Пошли ко мне...

И мы на четвереньках забираемся в крохотную, как собачья конура, Лисагорову землянку.

— Видишь, как живем? Сапожник — без сапог. Сам рыл...

Косой луч солнца узенькой стрелкой вонзается в шинель, освещает закопченные котелки, консервные банки и приколотую к стенке фотографию полной девицы в берете.

Откуда-то из-под прибитого к стенке столика — вроде железнодорожного — появляется четвертушка водки.

Чокаемся кружкой о бутылку.

— А мы на передовой только один раз водку получали, — говорю я.

Лисагор ухмыляется, трет ладонью небритый подбородок.

— До передовой полтора километра, а у меня склад под боком. Да и бойцов у меня человек пять непьющих. — Он подмигивает. — Вообще, рассчитывайся ты скорей со своим батальоном и принимайся за инженерство. Увидишь, как заживем. Со мной не пропадешь. Майора нашего я, как облупленного, знаю. С полслова понимаю. Мировой старик. Вспыльчивый иногда, правда, но через полчаса все забывает. Землянки только хорошие любит — есть такой грех. Чуть ли не ковры ему подавай. А так — жить можно. Еще будешь?

Он достает еще четвертушку.

— Вот закончу эти два туннеля и собственную начну делать. Куда это годится? Люди прямо на берегу спят, а через месяц — зима. Увидишь, какие хоромы к твоему приходу будут. Пальчики оближешь...

Я смотрю на ходики, висящие на стенке, с замком вместо гири.

— Правильные?

— Правильные. Да ты не торопись, товарищ лейтенант... Успеешь еще насладиться передовой. — Он похлопывает меня по колену. — Ты не обижаешься, что я с тобой на «ты»? Фронтовая привычка. Я даже с Абросимовым на «ты», а он — капитан. Между прочим, — Лисагор понижает голос, наклоняется ко мне и дышит прямо в лицо, — опасный парень. Людей не жалеет. По виду спокойный, а в деле — кипяток. Со-

всем голову теряет. Бурлит и с плеча рубит. Но ты не поддавайся. Умей держать себя.

Откинувшись назад, он вытягивает ноги. Хрустит пальцами. Я задаю несколько специальных вопросов. Он отвечает без запинки. Смеется. Два передних зуба у него выщерблены.

— Проверяешь? Да? Ну, на этом деле я собаку съел. Кадровик все-таки. Халхингол, Финляндия... Эх, лейтенант, лейтенант, не знаешь ты еще меня. Ей-богу, переходи скорей на берег. Увидишь, как со мной жить. Апельсин хочешь? У меня целый ящик. И печенье есть... Все, что хочешь, есть.

Я перебиваю его:

— Сколько, ты говоришь, у тебя человек во взводе?

— У меня? Восемнадцать. Я — девятнадцатый. Молодец к молодцу. Плотники, столяры, печники. Даже портной и парикмахер. А сапожник — в Москве такого не сыщешь. Видишь, сапоги на мне — что скажешь? Каблучок, носок, подъемчик... загляденье. И часовщик есть. Вот тот, с усами, сержант. И краснодеревщик...

— А насчет минного дела как они?

— И с минным, конечно, знакомы. Но вообще это не наше дело. НП, КП — наше, а мины пусть батальон ставит. А взвод — дай бог. Не жалуюсь. Поработаешь — увидишь. Сам на формировке отбирал. В армии такого не сыщешь. Честное слово!

Я встаю.

— Людей твоих, значит, завтра жду.

Лисагор тоже встает, слегка покачиваясь.

— Ну и упрямый же ты, лейтенант. Дались тебе эти минные поля. Свои только подрываться будут... Ну да ладно уж, пришлю.

— Неплохо было бы, если б и сам заглянул.

— Это не обещаю. Не обещаю. Сам видишь, сколько работы. Туннели, лодки... Мины вот еще сегодня получать надо. Я помкомвзвода пошлю — Гаркушу. Мировой парень. С закрытыми глазами мины натычет.

— Мне-то не надо, а вот первый и третий батальон совсем без саперов...

Придерживаясь рукой за столик, Лисагор несколько секунд смотрит на меня уже слегка осоловевшими глазами.

— Знаешь, что я тебе скажу, товарищ лейтенант?.. Головы у комбатов есть... пускай и думают ими... А мое дело маленькое — приказания выполнять. Тоже — дети маленькие... Лягут в обороне — сапер, минируй! В наступление — сапер, разминируй! В разведку — сапер, вперед, мины ищи... А ну их к черту!

— Как знаешь. Ты пока инженер. Там решай, как лучше. Будь здоров.

— Бувай... Возьми на дорогу витаминчиков!

Он сует мне в карман телогрейки два холодных, шершавых, ослепительно ярких апельсина.

— Жду, значит, на днях. — И вдогонку: — С Клавой познакомлю. — И смеется мелким, рассыпчатым смехом.

4

Ночью меняем позиции. Я тороплюсь закончить все до двенадцати, до восхода луны. Но немцы поджигают два сарая — весь мой участок освещен, как днем. Это затягивает переход почти на всю ночь. Пулемет из-под моста стреляет почти без передышки. Чувствую, что много хлопот будет с этим пулеметом, — он пересекает все мои пути. К утру там появляется еще пушка. А отвечать мне нечем, — патронов еле-еле на день хватит. Так и перебираюсь, прикрываясь ротными минометами. У восьмидесятидвухмиллиметровых нет мин. Прошу поддержки у нашей полковой артиллерии. Но и у них с боеприпасами туго — раза три только за всю ночь стреляют.

Участок отвратительный. Перерезан высокой железнодорожной насыпью. Она завивается вдоль подножия кургана. Заставлена вагонами. С левого фланга почти не видно правого — только верхняя часть оврага. Окопов, траншей — никаких. Уступающие нам место бойцы первого батальона ютятся по каким-то ямкам и воронкам, прикрывшись всяким железным хламом. Вдоль оврага, по ту сторону насыпи, кое-ка-

кое подобие окопов все-таки есть, правда, без малейших признаков соединительных ходов.

Да, это не «Метиз». Там с одного конца до другого, почти не согнувшись, пройти можно.

Участок сам по себе невелик для нормального батальона — каких-нибудь шестьсот метров, но у меня всего тридцать шесть человек. Было четыреста, а стало тридцать шесть.

Ищу себе КП — хотя бы временный, чтоб установить телефон. Сплошные развалины, обгорелые сараи, подвалов никаких. Выручает Валега. Находит под насыпью хорошо замаскированную железобетонную трубу. Но в ней какие-то артиллеристы.

Долговязый лейтенант с маленькой, торчащей во все стороны отдельными волосиками бородкой встречает в штыки:

— Не пущу — и все... Нас и так тут пять человек. А ты еще целый штаб тащишь.

Но я не расположен к дипломатическим переговорам. Приказываю ставить телефон, старшему адъютанту — писать донесение. Артиллеристы ругаются, не хотят сдвигать свои ящики, говорят, что пожалуются Пожарскому, начальнику артиллерии. А я Пожарского не знаю.

— Располагайтесь, хлопцы, и все... Ни с места, пока не скажу.

Связистам больше ничего и не надо. Протянув нитку, они устраиваются прямо на каменном полу и вызывают уже какие-то свои «незабудки» и «тюльпаны».

Харламов — старший адъютант, близорукий и всегда все теряющий, потерял, конечно, самую нужную папку и всем мешает, роясь под ногами.

— Должно быть, там забыл, на старом КП, — бормочет он себе под нос, растерянно оглядываясь по сторонам. Удивительная черта у этого человека — всегда и везде что-нибудь забыть. За время нашего знакомства он успел уже потерять шинель, три каски и собственный бумажник. О карандашах и ручках говорить уже нечего.

Часам к пяти приходят командиры рот.

— Ну как? — спрашиваю.

Карнаухов — командир четвертой роты, сменивший убитого Петрова, — пожимает широченными плечами.

— Растыкал пока. Пулеметы еще ничего, а бойцы... Придется день пересидеть как-нибудь — светает уже, а ночью за лопаты браться... В таких окопах долго не продержишься.

У Карнаухова низкий, слегка глуховатый голос. Говорит немного запинаясь. Может быть, просто слова подбирает. А в общем, мне он нравится.

Пришел он к нам дней десять назад. Большой, косолапый, с густыми, сросшимися на переносице бровями, сероглазый, с мешком за плечами. С трудом протиснулся в узенькую низкую дверь.

Мы как раз обедали. Суп из сушеной картошки и сухари. Он отказался и попросил воды. Выпив с аппетитом огромную кружку, вытер губы, улыбнулся.

— Весь ваш запас, должно быть, выдул...

И спросил, где находится его рота.

— Да вы посидите, очухайтесь сперва.

Он опять улыбнулся, точно извиняясь, и вытер ладонью взмокший лоб с красной от фуражки полоской.

— Целый месяц в госпитале очухивался. Три кило прибавил. Табаку вот на дорогу не дали. А без табаку, сами знаете, каково...

Я дал ему закурить. Он скрутил цыгарку совершенно невероятных размеров.

Я задал несколько обычных при первом знакомстве вопросов. Он спокойно, немногословно отвечал, присев в углу на свой вещевой мешок. Потом встал, поискал глазами, куда бросить окурок, и, так и не найдя подходящей пепельницы, выбросил за дверь.

— Ну? Кто меня поведет?

Вечером я получил от него аккуратное донесение с приложением стрелковых карточек на каждый пулемет и схемы расположения огневых средств противника.

На следующий день он отбил у немцев потерянный нами накануне участок траншей, потеряв при

этом только одного человека. Когда я вечером забрался к нему в блиндаж, не по-фронтовому чистенький, с зеркальцем, бритвенным прибором и зубной щеткой на полочке, он сидел и писал что-то в положенной на колени тетрадке.

— Письмо на родину, что ли?

— Нет... Так.. Чепуха... — Смутился и попытался встать, нагнув голову и упершись плечами в потолок. Тетрадку он торопливо сунул в карман.

«Должно быть, стихи», — подумал я и больше не спрашивал.

В эту же ночь его рота выкрала у немцев пулемет и шесть ящиков с патронами. Бойцы говорили, что он сам за пулеметом ходил, но когда я его спросил, он только улыбнулся и, не глядя в глаза, сказал, что все это выдумки, что он никогда не позволит себе этого и что вообще командир роты за пулеметами не ходит.

Сейчас он стоит передо мной, слегка ссутулившийся, небритый. Я знаю, что ему, так же как и мне, больше всего хочется спать. Но он еще будет, высунув кончик языка, рисовать схему своей обороны или побежит проверять, принесли ли ужин.

Фарбер, комроты-пять, сидит на кончике ящика от патронов, усталый и, как всегда, рассеянно-безразличный. Смотрит в одну точку, поблескивает толстыми стеклами очков. Глаза от бессонницы опухли. Щеки, и без того худые, еще больше ввалились.

Я до сих пор не могу раскусить его. Впечатление такое, будто ничто на свете его не интересует. Долговязый, сутуловатый — правое плечо выше левого, болезненно-бледный, как большинство рыжих людей, и страшно близорукий, он почти ни с кем не разговаривает. До войны он был аспирантом математического факультета Московского университета. Узнал я об этом из анкеты — сам он никогда не говорил. Вообще он ни о чем не говорит.

Несколько раз я пытался завести с ним разговор о прошлом, о настоящем, о будущем, старался расшевелить его, возбудить какими-нибудь воспоминаниями. Он молча, рассеянно слушает, иногда односложно

отвечает, но дальше этого не идет. Все как-то проходит мимо, обтекает его, не за что зацепиться. Я ни разу не видел его улыбающимся. Даже не знаю, какие у него зубы.

Чувство любопытства, так же как и чувство страха, у него атрофировано. Как-то, еще на «Метизе», я застал его в одной из траншей. Он стоял, прислонившись к брустверу, в своей короткой — до колен — солдатской шинели, спиной к противнику, и рассеянно ковырял носком ботинка осыпавшуюся стенку траншеи. Две или три пули звякнули где-то неподалеку. Потом разорвалась мина. Он продолжал ковырять землю.

— Вы что здесь делаете, Фарбер?

Он медленно, точно нехотя, повернулся, и глаза его с бесцветными ресницами и тяжелыми, слегка припухшими веками вопросительно остановились на мне.

— Так просто... Ничего...

— Ведь вас тут фрицы в два счета ухлопают.

— Пожалуй, — спокойно согласился он и присел на корточки.

Трудно назвать его неаккуратным, — он всегда выбрит, и подворотничок у него всегда свежий, но это, повидимому, привычка или воспитание — внешности своей он не придает никакого значения. Шинель на два номера меньше — хлястик под лопатками, на ногах обмотки, пилотка с растопыренным верхом, петлиц нет.

Я сказал ему как-то:

— Вы бы пришили себе кубики, Фарбер.

Он как всегда удивленно посмотрел на меня:

— Для большего авторитета, что ли?

— Просто положено в армии носить знаки различия.

Он молча встал и ушел. На следующий день я заметил на воротнике его шинели два матерчатых кубика, пришитых вкривь и вкось белыми нитками.

— Плохой у вас связной, Фарбер, — с кубиками определенно не справился.

— У меня нет связного. Я сам пришивал.

— А почему нет связного?

— В роте восемнадцать, а не сто пятьдесят человек.

— Ну, вот один пускай и будет по совместительству вашим связным.

— Излишняя роскошь, пожалуй.

— Не излишняя, и не роскошь. Вы — командир роты.

Он ничего не возразил, он вообще никогда не возражает и не возмущается, но связного, по-моему, у него до сих пор нет.

Странный человек. В его обществе я всегда чувствую себя натянутым, поэтому никогда не задерживаю его. Получил приказание и будь здоров — выполняй. Он молча, рассеянно, смотря куда-то в сторону, выслушает, кивнет головой или скажет «постараюсь» и уйдет.

Сейчас он сидит безучастный, сгорбленный, с вылезающими из коротких рукавов бледными костистыми руками, барабанит пальцами по столу.

— Помните, Фарбер, — говорю я ему, — участок у вас неважный. На артиллерию особенно не рассчитывайте. Все от пулеметов зависит. Не увлекайтесь фронтальным огнем. Кроме трескотни, никакого толку.

Он молча кивает головой. Длинные пальцы его барабанят по столу беспрерывно, монотонно.

На дворе — сквозь щель видно — совсем уже рассвело. Я отпускаю командиров рот. Звоню в штаб, что передислокация окончена и приемо-сдаточные документы посылаю со связным.

Артиллеристы примирились с нашим пребыванием. Выкрикивают на другом конце трубы какие-то свои координаты по телефону. Повидимому, скоро заговорят наши пушки.

5

Утром мы все ожидаем атаки — немцы не могли не заметить нашей ночной возни. Против всех ожиданий, день оказывается настолько тихим, что даже удается притащить с берега обед днем.

После круглосуточных суматох, бесконечных атак, бомбежек и артналетов трудно даже поверить этой тишине. Все время ждешь какого-то подвоха.

Но пока спокойно. Обычная перестрелка, довольно вялая и редкая. В семь, как всегда, — «рама». Вереницы «певунов» над «Красным Октябрем».

Валега приволакивает с Волги два ведра воды, разогревает на примусе, потом мы скребем друг другу спины рогожей. Вода после меня черная, как чернила. А сам я красный, и все тело чешется. Валега смеется.

— Я вам сейчас трофейное белье дам. Шелковое. Ни за что вошь не заведется. Скользит — не держится.

Я натягиваю тонкие лазоревые кальсоны и рубаху, бреюсь и иду к Карнаухову. Сидя на корточках и скосив глаза в крохотный осколок зеркала, приткнутый к полуразрушенной стенке, он скребет подбородок.

— Ну, как жизнь?

Карнаухов улыбается сквозь пену, встает.

— Так и до конца войны жить можно. Забастовал что-то фриц...

Присаживаюсь рядом.

Кругом — одни трубы. Домов нет. Черные, дымящиеся еще кое-где балки — и трубы, трубы, трубы, зловещие черные трубы на прозрачном, почти крымской чистоты небе. Почему-то трубы всегда сохраняются. Точно нарочно их кто-то оставляет, чтоб напомнить, что был здесь когда-то дом, поселок, город...

Я сижу на столбе. Повидимому, это были когда-то ворота. Еще фонарь с номером сохранился. Треугольный синий фонарь и надпись: «2-й Косой пер., № 24. Дом принадлежит Агарковой И. Н.» На куске стены, неизвестно почему сохранившейся, покосившаяся вывеска — «Мужской и дамский портной Авербух. Прием заказов». Розовощекий субъект в глаженых брюках и котелке равнодушно-сосредоточенно смотрит с вывески на меня, точно гипнотизирует. У них всегда такой взгляд, у этих вывесочных красавцев.

— А у вас тут спокойно, — говорю я.

— Это сейчас только. А вообще — не очень. Я побриться только выскочил — в норе темно, не видать, весь изрежешься.

Мучительно сморщившись, Карнаухов добривает верхнюю губу. Я подчищаю ему затылок, и, захватив бритвенные принадлежности, мы вползаем в нору. В норе печка, стол с подрезанными ножками, два стула. В углу связист с привешенной к голове телефонной трубкой. Еще двое бойцов. Чадит сплющенная из артиллерийской гильзы лампа. На стенке — календарь с зачеркнутыми днями, список позывных, вырезанный из газеты портрет Сталина и еще кого-то — молодого, кудрявого, с открытым симпатичным лицом.

— Это кто?

Карнаухов, перехватив мой взгляд, конфузится.

— Джек Лондон.

— Джек Лондон?

Карнаухов стоит против света, я не вижу его лица, но по просвечивающим ушам вижу, что он покраснел.

— Почему вдруг Джек Лондон?

— Да так... Уважаю его... Молока хотите?

— Молока? Здесь? Откуда?

— Сгущенного... Американского. Ребята достали.

Я с удовольствием облизываю ложку густого, приторно сладкого, похожего на липовый мед молока.

— А все-таки откуда у вас этот портрет?

— Откуда? — смеется Карнаухов. — Из госпиталя, конечно. Я там всю библиотеку перечитал. А «Мартина Идена» не успел. Ну и... взял с собой на время.

— Вы любите Джека Лондона?

— Да... Я его несколько раз перечитывал.

— Я тоже люблю.

— А его все любят. Его нельзя не любить.

— Почему?

— Настоящий он какой-то... Его даже Ленин любил. Крупская ему читала.

— Дадите мне потом почитать?

— Ладно.

— А кого вы еще любите из писателей?

Он опять смущается.

— Я мало читал. У учительницы нашей только Лондон был — не знаю, откуда она его взяла, — знаете, в коричневых обложках, приложение... И еще Мельников-Печерский, и еще кто-то, не помню уже, — иностранный.

— Ну, это в школе. А потом?

— Потом времени не было. Я на шахте работал. В Сучане. Знаете? Около Владивостока.

— Знаю.

— Я пацаном когда был, в Америку совсем уже бежать собрался — золото в Клондайке искать. Спер двустволку у отца, сухарей набрал. Даже на норвежскую шхуну забрался. Мы во Владивостоке тогда жили. Отец грузчиком в порту работал.

— Ну?

Карнаухов улыбается, разглядывая ногти.

— За шиворот домой приволокли. Как щенка. Дней пять потом отлеживался. Ручка у бати — сами понимаете. Серебряные рубли в трубочку скручивал...

И он опять смеется.

Потом появляется откуда-то патефон, старенький, дребезжащий, и мы больше догадываемся, чем наслаждаемся Давыдовой, Козловским и дуэтом из «Запорожца за Дунаем». Иголка только одна, и мы попеременно точим ее о разбитую тарелку.

— Ну, вот и все, что у меня есть, — почесывая затылок, говорит Карнаухов. — Разве что передовую вам еще показать... Только к самым окопам сейчас не пройти. Придется отсюда, из развалин.

Мы устраиваемся у низенькой каменной стенки. Вероятно, здесь была комната. Скрученная огнем железная кровать, швейная машина, мясорубка...

Впереди — овраг. Он начинается чуть левее нас и тянется изгибом вверх, к самой вершине. Против нас подбитая пушка. Ствол разорван, и края его, точно у какого-то фантастического цветка, завились локонами. Это придает пушке удивленный, недоуменный вид. Рядом — разбитый в щепки передок.

На противоположной стороне оврага — немецкие окопы. Совсем рядом, рукой подать.

— А наших не видно, — шепчет Карнаухов, — склон мешает. Метров семьдесят от фрицев — по прямой. Видите: сволочи — даже днем копают.

В одном месте действительно видно, как что-то рыжее вылетает из земли и иногда поблескивает лопата.

— Эх, снарядов нет... Показал бы я им, как рыть у нас под носом. А я вот попытался утром покопаться — сразу из минометов шпарить стали... И откуда у них столько боеприпасов?

Мы лежим долго, наблюдая за фрицами. Пытаемся засечь их огневые точки. Они хорошо замаскированы, и мы не сразу их находим. Два или три пулемета торчат где-то на вершинке, похожей на горб верблюда, — как раз против нас. Еще один прилепился где-то повыше, в овраге, и простреливает его вдоль. А один мы так и не можем найти, хотя пули его цокают совсем рядом, около нас.

Да... Не такой представлял я себе до войны передовую. Зигзаги колючей проволоки в три-четыре ряда, бесконечная паутина траншей, маскировочные сети, амбразуры для стрельбы. А тут? Под самым носом — бесформенно нарытая земля. Подбитая пушка. Что-то вроде бочки из-под горючего, насквозь изнизанной пулями.

Была у меня когда-то книга — «Герои Малахова кургана». С картинками, конечно. Четвертый бастион, редуты, люнеты, апроши... Горы мешков с песком, плетеные, как корзины, туры, смешные, на зеленых деревянных платформах пушки с длинными фитилями, круглые блестящие мячики бомб с тоненькими струйками дыма.

Почти девяносто лет прошло с тех пор. Танки и самолеты за это время придумали. А вот мы сидим сейчас в каких-то ямочках и называем это обороной. Хотя, виноват, немцы в своих газетах пишут, что Сталинград окружен стеной железобетонных укреплений, которым мог бы позавидовать любой Верден.

Что ж, пускай пишут, а оборону так или иначе укреплять надо.

Сегодня же ночью начну мины ставить. Сотни три на первых порах разбросаю. Противотанковые здесь не нужны — танк не пролезет, а вот там, за насыпью, у Фарбера...

Карнаухов лежит, насупив черные сросшиеся брови, такие чужие на его добродушном лице.

— А все-таки хорошая у них система огня, черт возьми! Посмотрите только. С того верблюжьего горба весь третий батальон простреливают. Из-под моста — нам в спину. А сверху оврага — вдоль всей передовой...

И, точно иллюстрируя его слова, как будто сговорившись, начинают стрелять все три пулемета.

— Ох, и насолили бы мы фрицам, забрав тот горбок! Но что сделаешь с восемнадцатью человеками...

Карнаухов прав. Будь та высотка в наших руках, мы б и третьему батальону жизнь облегчили, и мост парализовали, и огневые точки, фланкирующие первый батальон, немели!

Но как это сделать?

6

Вечером отправляю всех не занятых на передовой за минами. Хорошо, что у меня есть повозка. В темноте на ней все-таки можно подвезти мины почти к самой насыпи. А оттуда не так уж трудно на руках.

Часам к десяти у меня уже около трехсот штук. Они свалены возле трубы. К этому времени приходят и саперы — четыре бойца и сержант, тот самый, с усами — Гаркуша.

Сидят в углу, грызут семечки, изредка перебрасываются словами. Вид усталый.

— Целый день кайлим в туннеле, а утром придем — опять за кирку. Ни спины, ни рук не чувствуешь.

Гаркуша протягивает руку — жесткую, заскорузлую, точно рогом, покрытую сплошной мозолью.

Когда из четвертой роты сообщают, что уже

перетащено штук сто мин, Гаркуша встает. Стряхивает с колен шелуху.

— Ну что ж? Пойдем, пока луны нет. Кто нам покажет?

Цепляясь руками за кустарник и колючую, сухую траву, спускаемся к самой передовой. Окопы — отдельными щелями по два-три метра — тянутся как раз посредине ската.

Какой дурак мог это придумать? Почему не расположить их метров на двадцать позади и выше? И обстрел лучше, и сообщение легче, и противнику труднее до них добраться. А бойцы копают. В темноте не видно, но слышно, как звякают лопаты.

— Какого чорта здесь копаете, Карнаухов? Ведь здесь же как на ладони.

Я невольно раздражаюсь. Это бывает всегда, когда чувствуешь, что не только другие, но и сам виноват. Забываю даже, что здесь разговаривать можно только шопотом.

Карнаухов ничего не отвечает. Потом только узнаю, что копать начал по своей инициативе командир взвода Синдецкий. «Замерзли бойцы, вот я и велел копать, чтоб согрелись».

Приказываю сейчас же перевести людей выше. Пускай там окапываются. Все равно, грош цена этим щелям. А тут двух-трех бойцов как охранение оставить.

Бойцы, кряхтя и матерясь вполголоса, ползут наверх, волоча лопаты, мешки, шинели.

— Начальники, называется...

Это по моему адресу. Делаю вид, что не слышу. Счастье, что луны нет. Была бы луна, доброй половины недосчитались бы...

Спускаемся еще ниже. Скат крутой, и начинающая уже подмерзать глина все время сыплется из-под ног. Саперы тащат по два десятка мин в мешках. Время от времени строчит дежурный немецкий пулемет — тот самый, что вверху оврага. Но очереди пролетают высоко, пощелкивая над головой. Разрывные.

Попадаем в грязь. Повидимому, ручей: дождей

давно не было. Чавкает под ногами. Взлетает ракета. Плюхаемся лицом, руками, животом прямо в вязкую, холодную жижу. Уголком глаза из-под локтя слежу за медленно плывущей в черном небе ослепительно дрожащей звездой.

— Ну, где будем?

Навалившись на меня плечом, сержант дышит мне в самое ухо. После яркого света ничего не видно. Даже лица не видно. Только теплое, пахнущее семечками дыхание.

— Как вспыхнет ракета, смотрите налево... — От напряжения голос у меня слегка дрожит. — Увидишь бочку железную... Начнешь от нее... И вправо метров на пятьдесят... В три ряда. В шахматном. Как говорили.

Слова выдавливаются с трудом.

Гаркуша ничего не отвечает. Отползает в сторону. Я это только слышу, но не вижу. Через минуту опять чувствую на своем лице его дыхание.

— Товарищ лейтенант!

— Что?

— Я немножко выше возьму. А то замерзнет вода, и тогда...

Опять ракета. Гаркуша наваливается прямо на меня.

Вдавливаюсь лицом в землю. Стараюсь не дышать. Рот, нос, уши полны воды и грязи. Ракета гаснет. Подымаю голову и говорю:

— Хорошо.

За минное поле я уже спокоен.

Вытираю рукавом лицо.

Собачья работа все-таки саперская. Темнота, грязь, в тридцати шагах противник, а свои где-то там, наверху... И каждой мине надо выкопать ямку, вложить МУВ — трубочка такая с пружинкой, острым, как гвоздь, бойком и капсюлем, — проверить, положить в ямку, засыпать землей, замаскировать... И все время прислушивайся, не лезут ли немцы, и в грязь бултыхайся, и не шевелись при каждой ракете...

Слышно, как бойцы осторожно вываливают мины из мешков.

За час они, по-моему, управятся.

А мне сейчас же, на свежую память, за формуляры и отчетные карточки на минные поля браться надо. Будет у меня этой писанины каждую ночь. В трех экземплярах да еще схему с азимутами и привязками, а вдобавок, и бланков нет — все сам, от руки...

Взбираюсь на гору. Два или три раза чуть не обрываюсь. Ни черта не видно — хоть глаз выколи. Все руки исколол о какой-то колючий кустарник.

Бойцы молча копают. Слышно только, как ударяют лопатой о землю. Кто-то, совсем рядом со мной — в темноте ничего не видно, — хрипло, вполголоса, точно упрямую лошадь, ругает твердую, каменную землю.

— Хоть бы несколько кирок на батальон дали! А то — лопаты называются... Масло ими резать.

Кирки... Чорт знает, где их достать! Чего бы только я не дал за два десятка кирок! Кажется, никогда в жизни ни о чем так не мечтал, как сейчас о них. А сколько их в Морозовской, на станции, валялось! Горы! И никто смотреть не хотел.

А так и за месяц не окопаемся...

В начале первого появляется луна. Косощекая, оранжевая, выползает откуда-то со стороны Волги. Заглядывает в овраг. Через полчаса там нельзя уже будет работать. А их всего четверо — и сто мин...

А луна ползет, ползет, становится желтой, потом белой. На все ей наплевать. По-моему, она даже быстрее обычного сегодня подымается, точно спешит куда-то или с выходом опоздала. И, как назло, противоположная сторона в тени, а наша с каждой минутой все светлее и светлее... Последние остатки тени медленно, точно нехотя, сползают вниз, один за другим оставляя кусты.

Кто-то ищет меня. Молодой, почти детский, срывающийся голос. Кажется, связной Карнаухова.

— Лейтенанта, комбата, не видали?

— Это якого? Що з биноклем ходить? — отвечает чей-то голос откуда-то снизу, верно из щели.

— Да нет. Не с биноклем. Комбата. Командира батальона. В пилотке синей...

— А-а, пилотці синій... Ну, так бы і сказав, що в пилотці. А то — комбат... Хіба всіх іх за день, начальників, запам'ятаешь...

— Ну, так где ж он?

— А я не бачив, — добродушно отвечает голос. — Не було його. Ий-богу, не бачив...

— Фу ты, дура какая!

— Може, Фесенко бачив... Фесенко, а Фесенко...

Я направляюсь в сторону разговора. Фесенко из другой щели так же добродушно и неторопливо отвечает, что «якийсь тут був з начальників, на командира роти ще й кричав, що не так копаемо, але куди він подавсь — біс його знае...»

— Кто меня ищет?

— Это вы, товарищ лейтенант? — вытягивается передо мной маленькая тоненькая фигурка.

— Я... И не вытягивайся, ложись!

Фигурка садится на корточки.

— Ну? В чем дело?

— С КП вашего звонили, чтоб шли туда срочно.

— Меня? Срочно? Кто звонил?

— А не знаю... Полковник какой-то.

Какой полковник? Откуда взялся? Ничего не понимаю.

— И срочно сказали, в три минуты чтобы...

Не доходя до карнауховского подвала, наталкиваюсь на Валегу. Бежит сломя голову. Запыхался.

— Полковник ждут вас. Командир дивизии, что ли. С орденом. И еще какие-то с ним. Харламов, младший лейтенант, чего-то путают там. А они ругаются...

Вечно этот Харламов, будь он проклят! Навязался на мою шею. Адъютант старший, называется, — начальник штаба. На кухне ему, а не в штабе работать.

Немцы вдруг поднимают стрельбу, и мы добрых пятнадцать минут лежим, уткнувшись в землю носами.

Полковник, совсем маленький, щупленький, точно мальчик, с ввалившимися, как будто нарочно втянутыми щеками и вертикальными, напряженными морщинами между бровями, сидит, опершись рукой о стол. Шинель с золотыми пуговицами расстегнута. Рядом наш майор. Между колен — палочка. Еще двое каких-то.

Харламов — навытяжку, застегнутый и подтянутый. Впервые его таким вижу. Моргает глазами.

Прикладываю руку к козырьку. Докладываю: батальон окапывается, ставим мины. Два больших черных глаза, не мигая, смотрят на меня с худого чахоточного лица. Сухие, тонкие пальцы слегка постукивают по столу.

Все молчат.

Я опускаю руку.

Пауза несколько затягивается. Слышу, как Валега учащенно дышит за моей спиной.

Черные глаза становятся вдруг меньше, сужаются, и бескровные, в ниточку, губы как будто улыбаются.

— Вы что? Дрались с кем-нибудь? А?

Молчу.

— Дайте-ка ему зеркало. Пускай полюбуется.

Кто-то подает толстый облупившийся осколок. С трудом узнаю себя. Кроме глаз и зубов, ничего разобрать нельзя. Руки, телогрейка, сапоги — все в грязи.

— Ну ладно, — смеется полковник, и смех у него неожиданно веселый и молодой. — Все случается... Я однажды командующему округом в трусах докладывал, и ничего, сошло. Десять суток только получил — к пустой башке руку приложил...

Улыбка исчезает, точно ее кто-то стирает с лица. Черные большие глаза опять устремляются на меня. Умные, немного усталые, с треугольными мешками.

— Ну что ж, комбат, похвастай, что сделал за сутки. Если на передовой то же самое, что в бумагах, — не завидую тебе.

— Мало сделано, товарищ полковник.

— Мало? Почему? — Глаза не мигают.

— Людей жидковато и с инструментом плохо.

— Сколько у тебя людей?

— Активных тридцать шесть.

— А бездельников, связных и тому подобное?

— Всего около семидесяти.

— А знаешь, сколько в сорок третьем полку? По пятнадцать — двадцать человек, и ничего — воюют.

— Я тоже воюю, товарищ полковник.

— Он «Метиз» держал, товарищ полковник, — вставляет майор. — Прошлой ночью мы его передвинули вправо.

— А ты не защищай, Бородин. Он сейчас не на «Метизе» сидит, и немцы его не с «Метиза» выгонять будут... — И опять ко мне: — Окопы есть?

— Копают, товарищ полковник.

— А ну, покажи...

Я не успеваю ответить. Он стоит уже в дверях и быстрыми, нервными движениями застегивает пуговицы.

Я пытаюсь сказать, что там сильно стреляют и что, пожалуй, не стоит ему...

— А ты не учи. Сам знаю.

Бородин, тяжело опираясь на палку, тоже приподнимается.

— Нечего тебе с нами ходить. Последнюю ногу потеряешь. Что я буду тогда делать? Пошли, комбат.

Мы — я, Валега и адъютант комдива, молодой парень с невероятно круглым и плоским лицом, — еле поспеваем за ним. Мелким, совсем не военным шагом, слегка покачиваясь, он идет быстро и уверенно, будто не раз уже ходил здесь.

У карнауховского подвала останавливаюсь. Полковник нетерпеливо оборачивается:

— Чего стал?

— КП ротный здесь.

— Ну и пускай здесь... Где окопы?

— Дальше. Вот за теми трубами.

— Веди!

Окопы сейчас хорошо видны — и наши, и противника. Луна светит вовсю.

— Ложитесь.

Ложимся. Полковник лежит рядом, подперев голову руками. Объясняю, где раньше были окопы и где я рою их сейчас. Он ничего не говорит. Спрашивает, где пулеметы. Показываю. Где минометы. Показываю. Молчит, изредка сдержанно, стараясь подавить, покашливает.

— А где мины ставишь?

— Вон там, левее, в овраге.

— Прекрати. Людей назад.

Я ничего не понимаю.

— Ты слыхал, что я сказал? Назад людей...

Посылаю Валегу вниз. Пускай отметят колышком правый фланг и возвращаются. Валега беззвучно, на брюхе, сползает вниз.

Молчим. Слышно, как тяжело дышат копающие бойцы. Где-то за курганом противно скрежещет «ишак» — шестиствольный миномет. Шесть красных хвостатых мин, точно кометы, медленно проплывают над головой и с оглушительным треском рассыпаются где-то позади, в районе Мясокомбината. Воздушная волна даже до нас доходит. Полковник и головы не подымает. Покашливает.

— Видишь его пулеметы? На сопке?

— Вижу.

— Нравятся они тебе?

— Нет.

— И мне тоже.

Пауза. Не понимаю, к чему он клонит.

— Очень они мне не нравятся, комбат... Совсем не нравятся.

Я ничего не отвечаю. Мне они тоже не нравятся. Но артиллерии-то у меня нет. Чем я их подавлю?

— Так вот... Завтра чтоб ты был там.

— Где... там?

— Там, где эти пулеметы. Ясно?

— Ясно, — отвечаю я, но мне совсем не ясно, как я могу там оказаться.

Полковник легко, по-мальчишески, вскакивает, опершись рукой о землю.

— Пошли!

Так же легко, быстро, ни за что не зацепляясь и не спотыкаясь, идет через развалины назад. На КП закуривает толстую ароматную папиросу, «Нашу марку» по-моему, перелистывает лежащего на столе «Мартина Идена». Заглядывает в конец. Недовольно морщит брови.

— Дурак... Ей-богу, дурак...

И, подняв глаза на меня:

— Твоя?

— Командира четвертой роты.

— Прочел?

— Времени нет, товарищ полковник.

— Прочтешь — дашь мне. Читал когда-то, да забыл. Помню только, что упорный был парень. Конец вот только не нравится. Плохой конец. А, Бородин?

Бородин смущенно улыбается мясистыми, тяжелыми губами.

— Не помню... Давно читал, товарищ полковник.

— Врешь. Вообще не читал. После меня возьмешь. Авось к Новому году кончу. А потом экзамен устрою. Как по уставу... Многому у этого Мартина учиться надо... Упорный, настойчивый был.

Захлопнув шумно книгу, переводит глаза на меня. Соображает что-то, собрав морщины на переносице.

— Артподготовку давать не будем. Как стемнеет, пустишь разведку. У вас как будто ничего ребята. — Слегка поворачивает голову в сторону майора.

— Боевые, товарищ полковник.

— Ну, так вот. Пустите разведку, как только стемнеет. Затем... Луна когда встает?

— В начале первого.

— Хорошо. В половине одиннадцатого пустим «кукурузников». Чуйков обещал мне, если надо. В одиннадцать начнешь атаку. Понятно?

— Понятно. — Тон у меня не очень уверенный.

— Никаких «ура». Без единого шороха. На брюхе все. Как пластуны. Только неожиданностью взять сможешь. Ты понимаешь меня? Можешь водки

дать — граммов по сто — сто пятьдесят... Матросы есть еще?

— Есть. Человек десять.

— Ну, тогда возьмешь.

И тонкие бесцветные губы его опять как будто улыбаются.

Я совсем не могу понять, как я с тридцатью шестью — нет, даже не с тридцатью шестью, а максимум с двадцатью бойцами смогу атаковать высоту, защищенную тремя основными, не считая вспомогательных, пулеметами и, наверное, еще заминированную. Я не говорю уже о том, что захватить — это еще полдела. Надо закрепить.

Но я стою — руки по швам — и молчу. Лучше провалиться сквозь землю, чем...

— Человек с десяток подкинешь ему с берега, Бородин, — всяких там портных, сапожников и других лодырей. Пускай привыкают. А потом вернешь...

Майор молча кивает своей большой головой, посасывая хрипящую и хлюпающую трубку. Полковник постукивает костяшками пальцев по столу. Смотрит на часы — непомерно большие на тонкой, сухой руке. На них четверть третьего. Встает резким коротким движением.

— Ну, комбат... — и протягивает руку. — Керженцев, кажется, твоя фамилия?

— Керженцев.

Рука у него горячая и сухая.

В дверях поворачивается.

— А этого... как его... что утопился под конец, никому не давай... Если сам не принесешь, к тебе на сопку за ним приду.

Майор выходит вслед за ним. Слегка треплет меня по плечу.

— Крутой у нас комдив. Но умница, сукин сын... — И сам улыбается не совсем удачному выражению. — Зайдешь утром ко мне — помозгуем.

Возвращаются саперы. Вволакивают что-то внутрь — тяжелое и неуклюжее. Гаркуша вытирает лоб, тяжело дыша.

— Бояджиева ранило, — грузно опускается на койку. — Челюсть оторвало.

Бойцы молча, тяжело дыша, усаживают раненого напротив, на другой койке. Он, как неживой, валится на нее — обмякший, с бессильно упавшими руками, с опущенной головой. Она обмотана чем-то красным. Грудь, руки, брюки — все в крови.

— Назад возвращались. Увидел. Из минометов начал. Кольцова убило... Следов даже не нашли. А ему вот — челюсть.

Раненый мычит. Мотает головой. У ног его уже небольшая круглая лужица крови. Маруся снимает повязку. Сквозь мелькающие руки ее видны нос, глаза, щеки, лоб с прилипшей прядью черных волос. А внизу — черное и красное... Руки беспомощно цепляются за колени, за юбку. И мычит, мычит, мычит...

— Лучший боец был, — устало говорит Гаркуша. Пилотка с головы его свалилась и так и лежит на полу. — Пятьдесят штук сегодня поставил. И слова не сказал...

И, немного помолчав:

— Зря, значит, все ставили?

Я ничего не отвечаю.

Раненого уводят.

Саперы, выкурив по папиросе, тоже уходят.

Долго не могу заснуть.

8

С утра все меня раздражает почему-то. С левой ноги, должно быть, встал. Блоха ползает в портянке — и никак ее не выгонишь. Харламов опять сводку потерял — стоит передо мной, моргает своими черными, армянского типа глазами, разводит руками: «Положил в ящик, а теперь нету». И тухлый пшенный суп надоел — каждый день, утром и вечером, утром и вечером. И табак сырой, не тянется. И газет московских уже три дня нет. И людей с берега всего восемь калек дали — хромых и слепых.

Все злит...

У Фарбера двух бойцов прямым попаданием в блиндаж убило. Говорил ему — перекрыть землянки рельсами, на «Метизе» их целый штабель лежит, — а он вот провозился, пока людей не потерял. Я даже кричу на него и, когда он молча поворачивается и уходит, возвращаю и заставляю повторить приказание.

Вообще надоело...

Отправляю Харламова на берег за какими-то формами, которые мне совсем не нужны. Просто, чтоб не болтался перед глазами.

Валюсь на койку. Голова трещит. Связист в углу читает толстую истрепанную книгу.

— А ну, давай сюда! Нечего чтением заниматься...

Беру у него книгу. «Севастопольская страда», III том. Без начала и конца. На курево, должно быть, пошла. Раскрываю наудачу.

«...Убыль в полках была велика, пополнения же, если и были, то ничтожны, так что и самые эти названия — полк, батальон, рота — потеряли свое привычное значение.

В таком, например, боевом полку, как Волынский, вместо четырех тысяч человек, оставалось уже не больше тысячи...»

Не больше тысячи. А у нас? Если у меня в батальоне восемьдесят человек, а в полку три батальона — двести сорок. Артиллеристы, химики, связисты, разведчики — еще человек сто. Всего триста пятьдесят. Ну, четыреста... Ну, пятьсот... А комдив говорил — в других полках еще меньше. А воюет из них сколько? Не больше трети. Что, если немцам надоест «Красный Октябрь» долбить? Если опять на нас полезут? Бросят танки на Фарбера? Там, правда, насыпь мешает. Но они свободно могут под мостом пройти, там, где у них пулемет и пушка... Что я тогда буду делать? Шестнадцать человек сидят по ямочкам. Мин никаких, Бородин говорит — через три дня будут, где-то разгружают их... Допустим, не надуют. Еще две или даже три ночи ставить их надо... А пока жди и моли бога...

Перелистываю дальше.

«...Бойчей же всех шли дела рестораторов, которые выстроили в ряд свои вместительные палатки. Эти палатки посещали теперь, после штурма, офицеры, приезжавшие несколько повеселиться из города, с бастиона... В гостеприимных палатках, в которых помещался и буфет с большим выбором вин, водок, закусок, и дюжина столиков для посетителей, и даже скрытая за буфетом кухня, пили, ели, сыпали остротами, весело хохотали...»

Скрытая за буфетом кухня... Дюжина столиков для посетителей...

Откладываю книгу в сторону. Натягиваю шинель на уши и пытаюсь заснуть.

Возится и кряхтит в углу связист. Тикают с перебоем ходики — Валега уже где-то достал, — маленькие, с самодельными стрелками из консервной банки.

Съел бы я сейчас свиную отбивную в сухариках, с тоненькой, нарезанной ломтиками, хрустящей картошкой... Последний раз я, по-моему, свиную ел... Чорт его знает, даже не помню. В Киеве, что ли? Или где-то уже в армии. Хотя, нет, — то не свиная была, а просто поджаренное мясо...

Переворачиваюсь на другой бок. Режет глаза коптящая лампа.

В половине одиннадцатого прилетит «кукурузник». В одиннадцать я должен начать атаку. В начале первого появится луна. Значит, в моем распоряжении будет час пятнадцать минут. За эти час пятнадцать минут я должен спуститься в овраг, подняться по противоположному склону, выбить немцев из траншей и закрепиться. А если «кукурузник» опоздает? Или их будет не один, а два или три? Комдив — я хорошо помню — сказал «кукурузники», а не «кукурузник»... Вот дурак я, — не спросил точно, сколько их будет. Первый отбомбится, я полезу, а тут второй прилетит. А атаковать надо сразу же после него, пока не очухались немцы... Надо позвонить майору, чтоб узнал точно у комдива.

Какие у него черные и пронизывающие насквозь глаза, у комдива. На них трудно долго смотреть.

Говорят, летом где-то под Касторной он выводил дивизию из окружения с винтовкой в руках в первых рядах.

Смелый, чорт!

А по передовой как ходит... Ни пуль, ни мин — ничего для него не существует. Что это, показное — пусть молодежь учится? Наполеон тоже, говорят, ничего не боялся. Аркольский мост, чумные лазареты... Когда его хоронили, на теле нашли рубцы, о которых никто никогда не знал. Это, кажется, у Тарле я вычитал.

И что такое вообще храбрость? Я не верю тем, которые говорят, что не боятся бомбежек. Боятся, только скрыть умеют. А другие — нет. Максимов, помню, говорил как-то: «Людей, ничего не боящихся, нет. Все боятся. Только одни теряют голову от страха, а у других, наоборот, — все мобилизуется в такую минуту и мозг работает особенно остро и точно. Это и есть храбрые люди».

Вот таким именно и сам Максимов был. Был... Сейчас его, вероятно, уже нет в живых. С ним в самую страшную минуту не страшно было. Чуть-чуть побледнеет только, губы сожмет и говорит медленнее, точно взвешивая каждое слово.

Даже во время бомбежек — а под Харьковом, во время неудачного нашего майского наступления, мы впервые узнали, что значит это слово, — он умел в своем штабе поддерживать какую-то ровную, даже немного юмористическую атмосферу. Шутил, смеялся, стихи какие-то сочинял, рассказывал забавные истории. Хороший мужик был. И вот нет уже его. И — многих нет...

Где Игорь? Ширяев? Седых? Может, тоже уже в живых нет... Нелепо как-то все это...

Жили, учились, о чем-то мечтали — и тр-рах! — все полетело — дом, семья, институт, сопроматы, история архитектуры, Парфеноны.

Парфенон... Как сейчас помню: 454—438 годы до Р. Х. Замкнутая колоннада — периптер. Восемь ко-

лонн спереди, семнадцать по бокам. А у Тезейона — шесть и тринадцать... Дорический, ионический, коринфский стиль. Я больше люблю дорический. Он строже, лаконичнее.

А кто собор св. Петра строил в Риме? Первый — Браманте. Потом, кажется, Сангалло... или Рафаэль. Потом еще кто-то, еще кто-то, потом — Микель Анджело. Он купол сделал... А колоннаду? Как будто Бернини.

Фу ты, чорт... Что за чепуха в голову лезет! Кому это нужно? Мне вот сопку нужно взять, а я о куполе. Прилетит тонная бомба — и нету купола...

Что делать с Фарбером, если я все-таки сопку возьму? Получится разрыв. Четвертая рота впереди, а пятая уступом назад. Прикажут, вероятно, мост взять. А может, третьему батальону? Отрежут мост и соединятся с нами на сопке. Вот это было бы здорово!

А смешно... Недавно сидел я на этом кургане с Люсей и на Волгу смотрел, на товарный поезд внизу. И о пулемете говорили. Может, как раз с того места и стреляет сейчас по нас пулемет...

Люся спрашивала тогда, люблю ли я Блока. Смешная девочка. Надо было спросить, л ю б и л л и я Блока — в прошедшем времени. Да, я его любил. А сейчас...

Кто-то тянет за шинель.

— Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! С политотдела пришли — вас спрашивают.

Выглядываю из-под полы. Двое в телогрейках, с полевыми сумками, полными бумаг. Поверяющие, должно быть.

Надо вставать.

Ходики показывают два часа. Впереди еще девять...

9

Разведчики приходят еще засветло. Тельняшки, бушлаты, бескозырки — все как полагается. На спинах — немецкие автоматы с торчащими магазинами.

Чумак козыряет — прибыл в ваше распоряжение.

Глаза блестят из-под челки. Пахнет водкой. С тех пор, со дня нашей стычки, мы не встречались — его отозвали за берег.

Разговор у нас строго официальный — задача, срок, пункт отправки. Все это он и без меня знает, и говорим мы об этом только потому, что надо об этом говорить. И вообще нам больше не о чем с ним говорить. Он нисколько не старается это скрыть. Тон холодный, сухой, безразличный. Глаза, при встрече с моими, — скучающие и чуть-чуть насмешливые. Трое его ребят — чубатые, расстегнутые, руки в карманы — стоят в стороне. На губах — окурки.

— Маскхалаты возьмете?

— Нет.

— Почему? У меня как раз четыре.

— Не надо.

— Водки дать?

— Свою пьем. Чужую не любим.

— Ну, как знаете.

— Можете за ваше здоровье выпить.

— Спасибо.

— Не стоит.

И они уходят к Карнаухову. Когда я туда прихожу, их уже нет.

В подвале тесно — негде повернуться. Двое представителей политотдела. Один — из штадива. Начальник связи — из полка. Это все наблюдатели. Я понимаю необходимость их присутствия, но они меня раздражают. Курят почти беспрерывно. Так всегда перед важным заданием. Представитель штадива — капитан — записывает что-то в блокнот, слюнявя карандаш.

— Вы продумали ход операции? — спрашивает он, подымая бесцветные глаза. У него длинные выдающиеся вперед зубы, налезающие на нижнюю губу.

— Да, продумал.

— Командование придает ей большое значение. Вы это знаете?

— Знаю.

— А как у вас с флангами?

— С какими флангами?

— Когда вы выдвинетесь вперед, чем прикроете фланги?

— Ничем. Меня будут поддерживать соседние батальоны. У меня нехватает людей. Мы идем на риск.

— Плохо.

— Конечно, плохо.

Он записывает что-то в блокнот.

— А какими ресурсами вы располагаете?

— Я располагаю не ресурсами, а кучкой людей. В атаку пойдет четырнадцать человек.

— Четырнадцать?

— Да. Четырнадцать. А четырнадцать — на месте. Всего двадцать восемь.

— Я бы на вашем месте не так сделал...

Он заглядывает в свой блокнот.

Я не свожу глаз с его зубов. Интересно, скрываются ли они когда-нибудь, или всегда так торчат? Я почти уверен, что до войны он был бухгалтером или счетоводом.

Я медленно вынимаю из кармана портсигар.

— Вот когда вы будете на моем месте, тогда и будете поступать так, как вам нравится, а пока разрешите мне действовать по своему усмотрению.

Он молчит. Политотдельщики, наклонив головы, что-то старательно записывают в свои полевые книжки. Они славные ребята, понимают, что вопросы сейчас неуместны, и молча занимаются своим делом.

Время ползет мучительно медленно. Поминутно звонят из штаба: не вернулись ли разведчики? Капитан переключается на Карнаухова. Тот спокойно, изредка улыбаясь и перекидываясь со мной взглядами, обстоятельно на все отвечает: чем вооружены бойцы, и сколько у них гранат, и по скольку патронов у каждого. Адское терпение у этого человека! А капитан все записывает.

Сейчас я, кажется, попрошу их всех уйти отсюда. Могут и на батальонном КП посидеть. В конце концов, здесь им совершенно нечего делать. Узнали, что надо, проверили, а за ходом боя могут следить и оттуда.

Часы показывают четверть десятого. Начинаю нервничать. Разведчики могли бы уже возвратиться. Боец, пришедший с переднего края за водой, говорит, что они уже давно уползли, и сейчас ничего не слышно. Немцы бросают ракеты, стреляют, как всегда. Не похоже, чтоб их поймали или заметили.

Я выхожу на двор.

Ночь темная-темная. Где-то далеко, за «Красным Октябрем», что-то горит. Чернеют тонкие, точно прорисованные тушью силуэты исковерканных ферм. На том берегу одиноко ухает пушка — выстрелит и помолчит, выстрелит и помолчит. Точно прислушивается. Постреливают пулеметы. Взлетают немецкие ракеты. Сегодня почему-то желтые. Белые, вероятно, кончились. Пахнет горелым деревом и керосином. В двух шагах от нас состав с горючим — днем его хорошо видно отсюда. Целыми днями из пулевых пробоин в цистерне тонкими струйками сочится керосин. Бойцы бегают туда по ночам наполнять лампы.

По старой, с детства, привычке ищу знакомые созвездия. Орион — четыре яркие звезды и поясок из трех поменьше. И еще одна — совсем маленькая, почти незаметная... Какая-то из них называется Бетельгейзе — не помню уже, какая. Где-то должен быть Альдебаран, но я уже забыл, где он находится.

Кто-то кладет мне руку на плечо. Я вздрагиваю.

— О чем задумался, комбат?

С трудом различаю в темноте массивную фигуру Карнаухова.

— Да так... Ни о чем... На звезды смотрю.

Он ничего не отвечает. Стоим и смотрим, как мигают звезды. Поднимаются откуда-то заглушенные мысли о бесконечности, о космосе, о каких-то мирах, существующих и погибших, но до сих пор светящих нам из черного беспредельного пространства. Звезды гаснут, зажигаются... А мы ничего не знаем. И никто никогда не узнает, что в эту темную октябрьскую ночь умерла звезда, прожившая миллионы лет, или родилась новая, о которой узнают тоже через миллионы лет.

— А в Сибири уже снег, — говорит Карнаухов.

— Должно быть, — отвечаю я.

— И морозы.

— И молоко льдинами продают. Кусками.

— А во Владивостоке еще купаются.

— Там, говорят, море холодное.

— Холодное. Но все-таки купаются.

Где-то далеко-далеко, за Волгой, еле уловимо трещит «кукурузник». Не наш ли? А разведчиков все еще нет. Прислушиваемся к приближающемуся справа звуку. Не наш. Глухие разрывы — далеко, на Тракторном. Тревожно мечутся по небу немецкие прожекторы. Расширяются, сужаются, потухают, опять вспыхивают.

И мы стоим и смотрим на прожекторы, на извивающиеся в воздухе красно-желто-зеленые цепочки зениток, на медленно гаснущие в овраге ракеты. Мы так привыкли к этому зрелищу, что прекратись оно вдруг — и нам стало бы как-то не по себе, чего-то нехватало бы.

— Ну как, возьмем сопку, комбат? — совсем тихо, почти в самое ухо, спрашивает Карнаухов.

— Возьмем, — отвечаю я.

— И по-моему, возьмем. — Он слегка сжимает мне плечо.

— Вас как зовут? — спрашиваю я.

— Николаем.

— А меня Юрием.

— Юрий. У меня брат Юрий — моряк.

— Жив?

— Не знаю. В Севастополе был. На подводной лодке.

— Вероятно, жив, — почему-то говорю я.

— Вероятно, — несколько помедлив, отвечает Карнаухов, и больше мы уже не говорим.

Высоко в небе срывается звезда. Душа ушла в другой мир, — говорили в старину... Мы спускаемся вниз. В клубах табачного дыма трудно разобрать лица. Политотдельщики, сидя на корточках, едят консервы. Начальник связи спит, прислонившись к стене и свесив набок голову. Капитан читает газету, пристроившись к коптилке.

При виде нас он поднимает голову.

— Без четверти десять.

— Без четверти десять...

— А разведчиков нет?

— Нет.

— Это плохо.

— Возможно.

Английской булавкой я выковыриваю фитиль. Коптилка почти не светит — нехватает воздуху.

— Я попрошу всех не принимающих непосредственного участия в операции перебраться на батальонный КП.

Глаза у капитана становятся круглыми. Он откладывает газету.

— Почему?

— Потому...

— Я прошу вас не забывать, что вы разговариваете со старшим.

— Я ничего не забываю, а прошу вас уйти отсюда. Вот и все.

— Я вам мешаю?

— Да. Мешаете.

— Чем же?

— Своим присутствием. Табаком. Видите, что здесь творится? Дохнуть нечем.

Чувствую, что начинаю говорить глупости.

— Мое место на батальонном наблюдательном пункте. Я должен следить за вашей работой.

— Значит, вы собираетесь все время при мне находиться?

— Да. Намерен.

— И сопку со мной атаковать будете?

Несколько секунд он пристально, не мигая, смотрит на меня. Потом демонстративно встает, аккуратно складывает газету, засовывает ее в планшетку и, повернувшись ко мне, медленно, старательно выговаривая каждое слово, произносит:

— Ладно. В другом месте поговорим.

И выползает в щель. По дороге цепляется сумкой за гвоздь, долго не может ее отцепить. Политотдельщики смеются. Против них я ничего не имею. Но

не мог же я одного только капитана выставить. Они понимающе смеются и, пожелав успеха, тоже уходят.

В подвале сразу становится свободнее. Можно хоть ноги протянуть, а не сидеть все время иа корточках.

Я не знаю, почему я сказал капитану, что пойду на сопку. Я не собирался сам участвовать в атаке. Еще утром с майором у нас был разговор по этому поводу. Он показал мне передовицу в «Красной звезде» — «Место командира в бою». В ней осуждались командиры, ведущие лично свои подразделения в атаку. Командир должен все видеть и всем управлять. В первых рядах он иичего не увидит. Это, пожалуй, верно.

Но вот сейчас, в разговоре с капитаном, эта фраза о сопке вырвалась у меня как-то сама по себе. Впрочем, чорт его знает, как ночью управлять боем на расстоянии. Ни черта не видно. Связь каждую минуту может оборваться. И сиди как крот в норе — без глаз, без ушей...

Стрелки часов соединяются и застывают около десяти.

Опять звонят из штаба: вернулись ли разведчики? Спрашивает помощник по тылу Коробков, оперативный дежурный. Когда он дежурит, никогда покоя нет: «Доложите обстановочку, хватает ли семечек, не нужны ли огурчики?» Семечки — это патроны (черные — винтовочные, белые — автоматные), огурчики — мины...

Когда отдаю трубку связисту, в щели как раз появляется голова Чумака. За Чумаком — остальные. Грязные, запыхавшиеся, с мокрыми от пота лицами. Сразу заполняют все помещение.

Я ничего не спрашиваю. Жду.

Чумак молча, вразвалку, подходит к столу, садится на ящик. Большими глотками пьет воду из котелка. Не торопясь, вытирает губы, лоб, шею. Вынимает из кармана несколько пачек немецких папирос в зеленых коробках. Бросает иа стол.

— Закуривайте.

Всовывает в прозрачный мундштук сигарету с золотым обрезом.

— Можете начинать. Семафор открыт. — И кивнул своим разведчикам: — Шабашьте. До утра не трону.

Я спрашиваю:

— Мины есть?

— В одном только месте. Против пушки с развороченным стволом. Чуть повыше.

— Много?

— Не считал. Штук пять мы выкинули. С усиками. Противопехотные, что ли, шрапнельные.

В руке его блестит медный немецкий взрыватель от мины, с тремя торчащими кверху проволочками. Саперы называют их усиками. Тело мины закапывается в землю, и только усики остаются на поверхности земли. Наступишь — боек ударит в капсюль, капсюль воспламенит порох, порох — вышибной заряд, мина подпрыгивает над землей, взрывается в воздухе, рассеивая шрапнельные шарики во все стороны. Паршивая мина.

— Так что левее пушки не идите. А правее — метров двести прощупали — ничего нет.

— А фрицев много?

— Чорт их знает... Как будто не очень. В блиндажах сидят. Патефон крутят. «Катюшу».

Чумак шарит по карманам.

— Стихов не пишете?

Черный глаз с золотистым ободком насмешливо смотрит на меня из-под челки.

— Нет. А что?

— Ручку хотел самопишущую подарить. Хорошая ручка. И чернила специальные, в пузырьке.

— Нет. Не пишу.

— Жаль. А я думал — пишете. Вид у вас такой — поэтический.

Повертев в руках красивую, с малахитовыми разводами ручку, сует ее в карман.

— Фрица там одного кокнули — в охранении сидел.

Звоню в штаб. Сообщаю, что вернулись разведчики. Валега предлагает водки. Мне не очень хочется, но все-таки выпиваю граммов двести. Чумак иронически смеется.

— Чтоб солдатам веселее было?

Ничего не отвечаю. Ищу автомат. Карнаухов тоже собирается. Чумак грызет мундштук.

— Далеко?

— Нет. Не очень.

— Если на сопку — не рекомендую. Тут уютнее.

Бужу начальника связи. Он так и не ушел. Моргает непонимающими, затянутыми еще сном глазами.

— Покомандуй здесь вместо меня, а я пошел.

— Куда?

— Туда.

По глазам вижу, что ничего не понимает.

— Вместе с начальником штаба Харламовым заворачивайте. Если увидите, что плохо, открывайте огонь.

Он встает и торопливо кулаком вытирает глаза.

— Хорошо...

Я его почти не знаю — только раз на совещании у Бородина видал. Говорят, толковый парень. Старший лейтенант. Какие-то курсы при Академии кончил.

Валега тоже хочет итти. Но ему, пожалуй, не стоит. Он подвернул ногу и три дня уже прихрамывает.

— Как же это так, — недоумевающе смотрит он на меня своими маленькими недовольными глазками из-под круглого, выпуклого лба.

Я вставляю магазин в автомат.

— Может, покушаете на дорогу? Консервы есть. Тушонка. Вы ж и обедать-то не обедали как следует. Я открою.

Нет. Есть не хочется. Когда вернусь, поем. Он все-таки всовывает мне в карман краюху хлеба и кусок сала, завернутого в газету. Когда я в школу еще ходил, мать тоже на ходу завтрак всовывала. Только тогда это была французская булочка или бублик, разрезанный пополам и намазанный маслом.

10

«Кукурузник» опаздывает. Минут на десять. Они мне кажутся вечностью. В окопе курить нельзя. Нечем заняться. Тесно. От неудобного положения млеют ноги. Никак не могу устроиться удобно. Рядом со мной

боец, немолодой уже, сибиряк. Грызет сухарь. Сегодня вместо хлеба опять выдали сухари. При свете ракет видно, как двигаются желваки на впалых небритых щеках.

Карнаухов — на правом фланге. Здесь же командует командир взвода Синдецкий, не очень умный, но смелый паренек. На «Метизе» неплохо отражал немцев. Был даже ранен — легко, правда, но в санчасть не пошел.

Сосед перестает хрустеть.

— Слышите?

— Что?

— Не «кукурузник» ли?

Стараемся не дышать. Звук приближается со стороны Волги. Да, это наш. Летит прямо на нас. Лишь бы только сюда не высыпал. Между нами и немцами метров семьдесят, не больше. Может, и в нас угодит. Говорят, они просто руками сбрасывают мины — обыкновенные минометные мины.

Звук приближается. Назойливый, какой-то домашний, совсем не военный... «Кукурузник», «русс-фанер». Фрицы сначала смеялись над ним. А потом поняли, сколько пользы он приносит нам — дешевый, удобный, нетребовательный фанерный самолетик. В газетах его называют «легкомоторный ночной бомбардировщик». Точно большой жук гудит. Есть такие монотонные ночные жуки — гудят, гудят, и никак их не увидишь.

«Кукурузник» уже над самой головой. Делает круг — должно быть, уточняет. Немцы начинают стрелять из-за кургана. Прожекторов нет, да прожектором его и не поймаешь, — слишком низко.

Сейчас сбросит...

Можно подумать, что он нарочно испытывает наше терпение.

Майор звонил, что прилетит только один самолет. Бомбить будет два раза. Потом минут пять — десять покружится, чтоб дать нам возможность подползти.

«Кукурузник» делает второй круг. Мне кажется, что боец слышит, как у меня колотится сердце. Я волнуюсь. До тошноты хочется курить. Будь я один, сел бы на корточки и закурил.

«Кукурузник» сбрасывает бомбы. Они тарахтят, как хлопушки. Немножко высоко. Немецкие окопы ближе. Впрочем, там, кажется, пулеметы.

Еще один круг... Зажатый в зубах свисток сводит челюсти, нагоняет слюну. Такими свистками, похожими на свирель, футбольные судьи засекают голы.

«Кукурузник» опять бомбит. На этот раз по самым окопам. Мы прячем головы. Несколько осколков с характерным свистом проносятся над нашей щелью. Один долго жужжит над нами, точно шмель. Падает совсем рядом, на бруствер, между мной и бойцом. Он такой горячий, что его нельзя взять в руки. Маленький, зазубренный. У меня почему-то мурашки пробегают по спине.

«Кукурузник» строчит из пулемета — беглыми, короткими очередями, точно отплевываясь.

Пора!

Даю сигнал. Чуть-чуть прикрываю рукой свисток. Прислушиваюсь. Слышно, как справа сыплются комья глины.

Возьмем или не возьмем? Нельзя не взять. Я помню глаза комдива, когда он сказал: «Ну, тогда возьмешь».

Снимаю автомат. Ползу вниз. Минное поле остается позади. Пушка. Она в стороне — метрах в двадцати. Левее меня еще трое бойцов. Они знают, что туда нельзя. Я их предупредил. Я их не вижу — слышу только, как ползут.

«Кукурузник» все еще кружится. Ракет нет. Немцы боятся себя выдать. Это хорошо.

А может, он еще бомбить будет? Может, кто-нибудь напутал? Не два, а три раза... Бывает.

Переползаю дно оврага. Цепляюсь за кусты. Подымаюсь по противоположному склону. Не напороться бы... Правда, Чумак говорил, что окопы их начинаются только за кустами. Справа хрустят ветки. Неосторожный все-таки народ.

Ползу. Все выше и выше. Стараюсь не дышать. Зачем — не знаю. Как будто кто-нибудь услышит мое дыхание. Прямо передо мной звезда — большая, яркая, немигающая вифлеемская звезда. Ползу прямо на нее.

И вдруг — трах-тах-тах... над самым ухом. Вдавливаюсь в землю. Кажется, что даже чувствую ветер от пуль. Чорт возьми, откуда этот пулемет?

Приподнимаю голову. Ни черта не разберешь... Что-то темнеет. Кругом тишина. Ни хруста, ни шороха. «Кукурузник» уже где-то за спиной. Сейчас немцы начнут освещать передний край.

Хочется чихнуть. Изо всех сил сжимаю нос пальцами. Тру переносицу. Ползу дальше. Кустарник позади. Сейчас будут окопы противника... Еще пять, еще десять метров... Ничего нет. Ползу осторожно, щупаю перед собой рукой. Немцы любят разбрасывать случайные мины. Откуда-то, точно из-под земли, доносятся звуки фокстрота — саксофон, рояль и еще что-то...

Трах-тах-тах-тах...

Опять пулемет. Но уже сзади. Что за чертовщина? Неужели пролез? Сдавленный крик. Выстрел. Опять пулемет. Началось...

Я кидаю гранату наугад — вперед, во что-то чернеющее. Бросаюсь рывком. Чувствую каждую мышцу в своем теле, каждый нерв. Мелькают в темноте, точно всполохнутые птицы, фигуры... Отдельные вскрики, глухие удары, выстрелы, матерщина сквозь зубы. Траншея. Осыпающаяся земля. Путаются под ногами пулеметные ленты. Что-то мягкое, теплое, липкое. Что-то вырастает перед тобой. Исчезает.

Ночной бой — самый сложный вид боя. Бой одиночек. Боец здесь — все. Власть его неограниченна. Инициатива, смелость, чутье, находчивость — вот что решает исход. Здесь нет массового, самозабвенного азарта дневной атаки. Нет «чувства локтя». Нет «ура», облегчающего, все закрывающего и возбуждающего «ура». Нет зеленых шинелей. Нет касок и пилоток. Нет кругозора. И пути назад нет. Неизвестно, где наши, где немцы.

Конца боя не видишь — его чувствуешь. Потом трудно что-либо вспомнить. Нельзя описать ночной бой или рассказать о нем. Наутро находишь на себе ссадины, синяки, кровь. Но тогда ничего этого нет. Есть траншея... заворот... кто-то... удар... выстрел... приклад, шаг назад, опять удар. Потом — тишина...

— Кто это?! — Свой. Где наши? — Чорт их знает. Пошли. — Стой! Не фриц? — Нет, иаш...

Неужели заняли сопку? Не может быть. С какой же стороны немцы? Куда они делись? Мы ползли с той стороны. Где Кариаухов?

— Карнаухов! Карнаухов!

— А оии там — впереди.

— Где?

— Там. У пулемета.

Где-то далеко впереди строчит уже иаш пулемет.

11

Кариаухов потерял пилотку. Шарит в темиоте под ногами.

— Хорошая, суконная. Всю войну воевал в ией. Жаль.

— Утром найдешь. Никто не заберет.

Ои смеется.

— Ну что, товарищ комбат? Взяли все-таки сопку.

— Взяли, Карнаухов. Взяли. — И я тоже смеюсь, и мне почему-то хочется обнять и расцеловать его.

На востоке желтеет. Через час будет совсем светло — взойдет луиа.

— Пошлите кого-иибудь иа КП, пускай связь тянут.

— Послал уже. Через полчаса сможем с майором разговаривать.

— Людей не проверяли?

— Проверял. Налицо пока десять. Четырех еще нет. Пулеметчики все. Ручных я уже расположил. А станковый — вот здесь, по-моему, неплохо. Второй же...

— Второй — туда, правее. Видите?

— Может, сходим посмотрим?

— Сходим.

Идем вдоль траншей. Наклоняясь, рассматриваем, нет ли пулеметных ячеек. Оборона у немцев, по всему видно, круговая. Самих иемцев ие видио и не слышно. Стреляют где-то правее и левее — иа участке первого

и третьего батальонов. Глаза уже привыкли к темноте. Кое-что можно разобрать. Раза два наталкиваемся на трупы убитых немцев. За «Красным Октябрем» все еще что-то горит.

— А где Синдецкий?

— Здесь, — неожиданно раздается в темноте голос. Потом появляется и фигура.

— Беги живо на КП. Скажи Харламову, чтоб срочно снимал людей со старых окопов и соединялся с нашим правым флангом. По дороге уточни его фланг. По-моему, за тем кустом уже конец. Так, что ли, Карнаухов?

— Да, дальше никого уже нет.

— Понятно, Синдецкий? Давай! Одна нога здесь, другая — там!

Синдецкий исчезает. Находим место для пулемета и возвращаемся назад. В темноте натыкаемся на кого-то.

— Комбат?

— Комбат. А что?

— Блиндаж мировой нашел... Идемте посмотрим. Такого еще не видали. — Голос Чумака.

— Ты что здесь делаешь?

— То же, что и вы...

— А ты же шабашить собирался?

— Мало ли что собирался?

Чумак вдруг останавливается, и я с разгону налетаю на него.

— Ну... чего стал?

— Слушайте, комбат... Ведь вы же, оказывается...

— Что?

— Я думал, вы поэт... Стишки пишете. А выходит...

— Ну, ладно. Веди.

Он ничего не отвечает. Идем дальше. Поднимается легкий ветерок. Приятно шевелит волосы, забирается через воротник под гимнастерку, к самому телу. Голова слегка кружится, в теле какая-то странная легкость. Так бывает ранней весной, после первой прогулки за город. Пьянеешь от воздуха, ноги с непривычки болят, все тело слегка ломит, и все-таки не можешь остановиться и идешь, идешь, куда глаза глядят, расстег-

нутый, без шапки, вдыхая полной грудью теплый, до обалдения ароматный весенний воздух...

Чорт возьми! Взяли все-таки сопку! И не так это сложно оказалось. Видно, у немцев не очень-то густо было. Оставили заслон, а сами за «Красный Октябрь» взялись... Но я их знаю — так не оставят. Если не сейчас, то с утра обязательно начнут отбивать. Успеть бы только сорокапятимиллиметровки перетащить и овраг оседлать... Начнет сейчас Харламов возиться, искать, укладывать, раскачиваться. Там, правда, начальник связи с ним. Вдвоем осилят — не так уж и сложно. Лопаты синицынские все еще у меня, — до утра бойцы окопаются, а завтра ночью будем мины ставить.

Вифлеемская звезда сейчас уже над самой головой, зеленоватая, немигающая. Пришла и встала. Вот здесь и никуда больше.

Выползла луна, желтая, еще не светящая.

Кругом тихо, как в поле. Неужели правда, что здесь был бой?

Потом сидим в блиндаже. Он глубокий, в четыре наката, сверху — еще с полметра земли. Дощатые стены, оклеенные бумагой вроде клеенки. Над ломберным столиком с зеленым сукном и гнутыми ножками — веер открыток: еловая веточка с оплывшей свечкой: круглоглазый мопс, опрокинувший чернильницу; гном в красном колпаке и ангел, плывущий по небу. Чуть повыше — фюрер, экзальтированный, с поджатыми губами, в блестящем плаще.

На столе — лампа с зеленым абажуром. Штук пять бутылок. Шпроты. Лайковые перчатки, брошенные на койку.

Чумак чувствует себя хозяином, наливает коньяк в тонкие бокалы с монограммами.

— Позаботился все-таки фюрер о нашем желудке... Спасибо ему!

Коньяк хороший, крепкий, так и захватывает дух.

Карнаухов выпивает и сейчас же уходит. Чумак с любопытством рассматривает переплетающиеся виноградные лозы на бутылочных этикетках. Коньяк — французский.

— А рука у вас тяжелая, лейтенант. Никогда не думал.

— Какая рука?

Золотистые глаза его смеются.

— Да вот эта, в которой папироса у вас.

— Ни черта не понимаю.

— А у меня вот до сих пор левое плечо как чужое.

— Какое левое плечо?

— А вы не помните? — И он весело хохочет, запрокинув голову. — Не помните, как огрели меня автоматом? Со всего размаху... По левой лопатке.

— Постой. Постой... Когда же это?

— Когда. Да с полчасика тому назад. В окопе. За фрица приняли. Ка-ак ахнули! Круги только и пошли. А я думал — поэт, стишки пишет. Ручку еще предлагал... Хотел со зла ответить. Да тут фриц настоящий подвернулся — ну, я и дал ему...

Я припоминаю, что действительно кого-то бил автоматом, но в темноте ни черта не разобрал.

— За такой удар и часики не жалко, — говорит Чумак, роясь в кармане. — Хорошие. На камнях. «Таван-Вач»...

Мы оба смеемся.

В блиндаж вваливаются связисты с ящиками, с катушками. Дышат, как паровозы.

— Еле добрались... Чуть к фрицам в гости не попали.

— К каким фрицам?

Белесый, с водянистыми глазами связист, отдуваясь, снимает через голову аппарат.

— Да они там по оврагу, как тараканы, ползают.

— По какому оврагу?

— По тому самому... где передовая у нас шла.

Глаза у Чумака становятся вдруг маленькими и острыми.

— Ты один или с хлопцами? — спрашиваю я.

— А хлопцы ни при чем. Я и сам сейчас...

Схватив автомат и забыв даже надеть бушлат, исчезает в дверях.

Неужели отрезали?

Связисты тянут сквозь дверь провод.

— Это точио, что фрицы в овраге?

— Куда уж точнее, — отвечает белесый, — нос к иосу столкнулись. Человек пять ползли. Мы еще по ним огонь открыли.

— Может, то наши — новую обороиу занимали?

— Какое наши! Наши еще в окопах сидели, когда мы пошли. Командира взвода еще по пути встретили, что с горлом перевязанным ходит. Начальника штаба искал.

— А ну, давай соедини с батальоном.

Белесый иавешивает иа голову трубку.

— «Юпитер»... «Юпитер»... Алло... «Юпитер»...

По бесцветиым глазам его вижу, что никто ие отвечает.

— «Юпитер»... «Юпитер»... Это я — «Марс»...

Пауза.

— Все. Перерезали, сволочи. Лешка, сходи проверь...

Лешка — красноносый, лопоухий, в иепомерно большой пилотке — ворчит, но идет.

— Перерезали. Факт, — спокойно говорит белесый и выиимает из-за уха загодя, должно быть еще на месте, скрученную цыгарку.

Я выбираюсь иаружу. Со стороны оврага доносятся автоматная стрельба и одииочные ружейиые выстрелы.

Потом появляется Чумак.

— Так и есть, комбат, — колечко.

— Угодили, зиачит?

— Угодили. В окопах, что по этому склону, расположились фрицы.

— Много?

— Разве разберешь? Отовсюду стреляют.

— А где Карнаухов?

— Пулемет переставляет. Придет сейчас.

Чумак вынимает зеленую пачку сигарет.

— Закуривайте. Фрицевские.

Закуриваем.

— Да, Чумак, влопались... Что и говорить.

— Влопались, — смеется Чумак. — Ну, иичего, комбат. Выкрутимся. Мои хлопцы тоже здесь. Пуле-

меты есть. Запасов хоть отбавляй. Они все побросали. В термосах даже ужин горячий. Чего еще надо?

Подходит Карнаухов. Он уже занял круговую оборону. Нашел два немецких пулемета. Гранат тоже много. Ящиков десять. И, кроме того, в каждой ячейке, в нишах, лежат...

— Паршиво только, что с нашей стороны ихние окопы не простреливаются. Круто больно.

— А сколько людей у нас?

— Пехоты — двенадцать. Двоих так и не нашли. Два пулемета станковых. Два ручных. Немецких еще два. Шесть, значит.

— Моих ребят еще трое, — вставляет Чумак, — да нас трое. Да двое связистов. Жить можно.

— Двадцать шесть выходит, — говорю я.

Карнаухов подсчитывает в уме.

— Нет, двадцать два. Ручные пулеметчики не в счет — они в числе тех двенадцати.

Со стороны оврага стрельба не прекращается. То вспыхивает, то замирает. Стреляют, повидимому, наши — с той стороны. Немцы отвечают. Трассирующие пули, точно нити, перебрасываются с одной стороны оврага на другую. По нас стрелять немцам из оврага неудобно. Положение у них тоже незавидное — зажаты с двух сторон.

Потом стрельба начинается где-то левее. Немцы подтягиваются. Обкладывают нас. Ракет, правда, не бросают, — трудно определить точно, где теперь их передний край проходит.

Идем проверять огневые точки.

12

Глупо все получилось... Незачем было мне в атаку ходить. Комбат должен управлять, а не ходить в атаку. Вот и науправлял. Положился на первый батальон. А ведь точно договорился с Синицыным: как только дам красную ракету, открыть огонь из всех видов оружия, устроить маленькую демонстрацию, чтоб была возможность моим остаткам занять новые пози-

нии. Впрочем, они, кажется, стреляли. Это Харламов с начальником связи завозились. А зубастый капитан точно предчувствовал — о флангах спрашивал. Вот, вероятно, злится сейчас. Или — торжествует. Он, помоему, из такой породы людей. Звонит, вероятно, уже по всем телефонам: «Говорил, предупреждал... а он даже слушать не хотел. Прогнал. Вот и довоевался...»

Можно, конечно, прорваться сейчас к своим. Но к чему это поведет? Только сопку потеряем, и уж чорта с два получим назад... Сидеть без дела, отстреливаться — тоже глупо. Но не будут же наши лежать там, на той стороне оврага, сложа руки. Третьему батальону сейчас в самый раз начинать действовать — отрезать мост и соединяться с нами.

Дня на два боеприпасов у нас хватит, даже если непрерывно придется отражать атаки. Почти весь вчерашний день наши пулеметы нарочно молчали — патроны экономили. Гранаты тоже есть. Людей вот только маловато. И все на пятачке. От немецких мин отбоя не будет.

В начале пятого немцы переходят в атаку. Пытаются проползти незаметно. Пулеметы наши еще не пристреляны, но мы отражаем эту первую атаку довольно легко. Немцы даже до окопов не дошли.

В двух местах наши траншеи соединяются с немецкими. Два длинных соединительных хода правильными зигзагами тянутся в сторону водонапорных башен. Глубокие, почти в полный рост. С нашей стороны их совсем не было видно. Я приказываю их перекопать в нескольких местах.

Опять оплошность. Саперных лопат с собой не захватили, а среди трофейных нашли только три, правда крепких, стальных, с хорошо обтесанными рукоятками.

Только приступаем к копке, как начинается минометный обстрел. Сначала одна, потом две, а к вечеру даже три батареи. Мины рвутся беспрерывно, одна за другой. С чисто немецкой методичностью обрабатывают нас. Сидим в блиндажах, выставив только наблюдателей.

Два человека выходят из строя. Одному перебú-

вает ногу, другому вышибает глаз. Перевязываем индивидуальными пакетами — другого у нас ничего нет.

После полудня опять начинаются атаки. Три подряд. Никак не меньше двух рот. Пока есть пулеметы, это меня не страшит. Четырьмя пулеметами — по одному оставляем против оврага — мы и целый полк удержим. Хуже будет, если появятся танки. Местность со стороны баков ровная, как стол. А у нас всего два противотанковых ружья — симоновских. Может, наши догадаются установить хотя бы две сорокапятимиллиметровки на той стороне оврага...

Часа в три начинает работать наша дальнобойная с того берега. Стреляют около часа, и довольно метко. Мы успеваем даже пообедать. Снаряды рвутся совсем недалеко — метрах в ста от нашей передовой. А одна партия совсем близко — осколки перелетают через нас. Часа два немцы нас не тревожат.

Потом, под самый вечер, еще две атаки, артналет — и всё. Воцаряется тишина. Вспыхивают первые ракеты.

13

Развалившись на деревянной койке, Чумак рассказывает о какой-то госпитальной Мусе.

Мы с Карнауховым чистим пистолеты.

Удивительно мирно светит лампа из-под зеленого абажура.

— Порядки, знаешь, какие там, в Куйбышеве? — покуривая и поплевывая, говорит Чумак. — Ворота на запор. Часовой. Только по дворику гуляй. А дворик — как пятачок. Со всех сторон стены, посредине асфальт, скамеечки, мороженое продают. Вот и гуляй по этому дворику и сестер обсуждай. А сестры ничего — боевые... Только начальства боятся. Посидят рядом, на лавочке, или к койке подсядут, но что-нибудь — ни в какую... Нельзя — и все... Пока лежачим был — не тянуло, даже пугаться начал... А потом, как стал ходить, вижу, оживаю, начинает кровь играть. Играть-то играет, а толку никакого: «Нельзя, товарищ больной. Отдыхать вам надо, поправляться». Нечего

сказать, хорош отдых. Валяйся на койке да в кино по вечерам ходи. А картины всё старые — «Александр Невский», «Пожарский», «Девушка с характером». И рвутся, как тряпки, и гипсом воняет. Бррр-р...

Карнаухов улыбается уголком рта.

— Ты ближе к делу, — о Мусе какой-то начал...

— И о Мусе будет. Не перебивай. А не нравится, не слушай. Иди пулеметы свои проверяй. Я лейтенанту расскажу. Лейтенант еще не лежал в госпиталях. Подучить надо. — Тянется за другой сигаретой. — Слабые... Не накуришься... — И, демонстративно повернувшись в мою сторону, продолжает: — Рука, значит, в гипсе. Лучевую кость раздробило — левую. Ночью спать — никак не пристроишь. Торчит крючок, и всё. Хорошо еще — ниже локтя разбило. А у тех, что выше, или ключица — совсем дрянь. Через всю грудь панцырь такой гипсовый, и рука на подставке. Их в госпитале «самолетами» называют. Ходят, а рука на полметра впереди. А вторая рана — пониже спины, — так и сидит до сих пор там осколок... Сейчас ничего, не чувствую. А тогда на ведро сходить — и то событие. И Мусю стесняюсь... А она — что надо! Косищи во какие. И халатик в обтяжку. Подсядет на койку — я еще не ходил, — яичницей порошковой кормит с ложечки, а я как на иголках... Потом стали мы в окна вылезать... Из ванной там хорошо прыгать было. Метра два, не больше. Станешь на отопление и как раз подбородок в подоконник. Капитан там один со мной лежал. Культурный парень, с образованием — как ты! До войны на заводе главным инженером работал. Так мы с ним в одних кальсонах и рубашках ночных с госпитальным клеймом и пикировали. А за углом был дом знакомый. Там переодевались — и в город. Капитан был в живот ранен, но поправлялся уже. Вылезал первым, потом меня за крючок гипсовый подтягивал. А когда забили окно — заведующая пропускником увидела, — наловчились по водосточной трубе слезать. Один безногий у нас там был. Нацепит костыли на одну руку — и как мартышка, только штукатурка сыплется... Приспосабливается народ. Под землю зарой — и то спикирует.

Карнаухов смеется.

— У нас, в Баку, во время кино «пикировали». Только и слышно за окном — хлоп-хлоп-хлоп, один за другим. Кончается сеанс, а в зале — только лежачие на койках.

— Что кино, — не поворачиваясь, перебивает его Чумак. — Мы в шестой палате лестницу веревочную сделали. Все честь-честью, с перекладинами, как надо. Недели две пользовались. Толстенное дерево там под окном стояло — никто не видел. А потом стали окна мыть — начальство какое-то ждали — и сорвали нашу лестницу. Всю палату к начальнице отделения вызвали... Да что толку! На следующий день из седьмой палаты запикировали.

Удивительно мирно светит из-под абажура лампа. Скребутся между бревен мыши. Где-то далеко, наверху, потрескивают редкие ночные мины.

Желтобородый гном сидит на мухоморе и курит длинную трубку с крышкой. Ангел летит по густому чернильному небу. Удивленно смотрит на опрокинутую чернильницу мопс. Гитлеру кто-то приделал бороду и роскошные «мопассановские» усы, и он похож сейчас на парикмахерскую вывеску.

В соседнем блиндаже лежат раненые. Все время пить просят. А воды в обрез — два немецких термоса на двадцать человек.

За день мы отбили семь атак и потеряли четырех человек убитыми, четырех ранеными и один пулемет.

Я смазываю пистолет маслом, кладу его в кобуру. Вытягиваюсь на койке.

— Что, спать, лейтенант? — спрашивает Чумак.

— Нет, просто так, полежу.

— Слушать надоело?

— Нет, нет, рассказывай, слушаю.

И он продолжает рассказывать. Я лежу на боку, слушаю вечную историю о покоренной госпитальной сестре, смотрю на лениво развалившуюся фигуру в тельняшке, на ковыряющиеся в пистолете крупные, блестящие от масла пальцы Карнаухова, на прядь волос, закрывающую ему глаза... Сгибом руки, чтобы не замазать лицо маслом, он поминутно отбрасывает

ее назад. И не верится, что час или два назад мы отбивали атаки, волокли раненых по неудобным узким траншеям и что сидим сейчас на пятачке, отрезанные от всех.

— А хорошо все-таки в госпитале, Чумак? — спрашиваю я.

— Хорошо, — отвечает он.

— Лучше, чем здесь?

— Спрашиваешь! Лежишь, ни о чем не думаешь, никаких тебе «языков», заданий. Только питайся, спи да на процедуры ходи.

— А по своим не скучал?

— По каким своим?

— По полку, по ребятам?

— Конечно, скучал. Потому и выписался на месяц раньше.

— А говорил, в госпитале хорошо, — смеется Карнаухов, — никаких заданий.

— Чего зубы скалишь? Будто сам не знаешь? Хорошо там, где нас нет. Сидишь здесь — в госпиталь тянет, дурака там повалять, на чистеньких простынках поваляться, а лежишь — не знаешь, куда деться, на передовую тянет к ребятам.

Карнаухов собирает пистолет — он у него большой, с удобной рукояткой, трофейный «Вальтер», — впихивает его в кобуру.

— Ты сколько раз в госпитале лежал, Чумак?

— Три. Два раза в армейских, а раз в тыловом. А ты?

— Два.

Карнаухов смеется.

— А странно как-то, когда назад, на фронт, возвращаешься. Правда? Заново привыкать надо.

— Из армейских еще ничего — там недолго лежишь. А вот из тыловых... Даже неловко. Хлопнет мина, а ты — на корточки.

Оба смеются — и Чумак и Карнаухов.

— Удивительная штука, товарищ лейтенант, — говорит Карнаухов, вытирая замасленные руки прямо о ватные штаны, — когда сидишь в окопах, кажется, что ничего нет лучше и спокойнее твоей землянки.

Ваше КП батальонное — совсем уже тыл. А полковое или дивизиоиное... Бойцы так и называют всех, кто живет на берегу, — тыловиками...

Чумак не может сидеть молча, перебивает:

— А таких ты не видел, что за сто километров от передовой сидят и бьют себя в грудь кулаками — фронтовики! У нас в госпитале был один...

Ои вдруг останавливается, глаза его застывают на двери.

— Ты откуда?

Кариаухов тоже смотрит иа дверь.

Чорт возьми! Валега. Самый настоящий Валега — головастый, крутолобый, в неимоверных своих башмаках с загнутыми кверху иосками. Стоит в дверях. В моей шинели, до самых пят. Миется.

— Ты откуда взялся, Валега?

— Оттуда. От иас.

Неловко козыряет. Это у иего всегда плохо получается.

Снимает из-за спины мешок.

— Тушоику принес... шииель...

— Ты с ума спятил?

— Зачем спятил? Вовсе ие спятил. Вот и записка вам.

— От кого?

— Харламов дали, начальник штаба.

— Это он тебя и послал?

— Вовсе ие он. Я сам пришел... — Валега вынимает из мешка консервные банки и две буханки хлеба. — Я мешок укладывал, а они с тем — из штаба полка — чего-то толковали, с вами связаться, говорили, надо как-то. Я и сказал, что иду как раз к вам. Они тут стали что-то искать, потом ту записку дали.

Он достает из набитого, как у всякого солдата, бокового кармана сложеииую вчетверо блокнотиую страничку. Протягивает мне. Аккуратным харламовским почерком написаио:

«5.10.42 12.15 КП «Ураган».

Товарищ лейтенант. Ввиду поступившего приказаиия 31-го доиошу, что сегодня в 4.00 иами будет пред-

принята атака с целью соединения с вами правым флангом с задачей отрезать группировку противника, просочившуюся в овраг, и уничтожения ее. Сообщаю, что получили пополнение 7 (семь) человек и звонили из Бури, что прибыл новый командир нашего хозяйства на ваше место. Мы его еще не видели. Как у вас там, товарищ лейтенант? Приходил капитан Абросимов рано утром и еще несколько человек из большого хозяйства. Держитесь, товарищ лейтенант. Выручим.

Л-т *Харламов* (Харламов)».

Подпись министерская, размашистая, косая, с великолепно-барочным «Х» и целой стаей завитушек, скобок и точек, точно птицы порхающих вокруг нее.

Разрываю записку, клочки сжигаю. Придет же в голову посылать через передовую такую записку. Ох, Харламов, Харламов! Неплохой он в сущности и старательный даже парень, только больно уж...

Валега замысловатым немецким ключом с колесиком на конце открывает консервы. Чорт лопоухий!.. Полз с этими консервами через передовую. Тащил мою шинель. А заодно и записку принес. «Я и сказал, что иду как раз к вам...» Будто за угол, на второй этаж...

Валега сопит и никак не может открыть незнакомым ключом банку. Он даже не спрашивает, голоден ли я. Я вопросов не задаю — чувствую, что могу сорваться с нужного тона. Их задают другие — Карнаухов, Чумак. Валега отвечает неохотно.

— Шинель только мешала, не по росту... А так — ничего. Там, левее чуть — разрыв у них... Между окопами. Днем высмотрел, а ночью... Может, подогреть, товарищ лейтенант?

— Нет, не надо. Да и подогревать не на чем.

— Примуса ты не догадался притащить? — смеется Чумак.

Валега вместо ответа вытягивает из шинели карманную немецкую спиртовку и горсть беленьких, по-

хожих на сахар плиток сухого спирта. Молча, без тени улыбки, кладет на стол.

— Не стоит, Валега. И так слопаем.

И мы, все четверо, с аппетитом опорожняем банку. Замечательная все-таки вещь — тушонка...

14

Часы показывают половину четвертого. Потом — без четверти четыре... Четыре. Ждем. Половина пятого. Пять. Тишина — шесть, семь... Светает. Перестаем ждать.

Еще один день, значит...

Всю первую половину дня немцы поливают нас из минометов — средних и даже тяжелых... Часам к трем из шестнадцати человек остается двенадцать. Четверо раненых — из вчерашних еще — умирают. Помоему, от заражения крови. У одного столбняк. Это страшная вещь. Он умирает на моих глазах. Немолодой уже, лет сорока. Его ранило разрывной пулей в правую руку, чуть пониже локтя. Он все время боялся, что ему ампутируют руку. До войны был токарем по металлу. «Як же це так — без руки? — говорил он, осторожно укладывая на колено руку, привязанную к дощечке от патронного ящика. — Без руки в нашому ділі ніяк не можна. Краще б ногу вже». И он вопросительно посматривал то на меня, то на Карнаухова, будто наше мнение чего-нибудь стоит. Мы говорили ему, что кости срастаются быстро, и мясо тоже нарастет, и что нерв у него цел, раз он может шевелить пальцами. Это его успокаивало. Он даже начинал рассказывать о каком-то усовершенствовании, которое он сделал еще до войны в своем токарном станке. Потом у него начало подергиваться лицо. Рот растянулся в страшную, напряженную улыбку. Шея напряглась. Судороги охватили все тело. Он выгибался дугой, упершись пятками и затылком в землю. Кричал. Его невозможно было разогнуть — тело как железное.

— Столбняк, — сказал Карнаухов, — у нас в медсанбате умер один от этого.

Через два часа он умер.

Его фамилия — Фесенко. Узнаю это из красноармейской книжки. Фамилия почему-то знакомая. Я ее где-то слышал. Потом вспоминаю. Это один из тех двух бойцов, которые копали ночью, когда я возвращался с минного поля. Они никак не могли объяснить тогда связному, где комбат.

В наш блиндаж попадает полковая мина — 120-миллиметровая. Теоретически он должен выдержать — четыре наката из 25-сантиметровых бревен и сверху еще земля. Практически же он выходит из строя: перекрытие выдерживает, но взрывом срывает обшивку и заваливает землей.

Перебираемся в соседний блиндаж, где лежат раненые. Их четыре человека. Один бредит, — он ранен в голову. Говорит о каких-то цинковых корытах, потом зовет кого-то, потом опять о корытах. У него совершенно восковое лицо, глаза все время закрыты. Вероятно, тоже умрет.

Убитых мы не закапываем. Мины свистят и рвутся кругом без передышки. В течение одной минуты я насчитал шесть разрывов. Бывают перерывы. Но не больше шести-семи минут. В эти семь минут мы успеваем только оправиться и проверить, живы ли еще наблюдатели.

Последнюю цыгарку, собранную из всех карманов — наполовину махорка, наполовину хлебные крошки, — выкуриваем втроем: я, Карнаухов и Чумак. Больше табаку нет. Бычки тоже все собраны.

Вода приходит к концу. В один термос попал осколок. Мы заметили это, когда уже вытекла почти вся вода. В другом — литров десять, не больше. А раненые все время просят пить. Мы не знаем, можно ли им давать. Один ранен в живот — ему никак нельзя. Он все время просит, просит: «Хоть капельку, товарищ лейтенант, хоть капельку, рот сухой...» — и смотрит такими глазами, что хоть сквозь землю проваливайся. Пулеметы тоже просят пить.

После трех немцы начинают атаки. Это, перемежаясь, длится до вечера. Атака, обстрел, атака, опять обстрел.

Последнюю атаку отбиваем, совсем уже выбившись из сил. Пулеметы шипят, как чайники.

Где достать воды? Если не будет воды, пулеметы завтра умолкнут. А это значит...

Вечером подводим итоги.

Людей — одиннадцать. Я, Чумак, Карнаухов, Валега, два связиста, четыре пулеметчика — по два на пулемет — и один рядовой боец, тот самый сибиряк, с которым мы сидели в окопе. Ему перебило мизинец на правой руке, но держится он бодро. Кроме того, трое раненых. Бредивший — к вечеру умирает. Выносим его в траншею. Там складываем всех убитых.

Пулеметов у нас четыре. Два вышли из строя. К немецким боеприпасов достаточно. А у отечественных от силы на полдня хватит.

Но главное — вода. Без нее грош цена всем этим патронам. Неужели наши этой ночью не пойдут на соединение с нами? Не может быть, чтоб не пошли. Они же понимают, что мы не в силах держаться вечно. И, что если нас перебьют, на этой высотке можно поставить крест.

Курить хочется до головокружения. Валега находит в кармане убитого немца мокрую, измятую сигарету. Курим ее поочередно, глубоко затягиваясь, закрывая глаза, обжигая пальцы. Часа через два начинаем также думать о воде — в термосе не больше двух литров. Пулеметный НЗ.

Связисты выволакивают откуда-то из недр блиндажа дюжину аппетитных жирных селедок, завернутых в пергамент. Они — серебристые, гладкие, с мягкими спинками и маленькими, как роса, капельками жира у самых голов. Так бы и вцепился зубами. Вылезаю в траншею и бросаю их как можно дальше, в сторону немцев. Потом возвращаюсь назад.

Раненые утихли. Дышат тяжело. Лежат прямо на земле. Мы подстелили им шинели. Новый блиндаж — уже не тот. Сбитое из досок подобие стола, покрытое газетой, — и всё. На фоне сырой, обсыпающейся стенки нелепо выглядит наша лампа с зеленым абажуром. Мы ее перенесли из того блиндажа. Трудно даже понять, почему она сохранилась.

Карнаухов рисует огрызком карандаша какие-то цветочки на полях газет. Он осунулся, под глазами у него большие черные круги. Чумак, скинув тельняшку, проверяет швы.

— Надо будет побаниться, — устало почесываясь, говорит он. — Соединимся — устрою баню. Натаскаем ночью воды с Волги и выкупаемся. Все тело зудит.

— Пока война не кончится, все равно не избавишься, — успокаивает Карнаухов. — Белье не прожариваем. Постираешь в Волге и всё. А что толку в такой стирке?

Я слежу за вздрагивающими под натянутой кожей бицепсами Чумака. По нему хорошо анатомию изучать.

Чумак встает.

— Эх... закурить бы...

Карнаухов вздыхает:

— Да... неплохо бы. Хотя бы «Мотор», за тридцать пять копеек. Одну на троих.

— «Мотор»... Что «Мотор»? Мечтать так уж мечтать...

— Вы что до войны курили, товарищ лейтенант?

— «Беломор»... И «Труд». В Киеве такие были — тоже два рубля.

— И я «Беломор». Толстые, хорошие. Ленинградские особенно.

— Что вы после этого в папиросах понимаете,—говорит Чумак. — О «Беломоре» мечтают... «Казбек» — вот это папиросы. Я по две пачки выкуривал в день... Было времечко.

Он ходит взад и вперед по блиндажу. Два шага туда, два обратно. Потягивается, закинув руки за голову.

— Наденешь чарли — тридцать сантиметров, кепку на брови, девочку под жабры и... — выпятив грудь, он хватает Карнаухова под ручку, — пошел по Примбулю.

Карнаухов отталкивает его.

— Ты кем до войны был?

— Я? Шофером. «Зис» водил. Потом на «Червоной Украине» служил. В кадровую. Начистишь мелом

бляху, гюйс выгладишь, белые брюки с клинушками — и па-ашел в город.

— Ты до войны, кроме девочек, думал о чем-нибудь? А, Чумак?

Чумак как будто задумывается.

— О водке еще думал... О чем же еще? Денег — завались. Научным работником становиться не собирался. — Пауза. — А вот сейчас...

— Неужели простыл?

Чумак отвечает не сразу. Засунув руки в карманы и расставив ноги, он старается подобрать слова:

— Не то чтоб простыл. Баб я всегда любил и любить буду, но вот на войне... — Опять пауза. — Понимаешь, до войны я сам себе царь и бог был. Была у меня шпана. Вместе выпивали, вместе морды били таким вот... — он слегка улыбается и обычным своим хитрым глазом подмигивает мне, — таким вот субчикам. Но, в общем, не в этом дело... Да и баб-то не очень любил... И без того липли.

Он садится на край стола. Раскачивает ногой. Ему трудно сформулировать свою мысль. Вертится где-то, а в точку попасть не может.

— В Севастополе, например. Такой случай. Еще в самом начале осады. В декабре, что ли, или в конце ноября? Не помню уже... Был у меня товарищ. Даже не товарищ, а просто вместе на «Червоной» служили. Кацап — Терентьев. Тоже матрос. Потом вместе на берег в окопы попали. Около Французского кладбища. До войны мы с ним как кошка с собакой жили. Девчонку одну все хотел отбить у меня. А паренек ничего — складный, от девчат отбою не было. У меня кулаки чесались выбить ему пару зубчиков.

В углу начинает ворочаться раненый. Просит пить. Мы даем ему пососать мокрую тряпочку — все, что сейчас в наших силах. Он натягивает на лицо шинель и успокаивается. Я стараюсь не смотреть в ту сторону, где стоит термос с водой. Чумак кладет на него мокрую тряпочку и опять садится на край стола.

— В общем, не любил я его. Да и он меня...

Карнаухов сидит, подперев руками голову. Не сводит серых глаз с Чумака. Чумак раскачивает ногой.

— Выбил я ему-таки парочку. А он мне ребра помял. Недельки две, а то и три вздохнуть по-настоящему не мог. Но не в том дело... Короче говоря, фрицы мне всю спину разрывной изодрали. Шагах в пятнадцати от их окопов. Я думал, что совсем край. Пузыри стал пускать. И, чорт его знает, не пошел ли бы совсем ко дну... А утром в нашем окопе очнулся. Оказывается, этот самый Терентьев приволок...

Несколько секунд мы сидим молча. Чумак ковыряет ногтем край стола. Карнаухов как сидел, так и сидит, подперев голову руками. Дрожит язычок пламени в лампе. Один кончик у него длинный и тонкий, черной струйкой лижет стекло.

— Умер он потом, этот Терентьев. Обе ноги оторвало. В Гаграх, в госпитале, узнал я. Мне его карточку передали. Просил перед смертью... В общем, нету Терентьева, что говорить...

Он соскакивает со стола и опять начинает ходить по блиндажу — взад и вперед. Карнаухов, не поворачивая головы, следит за ним глазами.

— Понимаешь, до войны для меня ребята были... ну, как бы это сказать... ну, чтобы пить не скучно одному было. А сейчас... Вот есть у меня разведчик один... Да ты его знаешь, комбат, — тот самый, из-за которого мы с тобой поругались вроде. Так я за него, знаешь, зубами горло перегрызу... Или Гельман — еврей. Куда хочешь посылай, все сделает. У него семью в местечке где-то всю целиком фрицы вырезали...

Он прерывает на полуслове и, круто повернувшись, выходит из блиндажа. Слышно, как скрипят ступеньки от его шагов. Карнаухов опять принимается за свой рисунок.

— Вы что, не в ладах с Чумаком были, товарищ лейтенант? — деликатно спрашивает он, не поднимая головы.

— Да. Что-то в этом роде, — отвечаю я.

Карнаухов улыбается.

— Рассказывал он мне давеча. Из-за фрица какого-то убитого. Так, что ли?

— Да. С фрица началось.

— Не понравились вы ему тогда, говорит.

— Что же делать, на всех не угодишь.
— А теперь как? Наладилось?
— Что наладилось?
— Помирились?
— А разве мы ссорились? Просто, характер у него строптивый. Приказаний не любит. А я люблю таких. То есть не тех, которые приказаний не выполняют, а таких вот, как Чумак, задиристых.
— В этом ему не откажешь.
— Не только в этом.
— А мне казалось, не такие вам нравиться должны.
— А какие же?
— Ну, как вам сказать... Не одного поля вы ягоды, так сказать...
— А может...
На этом разговор кончается. Входит Чумак.
— А где бачок пустой? Из-под воды?
— Какой бачок?
— Ну, термос. Не все ли равно. Он у входа стоял.
— А что — нет?
— Нет.
— Куда ж он делся?
— А чорт его знает...
— Я выходил, он у входа стоял, — говорит Карнаухов. — Споткнулся еще.
— А теперь нет. Я все обшарил.
— Валега, вероятно, взял. Штопать дырку от осколка.
— А где Валега?
— Тут был. Недавно. Автомат чистил. А тебе зачем?
— Да надо ж с водой что-то соображать. И пить хочется, и пулеметы эти чортовы.
— Что ж ты сообразишь? — не понимаю я.
— Что-нибудь... Старик вот говорит, будто журчит что-то. Он слева, у оврага, стоит. Говорит, журчит. Может, ключ какой.
— Какой там ключ! Керосин из цистерн течет. Ночью знаешь как слышно? До путей метров двести, не больше.

— А почему не проверить?

— Проверяй, если охота.

Мы разливаем оставшуюся воду по котелкам. Даже на два котелка нехватает. Взвалив термос на спину, Чумак уходит. Минут через пять объявляется Валега. Сидит в углу и чистит автомат, как будто не уходил никуда.

— Ты где пропадал?

— Я не пропадал, — отвечает он, выковыривая щепочкой грязь из автомата.

— Бачок брал? Термос?

— Брал.

— Какого дьявола! Мы тут с ног сбились.

Валега смотрит на меня с укоризной.

— Вы же сами говорили, что воды нет.

— Ну?

— Вот я и пошел за ней.

— За водой?

— Ну да, за водой.

— На Волгу, что ли?

— Нет. До Волги не дошел.

— Да ты говори толком. Принес, что ли, воды?

— Воды не принес. Вина принес. — И он опять ковыряется в своем автомате.

Постепенно картина выясняется. Еще днем он наметил себе путь движения. Какую-то тропинку правее моста — в сторону третьего батальона.

— Отчего ж ты ничего не сказал?

— А вы б не пустили.

Короче говоря, до третьего батальона он не добрался — наткнулся на какую-то немецкую кухню.

— Там, около насыпи. Ночью, должно быть, приезжает. На конях. Здоровые такие битюги. Я и подполз. А тут как раз балочка, канавка. Они туда помои выливают. Два фрица сидят и курят. В темноте только огоньки видать. И вполголоса что-то по-своему — хау, хау, хау... Потом один зажигалку зажег. Вижу, около кухни термоса стоят. Такие, как этот. Шагах в пяти. Наверное, чай или кофе, думаю. А они все лопочут, лопочут. Потом один ушел, другой остался. Сидит и курит. А я жду. Минут десять прождал. Все брюхо от

помоев промокло. Потом он оправиться пошел, — за кухню. Я тут и взял один термос. А тот, наш, оставил. Пустой... Ругаться будут.

И Валега улыбается — чуть-чуть, уголком рта. Это с ним редко случается.

— Вино дермовое, кислое... Как раз для пулемета.

Мы выпиваем, каждый по полстакана. Маленькими глотками, растягивая удовольствие, полоща рот. Потом ложимся спать.

Мне снится почему-то Черное море. Я ныряю со скалы в прозрачную, дрожащую солнечными иглами воду. А вокруг медузы — большие и маленькие, точно зонтики.

15

Атака наших не удается. Мы стоим в траншеях, следим за перестрелкой. Немцы сыплют из пулеметов без всякой передышки. Очереди сталкиваются, перекрещиваются, взлетают высоко в небо. То тут, то там на той стороне оврага вспыхивают минометы. Потом и они умолкают. Остаются дежурные — методического огня. Возвращаемся в землянку.

До утра уже не спим. Разговор не клеится. Отсутствие табака делает нас раздражительными. Раненые все время просят пить. К утру еще один умирает.

В семь прилетает «рама». Урчит, урчит без конца, выворачиваясь, поблескивая стеклами. Потом — без всякой подготовки — немцы переходят в атаку.

Мы отстреливаемся четырьмя пулеметами. На двух — пулеметчики. На двух — Чумак с Карнауховым и я с Валегой. Связисты со стариком держат фланги.

Солнце светит из-за спины. Стрелять хорошо.

Потом — обстрел. Мы снимаем пулеметы и садимся на корточки. Осколки летят через голову. Только сейчас замечаю, как осунулся Валега. Щеки совсем ввалились и покрылись какими-то лишаями. А глаза большие и серьезные. Колени его почти касаются ушей.

Одна мина разрывается в проходе, в нескольких шагах от нас.

— Сволочи! — говорит Валега.

— Сволочи! — говорю я.

Обстрел длится минут двадцать. Это очень утомительно. Потом вытягиваем пулемет на площадку и ждем.

Чумак машет рукой. Я вижу только его голову.

— Двоих левых накрыло, — кричит он.

Мы остаемся с тремя пулеметами.

Отражаем еще одну атаку. У меня заедает пулемет. Он немецкий, и я плохо разбираюсь в нем. Кричу Чумаку.

Он бежит по траншее. Хромает. Осколок задел ему мягкую часть тела. Бескозырка над правым ухом пробита.

— Угробило тех двоих, — говорит он, вынимая затвор. — Одни тряпки остались.

Я ничего не отвечаю. Чумак делает что-то неуловимое с затвором и вставляет его обратно. Дает очередь. Все в порядке.

— Патронов хватит, комбат?

— Пока хватит.

— Там еще один ящик лежит у землянки. Последний, кажется...

— В него мина попала.

Он смотрит мне прямо в глаза. Я вижу в его зрачках свое собственное изображение.

— Не уйдем, лейтенант? — губы его почти не шевелятся. Они сухие и совсем белые.

— Нет, — говорю я.

Он протягивает руку. Я жму ее изо всех сил.

Выбывает из строя еще один — старик сибиряк.

Опять стреляем. Пулемет трясется, как в лихорадке.

Чувствую, как маленькие струйки пота текут у меня по груди, по спине, подмышками.

Впереди — ровная противная серая земля. Только один корявый кустик, напоминающий руку с подагрическими пальцами. Потом и он исчезает — срезает пулемет.

Я уже не помню, сколько раз появляются немцы. Раз, два, десять, двенадцать. В голове гудит. А может,

это самолеты над головой? Чумак что-то кричит. Ничего не могу разобрать. Валега подает ленты одну за другой. Как быстро они пустеют! Кругом — гильзы, ступить негде...

— Давай еще! Еще... еще, Валега!

Он тащит ящик... Пот заливает глаза, липкий, теплый...

— Давай, давай!..

Потом какое-то лицо — красное, без пилотки, лоснящееся.

— Разрешите, товарищ лейтенант.

— Катись к чорту!

— Да вы ж ранены.

— Катись к чорту.

Лицо исчезает, вместо него что-то белое, или желтое, или красное. Какие-то свивающиеся круги. Они расширяются, становятся все бледнее и бесцветнее. Потом вдруг исчезают, и вместо них появляется лицо. Золотой чуб, расстегнутый ворот, смеющиеся голубые глаза. Ширяевские глаза. И чуб ширяевский. И лампа с зеленым абажуром. И нашатырем воняет так, что плакать хочется.

— Узнаешь, инженер?

И голос ширяевский. И кто-то трясет, обнимает меня, и чей-то воротник лезет в рот — шершавый и колючий.

Наш старый блиндаж. И Валега. И Харламов. И Ширяев. Настоящий, живой, осязаемый, золоточубый Ширяев.

— Ну, узнаешь?

— Господи боже мой, конечно же!

— Ну, слава богу.

— Слава богу.

Мы трясем друг другу руки и смеемся, и не знаем, что еще сказать. И все кругом почему-то смеются.

— Вы осторожнее, товарищ старший лейтенант, они же ранены. Совсем растрясете.

Это, конечно, Валега. Ширяев отмахивается:

— Какое там ранен! Сорвало кожу и все... Завтра заживет.

Я чувствую слабость. Голова кружится. Особенно при поворотах.

— Пить хочешь?

Я не успеваю ответить — в зубах моих кисловатая жестянка, и что-то холодное, приятное разливается по всему телу.

— Откуда взялся, Ширяев?

— С луны свалился.

— Нет, серьезно?

— Как откуда? Получил назначение — и все. Комбатом в твой батальон... Недоволен?

Он ничуть не изменился. Даже не похудел. Такой же крепкий, ширококостый, подтянутый, в пилотке на одну бровь.

— А тебя малость того — подвело, — говорит он, и широкая белая улыбка никак не может сойти с его лица. — Не очень-то, повидимому, отдыхаете.

— Да, насчет отдыха слабовато... Но погоди, погоди. Сейчас-то вы откуда взялись?

— Не все ли равно откуда? Взялись и все.

— А фрицы?

— Фрицы — фрицами. Из оврага убежали. Двух пленных даже оставили.

— А вас много?

— Как сказать! Два батальона. Твой и третий. Человек пятьдесят.

— Врешь?

Он опять смеется. И все окружающие смеются.

— Чего же врать? По-твоему, много?

— А по-твоему?

— Как сказать...

— Стой... А мост? Мост как?

— Сидит еще там человек пять, — вставляет Харламов, — но не долго уж им.

— Здорово. Просто здорово... А Чумак, Карнаухов?

— Живы.

— Ну, слава богу. Дай-ка еще водицы.

Выпиваю еще полторы кружки. Ширяев встает.

— Приводи себя в порядок, а я того — посмотрю, что там делается. Вечером потолкуем — Оскол, Петропавловку вспомним. Помнишь, как на берегу с тобой

сидели? — Он протягивает руку.—А Филатова помнишь? Пулеметчик. Пожилой такой, ворчун.

— Помню.

— Немецким танком раздавило. Не отошел от пулемета. Так и раздавило их вместе.

-- Жаль старика.

— Жаль. Мировой старик был.

Несколько секунд молчим.

— Ну, я пошел.

— Валяй. Вечером, значит.

И он уходит, надвинув пилотку на левую бровь.

Вечером мы сидим с Ширяевым на батальонном КП — в трубе под насыпью.

Рана у меня чепуховая — сорвало кожу на лбу и сделало дорожку в волосах. Я могу даже пить. Правда, немного. И мы пьем какой-то страшно вонючий не то спирт, не то самогон. Закусываем селедкой, той самой, что я выкинул на сопке. Валега, конечно, не мог перенести этого.

— Разве можно выбрасывать? Прошлый раз выпивали — сами говорили: «Вот селедочки бы, Валега...» — И он раскладывает ее аккуратненькими ломтиками, без костей, на выкраденной из харламовского архива газете. На этой почве у них всегда возникают ссоры.

Мы сидим и пьем, вспоминаем июнь, июль, первые дни отступления, сарайчики, в которых расстались. После этого Ширяев потерял почти весь батальон. Немцы их окружили около Кантемировки и почти всех перебили. Сам он чуть в плен не попал. Потом с четырьмя оставшимися бойцами двинулся на Вешенскую. Там опять чуть не попал к немцам. Выкрутились. Перебрались через Дон. За Доном в какую-то дивизию угодил, собранную из остатков разбитых. Воевал под Калачом. Был легко ранен. Попал в Сталинград — в резерв фронта. Там около месяца проторчал и вот сейчас получил назначение в наш полк комбатом.

Лежа на деревянной, сбитой из досок койке, я рассматриваю Ширяева. Стараюсь найти в нем хоть какую-нибудь перемену. Нет, все тот же, даже голубой треугольник майки выглядывает из-за расстегнутого ворота.

— О Максимове ничего не слыхал? — спрашиваю я.

— Нет... Говорил кто-то, не помню уже кто, будто видел его где-то по эту сторону Дона. Но мало вероятно. Я всю эту сторону исколесил — ни разу не встретил.

— А из наших с кем встречался?

— Из наших? — Шряев морщит нос. — Кое-кого из командиров рот видел. Начальника разведки Гоглидзе. На машине проехал. Рукой махал. Ну, кого еще? Из медсанбата девчат... Парторга Костричного... Да! — Он хлопает ладонью по столу. — Как же, друга твоего, химика... как его?

— Игоря? Где? — Я даже приподнимаюсь.

— На этой стороне. Дней пять назад.

— Врешь!

— Зачем врешь. На «Красном Октябре». Он в тридцать девятой.

— В тридцать девятой?

— И не химик почему-то, а тоже инженер, как ты. Какие-то минные поля, фугасы и тому подобная чепуха.

— А ты что в тридцать девятой делал?

— Да ничего. Случайно совсем вышло. Штаб армии искал. Какой-то дурак сказал мне, что он в Банном овраге. Я и попер туда. А там, знаешь, что делается? За три шага ни черта не видно. Дым, пыль — чорт-те что... Фрицы как раз налетели. Я — в щель. Потом, когда фрицы уже улетели, меня кто-то за руку. Смотрю — Игорь твой. Не узнал даже сначала. Усики сбрил. Черный весь, закопченный. По глазам только и узнал.

— Живой, здоровый?

— Живой и здоровый. О тебе, конечно, спрашивал. А что я мог сказать? Не знаю — и все. Пожалели мы, пожалели, а потом он и говорит, будто в сто восемьдесят четвертой ты. Боялся только, что цифру перепутал. Но я записал все-таки. Решил обязательно к тебе попасть. Незанятых мест теперь в дивизии, знаешь, сколько. В штабе армии и попросился в сто восемьдесят четвертую. Там — с распростертыми объятиями. А в дивизии узнал, в каком ты полку.

— Молодчина, ей-богу.

— Вот так-то оно и вышло. — Ширяев протягивает руку за бутылкой. — Еще по одной, что ли?

Выпиваем еще по одной.

— А Седых не видал?

— Нет, не видал. И спросить забыл. Мы всего минут десять разговаривали.

— Его портсигар до сих пор у меня хранится. На прощанье мне подарил.

Я вынимаю из кармана целлулоидовый портсигар.

— Хороший, — говорит Ширяев.

— Хороший. Сами делали. На Тракторном. Там этого целлулоида, знаешь, сколько было?

— Здорово сделано. Неужели сами делали?

— Сами.

— А выцарапал на крышке кто?

— Я. Это монограмма. Просто ножом выцарапал.

— Здорово. У тебя только один?

— Один. Свой я подарил. А это от Седых — на память. Славный парень был.

— Славный.

Ширяев наливает.

— Мне больше не надо, — говорю я. — У меня голова кружится.

Потом приходит Абросимов, начальник штаба полка, бледный и недовольный. Говорит, что комдив чуть не снял его за то, что в прошлую — не в эту, а в прошлую ночь атаку сорвал. Но что он мог поделать: полк опять собирались передислоцировать, затем отменили.

Они с Ширяевым уходят на передовую, а мы с Харламовым подготавливаем материалы для передачи батальона.

Часов в двенадцать Ширяев возвращается. Я сдаю батальон, и с восходом луны мы с Валегой отправляемся на берег. Карнаухов и Чумак все еще на передовой — я с ними так и не попрощался.

Харламов протягивает руку:

— Если скучно на берегу будет, заглядывайте к нам, — и долго смотрит на меня своими армянскими добрыми глазами.

Мне немного грустно. Привык я уже к батальону. Боец у входа — фамилия у него какая-то длинная и заковыристая, никак не упомнишь — даже козыряет, перехватив винтовку из правой руки в левую.

— Уходите от нас, товарищ комбат?

— Ухожу.

Он покашливает и опять козыряет, на этот раз уже прощаясь.

— Заходите, не забывайте.

— Обязательно, обязательно, — говорю я и, опершись о Валегу, выбираюсь из траншеи. Боец с заковыристой фамилией деликатно подталкивает меня под зад.

16

Три дня бездельничаю. Ем, сплю, читаю. Новый блиндаж Лисагора великолепен — чудо подземного искусства. Семиметровый туннель — прямо в откосе. В конце направо комната. Именно комната. Только окон нет. Все аккуратненько обито тоненькими, подогнанными досками. Пол, потолок, две коечки, столик между ними. Над столиком — овальное, ампирное зеркало с толстощеким амуром. В углу примус, печка-колонка. Тюфяки, подушки, одеяла. Что еще надо? Напротив, через коридорчик, саперы все еще долбят. Уже для себя.

— Как боги, заживем, — говорит Лисагор. — Нары в два этажа сделаем, пирамиду для винтовок и инструмента, стол, скамейку, угол кухонный. В коридоре склады для взрывчатки. Знаешь, сколько над нами земли? Четырнадцать метров! И все глина. Твердая, как гранит. В общем — всерьез и надолго.

Мне все это нравится. Хорошее безопасное помещение на фронте если не половина, то во всяком случае четверть успеха. И я три дня наслаждаюсь этой «четвертушкой».

Утром Валега кормит меня густым жирным макаронным супом — ложку не провернешь, потом чаем из собственного самовара. Он уютно шумит в углу. Подложив подушку под спину, я решаю кроссворды

из старых «Красиоармейцев» и наслаждаюсь чтеиием московских газет.

На земном шаре спокойно.

В Новой Зелаидии объявлеи новый призыв в армию. На египетском фроите активиость аиглийскнх патрулей. Мы восстановили дипломатические отношения с Кубой и Люксембургом. Авиация союзииков совершила иебольшие налеты на Лаэ, Саламауа, Буна на Новой Гвинее и иа остров Тимор. Бои с япоицами в секторе Оуэи-Стэили стали несколько более ннтенсивными.

На Мадагаскаре аиглийские войска куда-то движутся, что-то заиимают, с кем-то, трудио поиять с кем, воюют и даже плеииых захватывают.

В Большом театре идет «Дубровский», в Малом — «Фроит» Кориейчука, у Немировича-Данчеико — «Прекрасиая Елена»...

А здесь, иа глубине четыриадцати метров, в полутора километрах от передовой, о которой говорит сейчас весь мир, я чувствую себя так уютно и спокойио — совсем по-тыловому. Неужели же еще более спокойиые места есть? Освещенные улицы, трамваи, троллейбусы, краны, из которых — повернешь вентиль — н вода потечет? Страиио...

И я лежу, уставившись в потолок и размышляя о высоких материях, о том, что все в мире отиосительио, что сейчас для меия идеал — вот эта землянка и котелок с лапшой, лишь бы горячая только была, а до войны мие какне-то костюмы были нужны н галстуки в полоску, и в булочиой я ругался, если иедостаточио поджаристый калач за два семьдесят давалн... И иеужели же после войны, после всех этих бомбежек, мы опять... и так далее, в том же духе.

Потом мие надоедает рассматривать потолок и думать о будущем. Я выбираюсь иаружу.

Попрежиему налетают иа «Красиый Октябрь» самолеты, попрежиему рвутся мины иа Волге, снуют лодки по реке н немцы их обстреливают. Но мало уже кто обращает на это виимаиие. Даже когда парочка шальиых «мессеров» обстреливает берег, а «юикерсы» для разиообразия сбрасывают бомбы не на «Красный Ок-

тябрь», а иа нас, — ннкто особенно ие волнуется. Заберутся куда-ннбудь под бревна или в щелн и выглядывают оттуда, как суслнки. Потом вылезают и, если кого-нибудь убило, закапывают тут же на берегу, в воронках от бомб. Раненых ведут в саичасть. И все это спокойно, с перекурамн, шуточками.

Прнмостившнсь иа какой-то толстой, неизвестного для меня пронсхождеиия трубе, я болтаю иогамн. Курю сногсшибательную, захватывающую дух смесь, наслаждаюсь последнними солнечиымн лучами, голубым небом, церквушкой на том берегу н думаю... Нет, пожалуй, ни о чем н не думаю. Курю и болтаю иогамн.

Подходит Гаркуша — усатый помкомвзвода. Я ему показываю часы — останавливаться что-то стали. Он их рассматрнвает, встряхивает, говорит, что дряиь — цнлнндр, и тут же у моих иог начинает чиинть их, положив иа колеии дощечку. Движения у иего поразнтельно мелкие и точные, хотя, казалось бы, часы должны были сразу раздавнться и смяться от одного прнкосновения этнх здоровенных мозолистых ручищ.

Довоенной его профессин я так и не могу уловить. Ему 26 лет, а он успел уже быть и часовщиком, и печннком, и водолазом в ЭПРОНе, и даже акробатом в цнрке, н трн раза жеинться, и со всеми тремя регулярно перепнсывается, хотя у двух из инх уже новые мужья.

В разговоре он сдержан, но иа вопросы отвечает охотно. От иечего делать я задаю их много. Он отвечает обстоятельно, будто анкету заполияет. От часов не отрывается ни на мниуту. Одии только раз уходит в туннель проверить саперов.

Потом появляется Астафьев, помощник начальиика штаба по оперативиой частн — ПНШ-1 по-нашему. Молодой, изящный, с онегинскнмн бачками и оловянным взглядом. Ои чуть-чуть картавит, иа французский маиер. Повидимому, счнтает, что ему это идет. Мы с ним знакомы только два дия, но он почему-то уже счнтает меня своим другом н иазывает Жоржем. Его же зовут Ипполитом. По-моему, очень удачно. Чем-то иеуловнмым напоминает ои толстого Ипполнта Курагнна. Так

же недалек и самоуверен. Он доцент истории Свердловского университета. Куря папиросу, оттопыривает мизинец и дым выпускает, сложив губы трубочкой.

Профессия обязывает, и он уже собирает материалы для будущей истории.

— Вы понимаете, как это интересно, Жорж? — говорит он, изящно облокотившись о трубу и предварительно сдунув с нее пыль. — Как раз сейчас, в разгар событий, нельзя об этом забывать. И именно нам, участникам этих событий, людям культурным и образованным. Пройдут годы, и за какую-нибудь полуистлевшую стрелковую карточку вашего командира взвода будут платить тысячи и рассматривать в лупу. Не правда ли?

Он берет меня за пуговицу и слегка покручивает указательным и большим пальцем.

— И вы мне поможете, Жорж? Правда? Рассчитывать на Абросимова или других ему подобных не приходится — вы сами понимаете. Кроме выполнения приказа или захвата какой-нибудь сопки, их ничто не интересует.

И он слегка улыбается с видом человека, ни минуты не сомневающегося, что не согласиться с ним нельзя.

Чорт его знает... Может быть, он и прав. Но меня сейчас это не интересует. Вообще он меня раздражает. И бачки эти, и «Жорж», и розовые ногти, которые он все время чистит перочинным ножом.

Над обрывом появляется вереница желтокрылых «юнкерсов». Скосив на них глаза, Астафьев делает грациозный жест рукой.

— Ну, я пошел... Формы заели. По двадцать штук в день. Совсем обалдели в штадиве. Заходите, Жорж. — И скрывается в своем убежище.

«Юнкерсы» выстраиваются в очередь и пикируют на «Красный Октябрь».

Высунув кончик языка, Гаркуша старательно впихивает пинцетом какое-то колесико в мои часы.

На командирской кухне стучат ножи. На обед, должно быть, будут котлеты.

17

К концу третьего дня меня вызывают в штаб. Прибыло инженерное имущество. Получаю тысячу штук мин. Пятьсот противотанковых ЯМ-5 — здоровенные шестикилограммовые ящики из неотесанных досок и столько же маленьких противопехотных ПМД-7 с семидесятипятиграммовыми толовыми шашками. Сорок мотков американской проволоки. Лопат двести, кирок тридцать. И те и другие дрянные. Особенно лопаты. Железные, гнутся, рукоятки неотесанные.

Все это богатство раскладывается на берегу против входа в наш туннель. Поочередно кто-нибудь из саперов дежурит — на честность соседей трудно положиться.

Утром двадцати лопат и десяти кирок-мотыг не досчитываемся. Часовой Тугиев, круглолицый, здоровенный парень, удивленно моргает глазами. Вытянутые по швам пальцы дрожат от напряжения.

— Я только оправиться пошел, товарищ лейтенант. Ей-богу. А так — никуда. И оправлялся в камнях — оттуда все было видно.

— Оправиться или не оправиться, нас не касается, — говорит Лисагор, и голос и взгляд у него такие грозные, что пальцы Тугиева начинают еще больше дрожать. — А чтоб к вечеру все было налицо.

Вечером, при проверке, лопат оказывается двести десять, кирок тридцать пять. Тугиев сияет.

— Вот это воспитание! — весело говорит Лисагор и, собрав на берегу бойцов, читает им длинную нотацию о том, что лопата — та же винтовка, и если только, упаси бог, кто-нибудь потеряет лопату, кирку или даже ножницы для резки проволоки, — сейчас же трибунал. Бойцы сосредоточенно слушают и вырезывают на рукоятках свои фамилии. Спать ложатся, подложив лопаты под головы...

Я тем временем занимаюсь схемами. Делаю большую карту нашей обороны на кальке, раскрашиваю цветными карандашами и иду к дивизионному инженеру.

Он живет метрах в трехстах — четырехстах от нас, тоже на берегу, в саперном батальоне. Фамилия его Устинов. Капитан. Немолодой уже — под пятьдесят. Очкастый. Вежливый. По всему видать — на фронте впервые. Разговаривая, вертит в пальцах желтый роскошно отточенный карандаш. Каждую сформулированную мысль фиксирует на бумаге микроскопическим кругленьким почерком — во-первых, во-вторых, в-третьих.

На столе в землянке груда книг — «Фортификация» Ушакова, «Укрепление местности» Гербановского, наставления, справочники, уставы.

Устиновские планы укрепления передовой феноменальны — и по масштабам, и по разнообразию применяемых средств, и по детальности проработки всего этого разнообразия.

Он вынимает карту, сплошь усеянную разноцветными скобочками, дужками, крестиками, ромбиками, зигзагами. Это даже не карта, а какой-то ковер. Аккуратно развертывает его на столе.

— Я не стану вам объяснять, насколько все это важно. Вы, я думаю, и сами понимаете. Из истории войн мы с вами великолепно знаем, что в условиях позиционной войны — а именно к такой войне мы сейчас и стремимся — количество, качество и продуманность инженерных сооружений играет выдающуюся, я бы сказал — даже первостепенную роль.

Он проглатывает слюну и смотрит на меня поверх очков небольшими, с нависшей над веками кожей глазами.

— Восемьдесят семь лет тому назад именно потому и стоял Севастополь, что собратья наши — саперы — и тот же Тотлебен сумели сделать почти неприступный пояс инженерных сооружений и препятствий. Французы и англичане и даже сардинцы уделяли этому вопросу громадное внимание. Мы знаем, например, что перед Малаховым курганом...

И он подробно, с целой кучей цифр, рассказывает о севастопольских укреплениях, затем перескакивает на русско-японскую войну, на Верден, на знаменитые проволочные заграждения под Каховкой.

Он аккуратно прячет схемы расположения севастопольских ретраншементов и апрошей в папку с надписью «Исторические примеры»...

— Как видите, работы у нас непочатый край. И чем скорее мы сможем это осуществить, тем лучше.

Он пишет на листочке бумаги цифру «1» и обводит ее кружком.

— Это первое. Второе. Покорнейше буду вас просить ежедневно к семи ноль ноль доставлять мне донесения о проделанных за ночь работах. А — вашими саперами, В — дивизионными саперами, С — армейскими (если будут, — а я надеюсь, что будут) саперами, D — стрелковыми подразделениями. Кроме того...

Бумажка опять испещряется цифрами — римскими, арабскими, в кружочках, дужках, квадратиках или совсем без оных.

Прощаясь, он протягивает узкую интеллигентную руку с подагрическими вздутиями на суставах.

— Особенно прошу вас не забывать каждого четырнадцатого и двадцать девятого присылать формы — 1, 1-б, 13 и 14. И месячный отчет — к тридцатому. Даже лучше к двадцать девятому. И еженедельно сводную нарастающую таблицу проделанных работ. Это очень важно...

Ночью за банкой рыбных консервов Лисагор весело и громко хохочет:

— Ну, лейтенант, пропал ты совсем! Целую проектную контору открывать надо. Не спрашивал, откуда он? Не из Инженерной академии приехал?

18

Дни идут.

Стреляют пушки. Маленькие, короткоствольные, полковые — прямо в лоб, в упор, с передовой. Чуть побольше — дивизионные — с крутого обрыва над берегом, приткнувшись где-нибудь между печкой и разбитой кроватью. И совсем большие — с длинными, задранными из-под сетей хоботками — с той стороны, из-за Волги. Заговорили и тяжелые. Их возят

на тракторах: ствол — отдельно, лафет — отдельно. Приехавший с той стороны платить жалованье начфин, симпатичный, подвижной и всем интересующийся Лазарь — его все в полку так и называют: Лазарь — говорит, что на том берегу плюнуть негде, под каждым кустом пушка.

Немцы попрежнему увлекаются минометами. Бьют из шестиствольных по переправе, и долго блестит после этого Волга серебристыми брюшками глушеной рыбы.

Гудят самолеты — немецкие днем, наши «кукурузники» — ночью. Правда, у немцев тоже появились «ночники», и теперь по ночам совсем не поймешь, где наши, где ихние. Мы роемся, ставим мины, пишем длиннейшие донесения: «За ночь сделано: окопов стрелковых — столько-то, траншей — столько-то, минометных позиций, блиндажей, минных полей — столько-то, потери — такие-то, за это же время разрушено то-то и то-то...»

На берегу у нас открываются мастерские. Два сапера из хворых крутят деревянный барабан: изготовляют спирали Бруно — нечто среднее между гармошкой и колбасой из колючей проволоки. Потом их растягивают на передовой перед окопами дивизионные саперы. Каждый вечер приходит взвод второй роты саперного батальона. Мои же ставят мины и руководят вторыми рубежами. Работают на них так называемые «лодыри» — портные, парикмахеры, трофейщики и не получившие еще своего вооружения огнеметчики. Минированием занимается, конечно, Гаркуша и командир отделения Агиевцев, энергичный, исполнительный, но не любимый бойцами за грубость.

Лисагор попрежнему деятелен. У него всегда какое-то неотложное задание командира полка — то склад обозно-вещевого снабжения построить, то оружейную мастерскую, то еще что-нибудь. Водкой от него всегда несет, как из бочки, но держится, в общем, хорошо.

Днем отдыхаем, оборудуем блиндажи, конопатим лодки. С первыми звездами собираем лопаты и кирки

и отправляемся на передовую. Пожаров уже мало. Дорогу освещают ракеты.

После работы, покуривая махорку, сидим с Ширяевым и Карнауховым — во втором батальоне я чаще всего бываю, в тесном, жарко натопленном блиндаже, ругаем солдатскую жизнь, завидуем тыловикам. Иногда играем в шахматы, и Карнаухов систематически дает мне маты. Я плохой шахматист.

Утром, чуть начинает сереть, отправляемся домой. Утра уже холодные. Часов до десяти не сходит иней. В блиндаже ждет чай, оставшиеся с вечера консервы и уютно потрескивающая в углу печурка...

На языке сводок все это, вместе взятое, называется: наши части вели огневой бой с противником и укрепляли свои позиции. Слово «ожесточенный» и «тяжелый» дней десять уже не попадается в сводке, хотя немцы попрежнему бомбят с утра до вечера, и стреляют, и лезут то тут, то там. Но нет уже в них того азарта и самоуверенности, и все реже и реже сбрасывают они на наши головы тучи листовок с призывами сдаться и бросить надежды на идущего с севера Жукова.

Ноябрь начинается со все усиливающихся утренних заморозков и с зимнего обмундирования, которое нам наконец выдают. Ушанки, телогрейки, стеганые брюки, суконные портянки, меховые кроличьи рукавицы. На днях, говорят, валенки и жилетки меховые будут. Мы переносим звездочки с пилоток на серые ушанки и переключаемся на зимний распорядок — не ходим мыться на Волгу и начинаем считать, сколько осталось до весны.

Устинов одолевает меня целым потоком бумажек. Маленькие, аккуратно сложенные и заклеенные, с обязательным «сов. секретно» и «только Керженцеву» наверху в правом углу, они настойчиво и в различных выражениях требуют от меня то недосланные формы, то запоздавший отчет, то предупреждают о необходимости подготовить минные поля к зимним условиям — смазать маслом взрыватели и выкрасить в белую краску плохо замаскированные мины.

Приносит эти бумажки веселый рябенький, страшно

курносый сапер, устиновский связной. Из-за дверей еще кричит молодым, звонким голосом:

— Отворяйте, товарищ лейтенант! Почта утренняя!

С Валегой они дружны и, перекуривая обязательную папиросу, усевшись на корточки у входа, обсуждают своих и чужих командиров.

— Мой все пишут, все пишут... — доносится сквозь дверь голос связного. — Как встанут, так сразу за карандаш. Даже в уборную и то, по-моему, не ходят. Мни уж больно боятся. Велели щит из бревен перед входом сделать и уборную рельсами покрыть.

— А мой писать не любят, — басит Валега. — Все твоего ругают, что писулек много шлет. Зато подавай им книжки. Все прочтут. Щи хлебают — и то одним глазом в книжку или в газету смотрят. Уж очень образованные!

— Ну, уж не больше моего,—обижается связной.— Видал, сколько у нас на столе книжек лежит? В одной я сам смотрел — пятьсот страниц. И все меленько-меленько, без очков и не разберешь.

— А на передовой твой бывает? — спрашивает вдруг Валега.

— Куда уж им! Старенькие больно. Да и не видят ничего ночью.

Валега торжествующе молчит. Связной уходит, забрав мои донесения.

Иногда приходит к нам Чумак — он живет рядом, в десяти шагах, — приносит с собой карты, и мы дуемся в очко.

Иногда мы с Лисагором ходим к нему слушать патефон.

Время от времени приезжает с того берега Лазарь, начфин. Ночует у нас. Валега расстилает ему шинель между койками, а сам устраивается у печки. Лазарь рассказывает левобережные новости. Нас, мол, на формировку собираются отводить. Не то в Ленинск, не то чуть ли не в Сибирь. Мы знаем, что все это чепуха, что никуда нас не отведут, но делаем вид, что верим — верить куда приятнее, чем не верить, — и строим планы мирной жизни в Красноуфимске или

Томске. Главное место во всех этих мечтах занимают пельмени, сметана и, конечно, женский пол.

Один раз в расположение нашего полка падает «мессершмитт». Кто его подбил, неизвестно, но в вечерних донесениях всех трех батальонов значится: «Метким ружейно-пулеметным огнем подразделений нашего батальона сбит самолет противника». Он падает недалеко от Мясокомбината, и к нему, несмотря на обстрел и крики командиров, начинается буквально паломничество. Через полчаса после падения Чумак приносит очаровательные часики со светящимися стрелками и большой кусок плексигласса. Через неделю мы все щеголяем громадными прозрачными мундштуками гаркушинского производства. У него нет отбоя от заказчиков. Даже майор, у которого три трубки и который никогда не курит папирос, заказывает себе какой-то особенный, с металлическим ободком мундштук.

19

Шестого вечером Ширяев звонит мне по телефону:

— Фрицы не лезут. Скучаю. А у меня котлеты сегодня. И праздник завтра. Приходи.

Я не заставляю себя ждать. Иду. Потом приходят Фарбер, Карнаухов.

— Помнишь, — говорит Ширяев, — как мы с тобой под Купянском тогда пили? В последнюю ночь... У меня в подвале. И картошкой жареной закусывали. Филипп мой мастер был картошку жарить. Помнишь Филиппа? Потерял я его. Под Кантемировкой. Неплохой парнишка был...

Он вертит кружку в руках.

— А о чем ты думал тогда? А? Юрка? Когда мы на берегу сидели? Полк ушел, а мы сидели и на ракеты смотрели. О чем ты тогда думал?

— Да как тебе сказать...

— Можешь и не говорить... Знаю. Обидно было. Чертовски обидно. Правда? А потом в каком-то селе, помнишь, старик водой нас поил? Воевать, говорил, не хотите. Здоровые, а не хотите. И мы не знали, что

ответить. Сами не понимали. Вот бы его сейчас сюда, старика этого однозубого.

Он вдруг останавливается, и глаза его становятся узкими и острыми. Такие у него были, когда он узнал, что двое бойцов сбежало.

— А скажи, инженер, было у тебя такое во время отступления? Мол, конец уже... Рассыпалось... Ничего уже нет. Было? У меня один раз было. Когда через Дон переправлялись. Знаешь, что там творилось? По головам ходили. Мы вместе с одним капитаном, сапером тоже — его батальон переправу там налаживал, — порядки стали наводить. Мост понтонный, хлипкий, весь в пробках и затычках после бомбежки. Машины в одиночку, по брюхо в воде проходили. Наладили кое-как. Построили очередь. А тут вдруг на виллисе майор какой-то в танкистском шлеме. До самого моста на виллисе своем добрался, а там стал во весь рост и заорал на меня: «Какого чорта не пускаешь? Танки противника в трех километрах! А ты тут порядки наводишь!» Я, знаешь, так и обомлел. А он с пистолетом в руке, рожа красная, глаза вылупил. Ну, думаю, раз уж майоры такое говорят — значит, плохо... А машины уже лезут друг на друга. Капитана моего, вижу, с ног сшибли. И чорт его знает — помутнение у меня какое-то случилось. Вскочил на виллис и хрясь! — раз, другой, третий — прямо по морде его паршивой. Вырвал пистолет и все восемь штук всадил... А танков, оказывается, никаких и в помине не было. И шофер куда-то девался. Может, фрицы это были, провокаторы, а?

— Может, и фрицы, — отвечаю я.

Ширяев умолкает. Смотрит в одну точку перед собой. Слышно, как в телефонную трубку кто-то ругается.

— А все-таки воля у него какая... — говорит Ширяев, не подымая глаз. — Ей-богу...

— У кого? — не понимаю я.

— У Сталина, конечно. Два таких отступления сдержать. Ты подумай только! В сорок первом и вот теперь... Суметь отогнать от Москвы. И здесь стать. Сколько мы уже стоим? Третий месяц? И немцы ни

черта не могут сделать со всеми своими «юнкерсами» и «хейнкелями». И это после такого прорыва. После июльских дней... Каково ему было? Ты как думаешь? Ведь второй год лямку тянем. А он за всех думай. Мы вот каких-нибудь пятьсот — шестьсот метров держим, и то ругаемся. И тут не так, и там плохо, и пулемет заедает. А ему за весь фронт... Газету, и то, вероятно, прочесть не успевает. Ты как думаешь, Керженцев, успевает или нет?

— Не знаю. Думаю, все-таки успевает.

— Успевает, думаешь? Ой, думаю, не успевает. Тебе хорошо. Сидишь в блиндаже, махорку покуриваешь, а не понравилось что — вылезешь, выругаешься, ну, иногда и пистолетом пригрозишь... Да и всех наперечет знаешь — кто чем дышит, и каждый бугорок, каждую кочку облазил. А у него что? Карта? А на ней — флажки. Иди разберись. И в памяти все удержи: где наступают, где стоят, где отступают. И вот — держит... И до победы доведет. Вот увидишь! — Ширяев встает. — Сыграй-ка что-нибудь, Карнаухов. А то болтается зря гитара, скучает.

Карнаухов снимает со стенки гитару. Вчера батальонные разведчики нашли ее в каком-то из разрушенных домов. На ней голубой шелковый бант и выжженная надпись: «Дорогому Вите на память от Воли».

— Чего-нибудь такое цыганское...

Ширяев поудобнее устраивается на койке, вытянув туго обтянутые хромовыми голенищами ноги.

— Как там на передовой, Лешка? Спокойно?

— Все спокойно, товарищ старший лейтенант, — нарочито бодро, чтобы не подумали, что он заснул, отвечает лопоухий Лешка. — В пятую ужин привезли. Ругаются, что жидкий...

— Я этому старшине покажу когда-нибудь, где раки зимуют. Если придет ночью, разбудишь меня. Ну, давай, Карнаухов.

Карнаухов берет аккорд. У него, оказывается, очень приятный грудной голос, средний между баритоном и тенором, и замечательный слух. Поет он негромко, но с увлечением, иногда даже закрывает

глаза. Песни все русские, задумчивые, многие из них я слышу в первый раз. Хорошо поет. И лицо у него хорошее. Несколько грубоватое, но какое-то ясное, настоящее. Мохнатые брови. Голубые глаза. Неглупые, спокойные. С какой-то глубокой, никогда не проходящей улыбкой. Даже там, на сопке, они улыбались.

Фарбер сидит, закрыв глаза ладонью. Сквозь пальцы пробиваются рыжие кудрявые волосы. О чем он думает сейчас? Я даже приблизительно не могу себе представить. О жене, о детях, об интегралах и бесконечно-малых величинах? Или вообще ничто на свете его не интересует? Иногда мне кажется, что даже смерть его не пугает, — с таким отсутствующим, скучающим видом покуривает он под бомбежкой.

Карнаухов устает, или ему просто надоедает петь. Вешает гитару на гвоздь. Некоторое время сидим молча. Ширяев приподнимается на одном локте.

— Фарбер... Ты и до войны таким был?

Фарбер подымает голову.

— Каким таким?

— Вот таким, какой ты сейчас.

— А какой я сейчас?

— Да чорт его знает, какой... Не пойму я тебя. Пить не любишь, ругаться не любишь, баб не любишь... Ты вот на инженера нашего посмотри. Тоже ведь с высшим образованием.

Фарбер чуть-чуть улыбается.

— Я не совсем понимаю связь между вином, женщинами и высшим образованием.

— Дело не в связи. — Ширяев садится на койку, широко раздвинув ноги. — Просто не понимаю я, как на фронте без водки можно. И без ругани. Ну, как без нее обойдешься? Карнаухов тихий, скромный парень — ты не слушай, Карнаухов, — а и то так загнет, что только держись.

— Да. В этой области я не очень силен, — отвечает Фарбер.

Ширяев смеется.

— Ты не подумай, что я хочу тебя испортить. Или ругаться научить. Упаси бог. Просто не понимаю, как это могло получиться... А плавать ты умеешь?

— Плавать? Нет, не умею.
— А на велосипеде?
— И на велосипеде не умею.
— Ну, а в морду давал кому-нибудь?
— Да что ты пристал к человеку? — вступается Карнаухов. — Ты с Чумаком на эту тему поговори. Он тебе порасскажет.
— В морду давал, — спокойно говорит Фарбер и встает.
— Давал? Кому?
— Я пойду, — не отвечает на вопрос Фарбер, застегивая шинель.
— Нет, кому ты давал?
— Неинтересно... Разрешите итти...
И уходит.
— Странный парень, — говорит Ширяев и встает.
Карнаухов улыбается. У него, как у ребенка, две ямочки на щеках.
— Вчера я заходил к нему. С берега шел. Сидит и пишет. Письмо, должно быть. Четвертую страницу тетрадочную кончал. Мелким-мелким почерком. Ужасно хотелось мне прочесть.
Ширяев еле заметно подмигивает мне.
— А может, то не письмо?
— А что же?
— Может, стихи.
Карнаухов краснеет.
— Ты чего краснеешь?
— Я не краснею, — и краснеет еще больше.
Ширяев, сдерживая улыбку, молчит. Не сводит глаз с Карнаухова.
— Ну, а твои как?
— Что — мои?
— Стихи, конечно.
— Какие стихи?
— Думаешь, не знаем? В клеенчатой тетрадке. Как там у него, Керженцев, не помнишь?
Карнаухов приперт к стенке.
— Да это так... От нечего делать.
— От нечего делать... Все вы так — от нечего делать. Пушкин, вероятно, тоже от нечего делать пи-

сал... Я вот от нечего делать водку пью, а вы стишки пишете. Своей, небось, пишешь — сознавайся?

— Давай-ка лучше выпьем. — И Карнаухов, пальцем отмерив треть оставшейся в бутылке водки, выливает ее в кружку.

Через полчаса мы с Карнауховым уходим. У семафора расстаемся: он — направо, я — налево.

— А стихи все-таки прочитаешь, — говорю я ему прощаясь.

— Как-нибудь... — неопределенно отвечает он и скрывается в темноте.

20

Ночь темная. Звезд не видно. Кое-где только мутные, расплывчатые пятна. Кругом тихо. Слегка постреливают на бугре.

Около разрушенного моста кто-то сидит. Вспыхивает огонек папиросы.

— Кой черт курит?

— А отсюда все равно не видно, — отвечает из темноты глуховатый голос. Голос Фарбера.

— Вы что здесь делаете?

— Воздухом дышу.

Я подхожу ближе, сажусь. Фарбер больше ничего не говорит. Сидит и курит. Я тоже закуриваю. Молчим. Не знаю, о чем можно с ним говорить.

— Сейчас концерт будет, — говорит вдруг Фарбер.

— Не думаю, — отвечаю я. — «Ишаки» у них уже два дня почему-то молчат.

— Нет, я о настоящем концерте говорю. На той стороне громкоговоритель установили. Последние известия передают. А потом концерт. Вчера в это время передавали.

— Из Москвы?

— Должно быть, из Москвы.

Проходят бойцы. Человек десять, один за другим, цепочкой. Несут мины и боеприпасы. Слышно, как сыплется щебенка у них из-под ног, как поругиваются они, спотыкаясь. Минут через двадцать они вернутся. Еще через полчаса опять будут идти, спотыкаясь и

ругая темноту, разбросанное железо, Гитлера и старшину, заставляющего за раз нести по четыре батальонных мины. За ночь они сделают шесть или восемь ходок. Днем все будет израсходовано. А как только зайдет солнце — опять на берег, с берега — на передовую, с передовой — на берег.

— Как дела в роте? — спрашиваю я.

— Ничего, — равнодушно отвечает Фарбер. — Без особых перемен.

— Сколько человек у вас теперь?

— Да все столько же. Больше восемнадцати — двадцати никак не получается. Из стариков, что высадились на этом берегу, почти никого не осталось.

— А пополнение?

— Да что пополнение!

— Юнцы?

— Винтовку в первый раз видят. Одного убило вчера. Разорвалась граната в руках.

— М-да... — говорю я. — Паршивая штука — война...

Фарбер ничего не отвечает. Вынимает из кармана коробку с табаком, скручивает цыгарку, прикуривает от собственного бычка. На миг озаряется худое, с впалыми щеками лицо, костистый нос, складки у рта.

— А вам никогда не казалось, что жизнь нелепая штука? — спрашивает Фарбер. Он никак не может прикурить — бычок маленький, высыпается.

— Жизнь или война? — спрашиваю я.

— Именно жизнь.

— Сложный вопрос... Нелепого, конечно, порядочно. А в связи с чем, собственно говоря, вы...

— Да без всякой связи... Философствую. Некое подведение итогов.

— Не рано ли?

— Конечно, рановато, но кое-что все-таки можно подытожить.

Он медленно раздавливает окурок каблуком. Огонек вдавливается в землю и долго еще тлеет между ног.

— Вы никогда не задумывались о своей прошлой

жизни? Не казалось ли вам, что мы с вами до какой-то степени вели страусовский образ жизни?

— Страусовский?

— Если проводить параллели, пожалуй, это будет самое удачное. Мы почти не высовывали головы из-под крыла.

— Расшифруйте.

— Я говорю о войне. О нас и о войне. Под нами я подразумеваю себя, вас, вообще людей, непосредственно не связанных с войной в мирное время. Короче — вы знали, что будет война?

— Пожалуй, знал.

— Не пожалуй, а знали. Более того — знали, что и сами будете в ней участвовать.

Он несколько раз глубоко затягивается и с шумом выдыхает дым.

— До войны вы были командиром запаса. Так ведь? ВУС-34... Высшая вневойсковая подготовка или что-нибудь в этом роде.

— ВУС-34... ВВП... Командир взвода запаса.

Ни разу я еще не слыхал, чтоб Фарбер так много говорил. Очевидно, на него подействовала водка.

— Раз в неделю у вас был военный день. Вы все старательно пропускали его. Летом—лагеря. Напра-во, нале-во, шагом марш. Командиры требовали четких поворотов, зычных песен. На тактических занятиях, запрятавшись в кусты, вы спали, курили, смотрели на часы — сколько до обеда осталось. Думаю, что я мало ошибаюсь.

— Откровенно говоря, мало.

— Вот тут-то собака и зарыта... На других мы с вами полагались. Стояли во время первомайских парадов на тротуаре, ручки в брючки, и смотрели на проходящие танки, на самолеты, на шагающих бойцов в шеренгах... Ах, как здорово, ах, какая мощь! Вот и все, о чем мы тогда думали. Ведь правда? А о том, что и нам когда-то придется шагать, и не по асфальту, а по пыльной дороге, с мешком за плечами, что от нас будет зависеть жизнь — ну, не сотен, а хотя бы десятков людей, разве мы думали тогда об этом?

Фарбер говорит медленно, даже лениво, с паузами, затягиваясь после каждой фразы. Внешне он совершенно спокоен, но по чему-то неуловимому, по частым затяжкам, по неравномерным паузам, по освещаемым цыгаркой сдвинутым бровям — чувствуется, что ему давно уже хотелось обо всем этом поговорить, но то ли не было собеседника, то ли случая, то ли времени, то ли чорт его знает чего! И мне ясно, что он волнуется, но, как у многих людей его типа — замкнутых и молчаливых, — волнение это почти не выражается внешне, а, наоборот, делает его еще более сдержанным.

Я молчу. Слушаю. Курю. Фарбер продолжает:

— На четвертый день войны передо мной выстроили в две шеренги тридцать молодцов — плотников, слесарей, кузнецов, трактористов — и говорят: командуй, учи. Это в запасном батальоне было.

— В саперном?

— В саперном.

— А вы разве сапер?

— Сапер. Вернее, был сапером.

— Почему же вдруг стрелком стали?

— Я до этого еще и минометчиком был. А после харьковского путешествия пришлось стрелком стать.

— А я и не знал. Коллега, значит.

— Коллега, — улыбается Фарбер и продолжает. — Командуй, значит, говорят, учи. А в расписании: подрывное дело — четыре часа, фортификация — четыре часа, дороги и мосты — четыре часа. А они стоят. Переминаются с ноги на ногу, поглядывают на свои «сидора», сваленные под деревом, стоят и ждут, что я им скажу. А что я им могу сказать? Я знаю только, что тол похож на мыло, а динамит на желе, что окопы бывают полного и неполного профиля и что, если меня спросят, из скольких частей состоит винтовка, я буду долго чесать затылок, а потом выпалю первую попавшуюся цифру.

Он делает паузу. Ищет в кармане коробку с табаком. Я раньше не замечал, что он так много курит — одну за другой.

— А кто в этом виноват? Дядя... — как говорит

мой старшина? Нет, не дядя... Я сам виноват. Мне просто было до войны неинтересно заниматься военным делом. На лагерные сборы смотрел как на необходимую — так уж заведено, ничего не поделаешь, — но крайне неприятную повинность. Именно повинность... Это, видите ли, не мое призвание. Мое дело, мол, математика и тому подобное. Наука...

Фарбер шарит по карманам.

— Чем прикуривать будем? — говорит он. — У меня спички кончились.

— И бычок погас?

— Погас.

— Придется бойцов ждать. Они сейчас на берег пойдут.

— Придется.

И мы ждем. Помолчав, Фарбер продолжает все тем же спокойным, равномерно усталым голосом:

— Четыре месяца я их учил. Вы представляете, что это за учение было? И чему я мог их научить? У нас на весь батальон одно только наставление по подрывному делу было. И это все. Другой литературы никакой. Я по ночам штудировал. А утром рассказывал бойцам, как устроена подрывная машинка, ни разу в жизни не держа ее в руках... Бр-р... От одного воспоминания в дрожь бросает.

Проходят бойцы. Просим прикурить. Присев на корточки, один из бойцов высекает огонь из своего «кресала». Прикуриваем поочередно от фитиля. Потом бойцы уходят. Одна за другой исчезают в темноте их неуклюжие, одетые в шинели поверх фуфаек фигуры.

Фарбер поворачивает голову.

— Нытик? Да? — говорит он совсем тихо.

До сих пор он говорил не поворачиваясь, смотря куда-то в пространство впереди себя. Сейчас, в темноте, чувствую на себе взгляд его близоруких глаз.

— Кто нытик? — спрашиваю я.

— Да я. Это вы, вероятно, так думаете. Ворчит чего-то, жалуется. Правда?

Я не сразу нахожу, что ответить. Он во многом прав. Но стоит ли вообще говорить о том, что про-

шло? Анализировать прошлое, вернее дурное в прошлом, имеет смысл только в том случае, когда на основании этого анализа можно исправить настоящее или подготовить будущее.

— По-моему, трудно жить, если все время думать о своих прошлых ошибках и ругать себя за это. Руганью не поможешь. А винтовку, я думаю, вы уже знаете и научить бойца с нею обращаться тоже сможете...

— Пожалуй, вы правы... — Пауза. — Но вы знаете... Если б я, например, встретился до войны... ну хотя бы с Ширяевым... я никогда бы не поверил, что буду ему завидовать.

— А вы завидуете?

— Завидую. — Опять пауза. — Я неплохо разбираюсь в вопросах высшей математики. Восемь лет все-таки проучился. Но такая вот элементарная проблема, как разоблачить старшину, который крадет продукты у бойцов, — для меня почти непреодолимое препятствие.

— Вы склонны к самокритике, — говорю я.

— Возможно. Думаю, что и вы этим занимаетесь, только не говорите.

— Но почему же вы все-таки завидуете Ширяеву?

— Почему?.. — Он встает, делает несколько шагов, опять садится. Кругом удивительно тихо. Где-то только, далеко, за «Красным Октябрем», изредка, без всякого увлечения, пофыркивает пулемет.

— Потому, что, смотря на него, я особенно остро чувствую свою неполноценность. Вам кажется это смешным. Но это так. Он человек простой, цельный, ему ничего не стоит спросить, умею ли я плавать или кататься на велосипеде. Он не чувствует того, что этими вопросами он попадает мне не в бровь, а в глаз. Ведь я соврал, когда говорил, что давал в физиономию кому-то. Никому я никогда не давал. Я не любил драк, не любил физических упражнений. А теперь вот...

Он вдруг умолкает. Посапывает носом. Это, очевидно, у него нервное. Постепенно начинаю понимать его сдержанность, замкнутость и молчаливость.

— Ничего, — говорю я, стараясь придумать что-нибудь утешительное. Я вспоминаю, как кричал на него, когда был комбатом. — Всем тяжело на войне!

— Господи боже мой! Неужели вы меня так поняли? — Голос его даже вздрагивает и срывается от волнения. — Ведь мне предлагали совсем не плохое место в штабе фронта. Я знаю языки. В разведотдел предлагали — пленными заниматься. А вы говорите — всем тяжело на войне...

Я чувствую, что действительно сказал неудачно.

— У вас жена есть? — спрашиваю я.

— Есть, а что?

— Да ничего. Просто интересуюсь.

— Есть.

— И дети есть?

— Детей нет.

— А сколько вам лет?

— Двадцать восемь.

— Двадцать восемь. Мне тоже двадцать восемь. А друзья у вас были?

— Были, но... — Он останавливается.

— Вы можете не отвечать, если хотите. Это не анкета. Просто... Одиноки вы как-то, по-моему, очень.

— Ах, вы об этом...

— Об этом. Мы с вами скоро уже полтора месяца знакомы. А впервые за все время только сегодня, так сказать, поговорили.

— Да, сегодня...

— Впечатление такое, будто вы сторонитесь, чуждаетесь людей.

— Возможно... — И опять, помолчав: — Я вообще туго схожусь с людьми. Или, вернее, люди со мной. Я, в сущности, мало интересная личность. Водки не люблю, песен петь не умею, командир, в общем, неважный...

— Напрасно вы так думаете.

— Вы у Ширяева спросите.

— Ширяев вовсе не плохо к вам относится.

— Дело не в отношении... Впрочем, все это мало интересно.

— А, по-моему, интересно. Скажу вам откровенно,

когда я в первый раз вас увидел — помните, там, на берегу, ночью, после высадки?..

Фарбер останавливает меня движением руки.

— Стойте! — и касается рукой колена. — Слышите?

Я прислушиваюсь. С той стороны Волги торжественно, то удаляясь, то приближаясь, медленно плывут, перебиваемые ветром, хрипловатые звуки флейт и скрипок. Плывут над рекой, над разбитым, молчаливым сейчас городом, над нами, над немцами, за окопы, за передовую, за Мамаев курган.

— Узнаете?

— Чорт его знает... Что-то знакомое... Страшно знакомое... Не Чайковский?

— Чайковский. Из Пятой симфонии. Вторая часть. Andante cantabile.

Мы молча слушаем. За спиной начинает стучать пулемет — назойливо, точно швейная машина. Потом перестает.

— Вот это место... — говорит Фарбер, опять прикасаясь рукой к моему колену. — Точно вскрик. Правда? В финале не так. Вы любите Пятую?

— Люблю.

— Я тоже... Даже больше, чем Шестую. Хотя Шестая считается самой, так сказать... Сейчас вальс будет. Давайте помолчим.

И мы молчим. До конца уже молчим. Я опять вспоминаю Киев, каштаны, липы, Люсю, яркие цветы, дирижера с чем-то белым в петлице...

Потом прилетает бомбардировщик — тяжелый, ночной, трехмоторный. Его у нас почему-то называют «туберкулез». Изводно, монотонно гудит над головами. Наш.

— Смешно, правда? — говорит Фарбер, подымаясь.

— Что смешно?

— Все это... Чайковский, шинель, «туберкулез»...

Мы встаем и идем по направлению к фарберовской землянке. Бомбардировщик топчется на одном месте. Из-за Мамаева протягиваются щупальцы прожекторов.

Я остаюсь ночевать у Фарбера.

21

Седьмого вечером приходят газеты с докладом товарища Сталина. Мы его уже давно ждем. С волнением вчитываемся в каждую строчку. По радио ничего разобрать не удалось — трещало в эфире. Только «и на нашей улице будет праздник» разобрали.

Фразу эту обсуждали во всех землянках и траншеях.

— Будет наступление, — авторитетно заявляет Лисагор, он обо всем всегда очень авторитетно говорит. — Вот увидишь. Не зря Лазарь говорил прошлый раз — помнишь? — что какие-то дивизии по ночам идут...

Сталин выступал шестого ноября.

Тринадцатого же ноября немцы в последний раз бомбят Сталинград. Сорок два «Юнкерса-87» в три захода сбрасывают бомбы на позиции нашей тяжелой артиллерии в районе Красной Слободы на правом берегу Волги. И улетают. В воздухе воцаряется непонятная, непривычная, совершенно удивительная тишина.

После восьмидесяти двух дней непроходимого грохота и дыма, после сплошной — с семи утра до семи вечера — бомбежки наступает что-то непонятное. Исчезает облако над «Красным Октябрем». Не надо поминутно задирать голову и искать в безоблачном небе противные треугольники. Только «рама» с прежней точностью появляется по утрам и перед заходом солнца, да иногда «мессеры» пронесутся со звоном над головой и почти сразу же скроются.

Ясно — выдохся фриц... И в окопах идут оживленные дискуссии — отчего, почему и когда же начнется «праздник на нашей улице» и можно ли считать недавнее наступление союзников в Африке вторым фронтом. Политработники — нарасхват. Полковой агитатор, маленький, черненький, как жучок, всегда возбужденный, Сенечка Лозовой прямо с ног сбивается. Почти не появляется на берегу — забежит на минутку в штаб послушать радио и опять назад. А там, на передовой, только и слышно: «Сенечка, сюда! Сенечка,

к нам!» Его так все и называют — Сенечка. И бойцы и командиры. Комиссар даже отчитал его как-то:

— Что же это такое, Лозовой? Ты лейтенант, а тебя все: «Сенечка»... Не годится так.

А он только улыбается смущенно:

— Ну что я могу поделать? Привыкли. Я уж сколько раз говорил. А они забывают... И я забываю.

Так и осталось за ним — Сенечка. Комиссар рукой махнул:

— Работает, как дьявол... Ну, как на него кричать?

А работает Сенечка действительно, как дьявол. Инициативы и фантазии в нем столько, что и не поймешь, где она помещается у него, такого маленького и щупленького. Одно время все с трубой возился. Сделали ему саперы здоровенный рупор из жести, и он целыми днями через этот рупор, вместе с переводчиком, фрицев агитировал. Фрицы злились, стреляли по ним, а он трубу подмышку — и в другое место. Потом увлекался листовками и карикатурами на Гитлера. Совсем неплохо они у него получались. Как раз тогда в полк прибыла партия агитснарядов и агитмин. Когда они кончились, он что-то долго соображал с консервными банками и даже специальный самострел из резины сделал. Но из этой затеи ничего не вышло — банки до немцев не долетали. Принялся тогда за чучело. После него во всех дивизиях такие чучела стали делать. Это очень забавляло бойцов. Сделал из тряпок и немецкого обмундирования некое подобие Гитлера, с усиками и чубом из выкрашенной пакли, навесил на него табличку — «Стреляйте в меня!» и вместе с разведчиками как-то ночью поставил его на «ничейной» земле, между нами и немцами. Те рассвирепели — целый день из пулемета по своему фюреру стреляли, а ночью украли чучело. Украсть-то украли, но трех человек все-таки потеряли. Бойцы наши только животы надрывали:

— Ай да Сенечка!

Очень любили его бойцы.

К сожалению, вскоре его у нас забрали. Как лучшего в дивизии агитатора, послали в Москву учиться. Долго ждали от него письма, а когда оно наконец пришло, целый день на КП первого батальона — он там чаще всего бывал — строчили ответ. Текста вышло не больше двух страничек и то больше вопросов («а у нас попрежнему — воюем понемножку»), а подписи еле-еле на четырех страницах уместились — что-то около ста подписей вышло.

Долго и хорошо вспоминали о нем бойцы.

— И когда же это учеба его кончится? — спрашивали они и все мечтали, что Сенечка обратно к нам в полк вернется. Но он так и не вернулся — на Северный фронт, кажется, попал.

22

Девятнадцатое ноября — день для меня памятный. День моего рождения. В детстве он отмечался пирогами и подарками, позже — выпивками. Но, так или иначе, отмечался всегда. Даже в прошлом году, в запасном полку, в этот день мы пили самогон и ели из громадного эмалированного таза розовое, с золотистыми пенками квашеное молоко. На этот раз Валега и Лисагор тоже что-то затевают.

Валега с вечера заставляет меня пойти в баню — покосившуюся, без крыши, хибарку на берегу Волги, — выдает чистое, глаженое даже белье, а потом целый день где-то пропадает, появляется только на минутку — озабоченный, кого-то ищущий, с таинственными свертками подмышкой. Лисагор загадочно улыбается. Я не вмешиваюсь.

Под вечер ухожу к Устинову. Он уже третий день вызывает меня к себе. Сначала просто «предлагает», потом «приказывает» и, наконец, «в последний раз приказываю, во избежание неприятностей». Я заранее уже знаю, о чем пойдет речь. Я не выслал своевременно плана инженерных работ по укреплению обороны, описи наличного инженерного имущества с ука-

занием потерь и поступлений за последнюю неделю, схемы расположения предполагаемых НП. Меня ожидает нудная и длинная нотация, пересыпанная историческими примерами, Верденами, Порт-Артурами, Тотлебенами и Клаузевицами. Меньше часа это у меня никак не отнимет.

Встречает Устинов меня необычайно торжественно. Он любит форму и ритуал. Вообще люди интеллигентного труда, попавшие на фронт, делятся в основном на две категории. Одних угнетает и мучает армейская муштра, — на них все сидит мешком, гимнастерка пузырится, пряжка ремня на боку, сапоги на три номера больше, шинель горбом, язык заплетается. Другим же, наоборот, вся внешняя сторона военной жизни очень нравится, — они с удовольствием, даже с каким-то аппетитом козыряют, поминутно вставляют в разговор «товарищ лейтенант», «товарищ капитан», щеголяют знанием устава, марок немецких и наших самолетов. Прислушиваясь к полету мины или снаряда, обязательно говорят: «Полковая летит» или: «Стопятидесятидвух начали». О себе иначе не говорят, как: «Мы, фронтовики» или: «У нас, на фронте»...

Устинов относится ко второй категории. Чувствуется, что он слегка гордится своей четкостью и буквальным следованием всем правилам устава. И выходит это у него совсем неплохо, несмотря на преклонный возраст, очки и любовь к писанине. С кем бы он ни здоровался, он обязательно встает. Разговаривая со старшими по званию, держит руки по швам.

Сейчас у него замкнутое выражение лица, нарочито насупленные брови, плавный актерский жест, которым он указывает мне на табуретку. Все это говорит о том, что разговор не ограничится только сводными таблицами и планами.

— Вы уже в курсе последних событий, товарищ лейтенант?

— Каких событий?

— Как? Вы ничего не знаете? — Брови его недоу-

мевающе подымаются. — КСП вам ничего не сказал? — «КСП» на его излюбленном языке донесений — это «командир стрелкого полка», в данном случае майор Бородин.

— Нет, ничего.

Брови медленно, точно колеблясь, опускаются, занимают свое обычное положение. Пальцы крутят длинный, аккуратно отточенный карандаш с наконечником.

— Сегодня в шесть ноль ноль мы переходим в наступление.

Карандаш рисует на бумажке кружок и, подчеркивая значительность фразы, ставит посредине точку.

— Какое наступление?

— Наступление по всему фронту, — медленно, смакуя каждое слово, произносит он. — Вы понимаете, что это значит?

Пока мне понятно только одно: до начала наступления осталось десять часов, и обещанный мной на сегодняшнюю ночь отдых для бойцов — первый за последние две недели — безнадежно срывается. Все остальное слишком велико, чтоб уложиться сразу в голове.

— Задача нашей дивизии ограничена, но серьезна, — продолжает он. — Мы должны овладеть баками. Понимаете, сколько ответственности ложится на нас? В четыре тридцать начнется артподготовка. Вся артиллерия фронта заговорит, весь левый берег. В нашем распоряжении — сейчас семь минут девятого — весьма ограниченный срок: каких-нибудь десять часов. Полку вашему будет придана рота саперного батальона. Вам надлежит каждому стрелковому батальону придать по одному взводу этой роты, с целью инженерной разведки и разминирования полей противника. Полковых саперов поставьте на проходы в собственных полях.

Лежащий перед ним лист бумаги понемногу заполняется ровными, аккуратными строчками.

— Ни на одну минуту не забывайте об учете.

Каждая снятая мина должна быть учтена, каждое обнаруженное минное поле зафиксировано, привязано к ориентиру, и обязательно постоянному — вы понимаете меня? — не к бочкам, не к пушкам, а к постоянному. Донесение о проделанной работе присылайте каждые три часа — специальным посыльным.

Он еще долго и пространно говорит, не пропуская ни одной мелочи, чуть ли не на часы и минуты разбивая все мое время. Я молча записываю. Дивизионные саперы готовятся уже к заданию — чистят инструмент, вяжут заряды, мастерят зажигательные трубки.

Я слушаю, записываю, поглядываю на часы. В девять ухожу. С командиром приданной мне второй роты — это та самая рота, которая у меня постоянно работает, — договариваюсь, что придут они ко мне в два часа ночи.

Лисагор встречает меня злой и всклокоченный. Маленькие глазки блестят.

— Как тебе это нравится? А? Лейтенант? — И, не дожидаясь моего ответа: — Какое-то наступление... А?

От волнения он захлебывается, не может усидеть на месте — вскакивает, начинает расхаживать по блиндажу взад и вперед.

— Ну, а выйдет?.. Окопались мы, мин наставили видимо-невидимо, сам чорт ногу сломит. Все устроили... А тут — наступление, видите ли, необходимо. Делай проходы, убирай Бруно. Вся работа летит... Сидели б в окопах и постреливали, раз не лезет немец. Что еще нужно?

Он начинает раздражать меня.

— Давай прекратим этот идиотский разговор. Не нравится — не воюй, дело твое...

Лисагор не унимается. В голосе у него появляется жалобная нотка:

— Но обидно же, чорт возьми! Ты посмотри на стол. В кои-то веки собрались по-человечески день рождения отпраздновать, и все теперь — к чортовой матери.

Стол действительно неузнаваем. Посредине —

четыре раскупоренные полулитровки, нарезана тонкими эллиптическими ломтиками колбаса, пачка печенья «Пушкин», шоколад в коричневой, с золотом, обертке, селедка и — гвоздь всего угощения — дымящееся в котелке, заливающее всю землянку ароматом мясо.

— Ты понимаешь, зайца, настоящего зайца Валега достал. На ту сторону специально ездил. Чумак должен был притти. Молоко сгущенное, твое любимое... Ну, что теперь делать? На Новый год оставлять? Так, что ли?

Мы наливаем себе по полстакана и, не чокнувшись, выпиваем. Закусываем зайцем. Он несколько жестковат, но это в конце концов неважно. Важно, что заяц. Настроение Лисагора несколько улучшается. Он даже подмигивает:

— Торопись, лейтенант, пока не вызвали... Два раза уже за тобой присылали.

Через минуту является связной штаба. Зовет Абросимов.

Майор и Абросимов сидят над картой. В землянке негде повернуться — комбаты, штабники, командиры спецподразделений. Чумак, в неизменной своей бескозырке, расстегнутый, сияющий тельняшкой.

— Ну что, инженер, сорвалось?

— Сорвалось.

— Ни черта... В буфет спрячь... Вернемся — поможем, — и весело хохочет, сверкая глазами.

Протискиваюсь к столу. Ничего утешительного. До начала наступления нужно новый НП командиру полка сделать. Старый не годится — баков не видно. Я так и знал. Ну и, конечно, разминирование, проходы, обеспечение действий пехоты.

— Смотри, инженер, не подкачай, — попыхивает трубкой Бородин, — картошек своих вы там на передовой понасажали, кроме вас, никто и не разберет... Поподрываются еще наши. А каждый человек на счету — сам понимаешь.

Чувствуется, что он волнуется, но старается скрыть это. Трубка поминутно гаснет, а спички никак не зажигаются — терки никуда не годятся.

— А НП рельсами покрой. И печка чтобы была. Опять ревматизм мой заговорил. В пять ноль ноль — минута в минуту — буду. Если не кончишь — ноги повырываю из мягкого места. Понял? Давай нажимай.

Я ухожу.

Лисагор сидит и меняет портянку.

— Ну?

— Бери отделение, и в пять ноль ноль чтобы новый НП был готов.

— Новый? К пяти? Обалдели...

— Обалдели или не обалдели, а в твоем распоряжении семь часов.

Лисагор всердцах впихивает ногу в сапог так, что отрывает ушко.

— На охоту ехать — собак кормить! Говорил я, что из того НП не будет баков видно. Ничего, говорят, баки не нам, а сорок пятому дадут. А нам — левее. Вот тебе и левее.

— Ладно. Ворчать завтра будешь, а сейчас не канителься. Используешь наблюдательный пункт разведчиков. А разведчиков к артиллеристам посадишь. Скажешь, Бородин приказал. Понятно?

— Все понятно... И рельсы, конечно, велел положить? Да?

— И рельсы положишь, и печку поставишь. Трубу только в нашу сторону пустишь. Амбразуру уменьши, а левую совсем можешь заделать.

— А дощечками тесаными не приказал обшивать?

— Твое дело. Можешь и диван поставить, если хочешь... Возьмешь с собой Новохатько с отделением.

— У него куриная слепота.

— Для НП сойдет. Гаркуша с Агнивцевым пойдут проходы делать.

— Пускай дома тогда сидит, лопаты стережет.

— Как знаешь. К пяти чтоб НП был готов.

Лисагор натягивает второй сапог. Кряхтит.

— И кой чорт войну эту придумал?.. Лежал бы сейчас на печи и семечки грыз...

И, запихнув в рот половину лежащей на столе колбасы, уходит.

Я остаюсь ждать дивизионных саперов.

23

К четырем часам иду на передовую. Немцы, точно предчувствуя что-то, почти беспрерывно строчат из пулеметов, освещая передний край.

Обхожу батальоны. Агнивцев и Гаркуша кончили с проходами, греются в блиндажах, курят. Иду на НП. Еще издали слышу матерный шопот Лисагора. Сидя верхом на блиндаже, он вместе со здоровенным татарином Тугиевым укладывает рельсы перекрытия. Оба кряхтят, ругаются. Немецкие пули свистят почти над самыми их головами. Пулемет стоит метрах в пятидесяти, поэтому пули перелетают и ударяются где-то далеко позади.

Я забираюсь в блиндаж. Там уже связисты и адъютант командира полка. Амбразура заткнута одеялом, чтоб не было видно света. Коптящая гильза стоит прямо на полу. Один из связистов дополнительными минометными зарядами растапливает печку. Ему, повидимому, доставляет удовольствие смотреть, как вспыхивает порох — маленькими горсточками он все время подбрасывает его в печку.

Минут через десять вваливается Лисагор. Все лицо в росинках пота. Руки красные от ржавчины и глины.

— Смотри на часы, инженер.

— Двадцать минут пятого.

— Видал темпы: тютелька в тютельку к началу артподготовки. Табак есть?

Я даю ему закурить. Он вытирает рукавом лицо. Оно становится полосатым, как тюфяк.

— Ну и медведь этот Тугиев. Взвалит полрельса на плечо и хоть бы хны... Знаешь, откуда таскали? Почти от самого Мясокомбината. Порвали их толом на части — и на собственных плечиках. На, пощупай, как подушка стало. Курортик что надо — Сочи, Мацеста...

— Накатов сколько положил?

— Рельсов — два да старый еще, деревянный, был.

— Бугор получился?

— Да тут их, знаешь, сколько бугров? Что ни шаг, то землянка, а что ни землянка, то бугор.

— Раненых нет?

— Тугневская шинель... Три дырочки. А парень золото. Отметить надо. Точно огород дома копает. Постой... Началось, что ли?

Мы прислушиваемся. Из-за Волги доносятся первые залпы. Смотрю на часы. Четыре тридцать.

— Па-а-а щелям! — кричит Лисагор. — «Прицел ноль пять, по своим опять...» Крикни там, связист, саперам, чтоб сюда залезали.

Саперы втискиваются в блиндаж. Закуривают, цепляются друг за друга винтовками и лопатами.

— А где Тугнев?

— Там еще. Наверху.

— Видал? Песочком посыпает. Красоту наводит. Давай его сюда, Седельников. Снарядом голову еще сорвет.

Канонада усиливается. Сквозь плохо пригнанную дверь слышно, как шуршат снаряды над блиндажом. Гул разрывов заглушает выстрелы. Землянка дрожит. С потолка сыплется земля.

Лисагор толкает меня в бок.

— Ну, что? Людей домой пошлем? Пока не поздно. А то придет Абросимов — тогда точка. Всех в атаку погонит.

Людей, пожалуй, действительно надо отсылать, пока идет подготовка и немцы молчат. Так и делаем.

Не успевают они уйти, как являются майор, Абросимов и начальник разведки. Майор тяжело дышит — сердце, вероятно, не в порядке.

— Ну как, инженер, не угробит нас здесь? — добродушно, собрав морщинки вокруг глаз, спрашивает он. Лезет уже за своей трубкой.

— Думаю, нет, товарищ майор.

— Опять «думаю»... Штрафовать буду. По пятерке за каждое «думаю». Рельсы положил?

— Положил. В два ряда.

Подходит Абросимов. Губы сжаты. Глаза сощурены.

— А где Лисагор?

— Отдыхать пошел. С людьми.

— Отдыхать? Надо было здесь оставить. Нашли время отдыхать...

Я ничего не отвечаю. Хорошо, что я их во-время на берег отправил.

— А остальные где?

— По батальонам.

— Что делают?

— Проходы.

— Проверял?

— Проверял.

— А дивизионные что делают?

— В разведке.

— Почему вчера не разведали?

— Потому что сегодня приказ получили.

Абросимов жует губами. Глаза его, холодные и острые, смотрят неприветливо. Левый уголок рта слегка подергивается.

— Смотри, инженер, подорвутся — плохо тебе будет.

Мне не нравится его тон. Я отвечаю, что проходы отмечаются колышками и комбаты поставлены в известность. Абросимов больше ничего не говорит. Звонит по телефону в первый батальон.

Пушки грохочут все сильнее и сильнее. Разрывы и выстрелы сливаются в сплошной, ни на минуту не прекращающийся гул. Дверь поминутно хлопает. Ее привязывают проволокой.

— Хорошо работают, — говорит майор.

Где-то, совсем рядом, разрывается снаряд. С потолка сыплется земля. Лампа чуть не гаснет.

— Что и говорить — хорошо... — принужденно улыбается начальник разведки. — Вчера один ста двадцати двух чуть к самому Пожарскому — начальнику артиллерии — в блиндаж не залетел.

Майор тоже улыбается. Я — тоже. Но ощущение вообще не из приятных. Немецкая передовая метрах в пятидесяти от нас — для дальнобойной артиллерии радиус рассеивания довольно обычный.

Мы сидим и курим. В такие минуты трудно не курить.

Потом приходит дивизионный сапер-разведчик. Обнаружили и сняли восемнадцать мин — «эсок». Вывинтили взрыватели. Мины оставили на месте. Уходит.

Абросимов не отрывается от трубки.

Неужели немцы удержатся после такой подготовки?

Становится жарко. Бока у печки оранжево-красные. Я расстегиваюсь.

— Брось подкидывать, — говорит связисту майор. — Рассветает — по дыму стрелять будут.

Связист отползает в свой угол.

К шести канонада утихает. Каждую минуту смотрим на часы. Без четверти... Без десяти... Без пяти...

Абросимов прилип к трубке.

— Приготовиться!

Последние разрозненные выстрелы. Затем — тишина. Страшная и неестественная тишина. Наши кончили. Немцы еще не начали.

— Пошли! — кричит в трубку Абросимов.

Я прилипаю к амбразуре. На сером предрассветном небе смутно выделяются водонапорные баки, какие-то трубы, немецкие траншеи, подбитый танк. Правее — кусок наших окопов. Птица летит, медленно взмахивая крыльями. Говорят, птицы не боятся войны.

— Пошли! — орет в телефон Абросимов. Он бледен, и уголок его рта все время подергивается.

Левее меня майор. Тоже у амбразуры. Сопит трубкой. Меня почему-то знобит. Трясутся руки, и мурашки бегут по спине. От волнения, должно быть. Отсутствие дела страшнее всего.

Над нашими окопами появляются фигуры. Бегут... Ура-а-а-а... Прямо на баки... А-а-а-а...

Я даже не слышу, как начинает работать немецкий пулемет. Вижу только, как падают фигуры. Белые дымки минных разрывов. Еще один пулемет. Левее.

Разрывов все больше и больше. Белый, как вата, дым стелется по земле. Постепенно рассеивается. На серой обглоданной земле — люди. Их много. Одни ползут, другие лежат. Бегущих больше нет.

Майор сопит трубкой. Покашливает.

— Ни черта не подавили... Ни черта...

Абросимов звонит во второй, в третий батальон. Та же картина. Залегли. Пулеметы и минометы не дают головы поднять.

Майор отходит от амбразуры. Лицо у него какое-то отекшее, усталое.

— Полтора часа громыхали — и не взять... Так их, в корень... Живучие, черти...

Абросимов стоит с трубкой у уха, нога на ящике, перебирает нервными, сухими пальцами провод.

— Глянь-ка в амбразуру, инженер... Убитых много? Или по воронкам устроились?

Смотрю. Человек двенадцать лежат. Должно быть, убитые. Руки, ноги раскинуты. Остальных не видно. Пулемет сечет прямо по брустверу — только пыль клубится. Дело дрянь.

— Керженцев, — совсем тихо говорит майор.

— Я вас слушаю.

— Нечего тебе тут делать. Иди-ка в свой бывший батальон, к Ширяеву. Помоги... — И, посопев трубкой: — Там у вас ходы сообщения немецкие. Ширяев придумал, как их захватить. Ставьте пулеметы и секите во фланг фрицам...

Я поворачиваюсь.

— Вы что, к Ширяеву его посылаете? — спрашивает Абросимов, не отходя от телефона.

— Пускай идет. Нечего ему тут делать. В лоб все равно не возьмем.

— Возьмем! — как-то неестественно взвизгивает Абросимов и бросает трубку. Связист ловко хватает ее на лету и пристраивает к голове. — И в лоб возьмем, если по ямкам не будут прятаться. Вот, давай, Керженцев, во второй батальон — организуй там. А то думают-гадают, а толку никакого... «Огонь, видишь ли, сильный, подняться не дает...»

Обычно спокойные, холодные глаза его сейчас круглы, налиты кровью. Губа все дрожит.

— Подыми их, подыми! Залежались. Задницу оторвать не могут.

— Да ты не кипятись, Абросимов, — спокойно говорит майор и машет рукой: «Иди, мол».

Я ухожу. До ширяевского КП бегу стремглав, лавируя между разрывами. Немцы озлились, стреляют без разбора, лишь бы побольше. Ширяева нет, на передовой. Бегу туда. Нос к носу сталкиваюсь с ним у входа в землянку — ту самую, где сидели тогда в окружении.

— Как дела?

— Дела!.. Половины батальона уже нет.

— Перебили?

— А чорт его знает... Лежат... С Абросимовым повоюешь.

— А что?

У Ширяева на шее надуваются жилы.

— А то, что майор свое, а Абросимов свое... Договорились как будто с майором. Объяснил ему все честь-честью. Так, мол, и так. Ходы сообщения у меня с немцами общие.

— Знаю. Ну?

— Ну, и подготовил все ночью. Заложил заряды, чтобы проходы проделать... Те самые, что ты еще заделал. Расставил саперов. И — бац! Звонит Абросимов — никаких проходов, в атаку веди... Объясняю, что там пулеметы. «Плевать — артиллерия подавит, а немцы штыка боятся...» Вот...

— А у тебя сколько народу?

— Стрелков — шестьдесят с чем-то. Тридцать послал в атаку, тридцать оставил. Еще будет ругаться Абросимов. «Ты, говорит, массированный удар нанеси. Пулеметчиков и минометчиков только оставь. Саперов тоже гони...»

— А майор в курсе дела?

— А я знаю...

Ширяев с размаху плюхается на табуретку. Она трещит.

— Ну, что теперь делать? До вечера люди про-

валяются — не даст им фриц подняться. А этот опять сейчас начнет в телефон...

Я объясняю Ширяеву, что мне сказал майор. У него даже глаза загораются. Вскакивает, хватает меня за плечи, трясет, как грушу.

— Мирово! Ты тут посиди, а я сейчас с Карнауховым и Фарбером... Эх... как бы людей из воронок выковырять...

Хватает шапку.

— Если звонить будет — молчи! Пускай связист отвечает. Лешка, скажешь — на передовой. Понял? Это, если Абросимов позвонит.

Лешка понимающе кивает головой.

Только Ширяев дверью хлопнул, звонит Абросимов. Лешка лукаво подмигивает.

— Ушли, товарищ капитан... Только что ушли... Да, да, оба... Пришли и ушли.

Прикрыв рукою микрофон, смеется.

— Ругаются... Почему не позвонили ему, когда пришли.

Через полчаса у Ширяева все готово. В трех местах наши траншеи соединяются с немецкими — на сопке и в овраге. В каждой из них по два заминированных завала. Ночью Ширяев с приданными саперами протянул к ним детонирующие шнуры. Траншеи от нас до немцев проверены — снято около десятка мин.

Все в порядке. Ширяев хлопает себя по коленке.

— Тринадцать гавриков приползло обратно. Живем! Пускай отдыхают пока, стерегут. Остальных, по десять человек, на проход пустим. Не так уж плохо. А?

Глаза его блестят. Шапка — мохнатая, белая, на одно ухо, волосы прилипли ко лбу.

— Карнаухова и Фарбера по сопке пущу, а сам по оврагу.

— А управлять кто будет?

— Ты.

— Отставить. Я теперь не комбат, а инженер, представитель штаба.

— Ну так что же, что представитель. Вот и командуй.

— А ты Синдецкого в овраг пусти. Смелый парень, ничего не скажешь.

— Синдецкого? Молод все-таки. Впрочем...

Мы стоим в траншее у входа в блиндаж. Глаза у Ширяева вдруг сощуриваются, нос морщится. Хватает меня за руку.

— Елки-палки... Прется уже.

— Кто?

По скату оврага, хватаясь за кусты, карабкается Абросимов. За ним — связной.

Ширяев плюет и сдвигает шапку на бровь.

Абросимов еще издали кричит:

— Какого чорта я послал тебя сюда? Лясы точить, что ли?

Запыхавшийся, расстегнутый.

— Звоню, звоню... Хоть бы кто подошел... Думаете вы воевать или нет?

Он тяжело дышит. Облизывает языком запекшиеся губы.

— Я вас спрашиваю — думаете вы воевать или нет?

— Думаем, — спокойно отвечает Ширяев.

— Тогда воюйте, чорт вас забери... Какого дьявола ты здесь торчишь? Инженер еще... А я, как мальчик, бегай...

— Разрешите объяснить, — все так же спокойно, сдержанно, только ноздри дрожат, говорит Ширяев.

Абросимов багровеет.

— Я те объясню!

Хватается за кобуру.

— Шагом марш в атаку.

Я чувствую, как во мне что-то закипает. Ширяев тяжело дышит, наклонив голову вперед. Кулаки сжаты.

— Шагом марш в атаку! Слыхал? Больше повторять не буду...

В руках у него пистолет. Пальцы совершенно белые. Ни кровинки.

— Ни в какую атаку я не пойду, пока вы меня не выслушаете, — стиснув зубы и страшно медленно выговаривая каждое слово, произносит Ширяев.

Несколько секунд они смотрят друг другу в глаза. Сейчас сцепятся. Никогда я еще не видел Абросимова таким.

— Майор мне приказал завладеть теми траншеями. Я договорился с ним...

— В армии не договариваются, а выполняют приказания, — перебивает Абросимов. — Что я вам утром приказал?

— Керженцев только что подтвердил мне...

— Что я вам утром приказал?

— Атаковать.

— Где ваша атака?

— Захлебнулась, потому что...

— Я не спрашиваю, почему... — И, вдруг опять рассвирепев, взмахивает пистолетом. — Шагом марш в атаку! Пристрелю, как трусов! Приказание не выполнять!

Мне кажется, что он сейчас повалится и забьется в конвульсиях.

— Всех командиров вперед. И сам вперед. Покажу я вам, как свою шкуру спасать... Траншеи какие-то придумали себе... Три часа как приказание отдано...

Я больше не могу слушать. Поворачиваюсь и ухожу.

24

Пулемет нас сразу же укладывает. Бегущий рядом боец падает плашмя, широко растопырив перед собой руки. Я с разгону вскакиваю в свежую, еще пахнущую разрывом воронку. Обсыпает землей. Кто-то через меня перескакивает. Тоже падает. Быстро-быстро перебирая ногами, ползет куда-то в сторону. Пули свистят над самой землей, ударяются в песок, взвизгивают. Где-то, совсем рядом, рвутся мины.

Я лежу на боку, свернувшись комком, поджав ноги к самому подбородку. В правой руке у меня пи-

столет. Он весь в песке. Вечером Валега густо смазал его маслом. Утром я забыл его обтереть.

Никто уже не кричит «ура».

Где Ширяев? Мы почти одновременно выскочили из окопов. Я споткнулся и ухватился левой рукой за что-то железное, торчащее из земли. Потом я видел его шинель впереди, чуть правее. На ней было большое желтое пятно, — она сразу бросается в глаза.

Немецкие пулеметы ни на секунду не умолкают. Совершенно отчетливо можно разобрать, как пулеметчик поворачивает пулемет: веером — справа налево, слева направо.

Прижимаюсь изо всех сил к земле. Воронка довольно большая, но левое плечо, по-моему, все-таки выглядывает. Руками раскапываю землю. От разрыва она мягкая, поддается довольно легко. Но это только верхний слой — дальше пойдет глина. Я лихорадочно, как собака, скребу землю.

Тр-рах! Мина. Меня всего обсыпает землей.

Тр-рах! Вторая. Потом третья, четвертая. Закрываю глаза и перестаю копать. Заметили, вероятно, как я выкидываю землю.

Лежу, затаив дыхание. Левее кто-то стонет. А-а-а-а... Больше ничего, только: а-а-а-а... Равномерно, без всякой интонации, на одной ноте. Я не знаю, сколько времени я так лежу. Боюсь шелохнуться. Во рту полно земли. Скрипит на зубах. И кругом — земля. Кроме земли, ничего не вижу. Сверху — серая, мелкая, как пудра, а ниже глина — красновато-бурая, потрескавшаяся. Ни травы, ни сучка. Только пыль и глина. Хоть бы червяк какой-нибудь появился. Если повернуть голову, видно небо. Оно тоже какое-то гладкое, серое, неприветливое. Вероятно, снег или дождь пойдет. Скорее снег — у меня мерзнут пальцы на ногах.

Пулемет начинает стрелять с перерывами, но все еще низко, над самой землей. Совершенно не могу понять, почему я цел — не ранен, не убит. За пятьдесят метров лезть на пулемет — верная смерть. Первыми выскочили Ширяев, Карнаухов, Синдецкий и я. И еще один, командир взвода, из новеньких. Я запом-

нил только, что у него из-под шапки выбивалась совершенно седая прядь волос. Фарбера я что-то не видел.

Очевидно, я очень немного пробежал и сразу лег. Я не могу вспомнить, что заставило меня лечь. Как-то сразу все опустело кругом. Было много — и вдруг никого. Должно быть, инстинкт. Страшно стало одному. Впрочем, я не помню, было ли мне страшно. Я даже не помню, как и почему оказался в этой воронке.

От неудобного положения правую ногу схватывает судорога. Сначала икру, потом ступню, потом длинное сухожилие, идущее из-под колена, вдоль бедра, вверх. Переворачиваюсь на другой бок. Пытаюсь вытянуть ногу. Но ее некуда вытянуть — из воронки я боюсь высовываться. Я растираю ладонями, шевелю пальцами. Икра никак не проходит — мешает голенище.

Раненый все еще стонет. Без всякого перерыва, но уже тише.

Немцы переносят огонь в глубину обороны. Разрывы слышны уже далеко за спиной. Пули летят значительно выше. Нас решили оставить в покое. Слегка высовываю шапку из воронки. Не стреляют. Еще немножко. Не стреляют. Опершись на руки, выглядываю одним глазом. До немцев — рукой подать. Можно камнем докинуть до стоящих перед их окопами рогаток. Пулемет как раз против меня.

Делаю из земли небольшой валик в сторону немцев. Теперь можно и кругом и назад посмотреть — меня не увидят.

До наших окопов дальше, чем до немецких. Метров тридцать, а то и больше. Кто-то пробегает по ним, согнувшись, — видны только мотающиеся сверху наушники. Скрывается. Бежавший рядом со мной боец так и лежит, раскинув руки. Лицо его повернуто ко мне. Глаза раскрыты. Кажется, что он приложил ухо к земле и прислушивается к чему-то. В нескольких шагах от него — другой. Видны только ноги в толстых суконных обмотках и желтых ботинках.

Всего насчитываю четырнадцать трупов. Некото-

рые, вероятно, от утренней атаки остались. Ни Ширяева, ни Карнаухова среди них не видно. Я бы их сразу узнал. Вокруг много воронок — больших и маленьких. В одной что-то чернеет. Потом исчезает.

Раненый все стонет. Он лежит в нескольких шагах от моей воронки, ничком, головой ко мне. Шапка рядом. Волосы черные, вьющиеся, страшно знакомые. Руки согнуты, прижаты к телу. Он ползет. Медленно, медленно ползет, не подымая головы. На одних локтях. Ноги беспомощно волочатся. И все время стонет. Совсем тихо. А-а-а-а...

Я не отрываю от него глаз. Я не знаю, как ему помочь. У меня даже индивидуального пакета нет с собой.

Он совсем уже рядом. Рукой можно дотянуться.

— Давай, давай сюда, — шепчу я и протягиваю руку.

Голова приподнимается. Черные, большие, уже затянутые предсмертной мутью глаза. Харламов, мой бывший начальник штаба... Смотрит и не узнает. На лице никакого страдания. Какое-то отупение. Лоб, щеки, зубы в земле. Рот приоткрыт. Губы белые.

— Давай, давай сюда...

Упершись локтями о землю, он подползает к самой воронке. Утыкается лицом в землю. Просунув руки ему подмышки, вволакиваю его в воронку. Он какой-то мягкий, без костей. Валится головой вперед. Ноги совершенно безжизненны.

С трудом укладываю его. Двоим тесно в воронке. Приходится его ноги класть на свои. Он лежит, закинув голову назад, смотрит в небо. Тяжело и редко дышит. Гимнастерка и верхняя часть брюк в крови. Расстегиваю ему пояс. Подымаю рубаху. Две маленькие аккуратные дырочки в правой стороне живота. Я понимаю, что он умрет.

Он поворачивает голову в мою сторону. Губы его шевелятся, что-то говорят. Я могу разобрать только: «Товарищ лейтенант... товарищ лейтенант...» Мне кажется, он все-таки узнал меня. Потом откидывает голову и уже больше не подымает. Умирает он совершенно спокойно. Просто перестает дышать.

Я закрываю ему глаза. Строгое, вытянувшееся сразу лицо его прикрываю шапкой.

Он очень боялся смерти...

Начинает падать снег. Сначала мелкий, потом большими мохнатыми хлопьями. Все вокруг становится вдруг сразу белым — земля, лежащие люди, брустверы окопов. Руки и ноги начинают мерзнуть. Уши — тоже... Подымаю воротник.

Немцы стреляют. Наши отвечают. Пули свистят над головой.

Так мы лежим — я и Харламов, холодный, вытянувшийся, с нетающими на руках снежинками. Часы остановились. Я не могу определить, сколько времени мы лежим. Ноги и руки затекают. Опять схватывает судорога. Сколько можно так лежать? Может, просто вскочить и побежать?.. Тридцать метров — пять секунд самое большое, пока пулеметчик спохватится. Выбежали же утром тринадцать человек...

В соседней воронке кто-то ворочается. На фоне белого, начинающего уже таять снега шевелится серое пятно ушанки. На секунду появляется голова. Скрывается. Опять показывается. Потом вдруг сразу из воронки выскакивает человек и бежит. Быстро-быстро, прижав руки к бокам, согнувшись, высоко подкидывая ноги.

Он пробегает три четверти пути. До окопов остается каких-нибудь восемь-десять метров. Его скашивает пулемет. Он делает еще несколько шагов, падает головой вперед. Так и остается лежать в трех шагах от наших окопов. Некоторое время еще темнеет шинель на снегу, потом и она становится белой. Снег все идет и идет...

Потом еще трое бегут. Один в короткой фуфайке. Шинель, должно быть, скинул, чтобы легче бежать было. Его убивает почти на самом бруствере. Второго — в нескольких шагах от него. Третьему удается вскочить в окоп. С немецкой стороны пулемет долго еще сажает пулю за пулей в то место, где скрылся боец.

Я каблуками вырываю углубление в воронке. Теперь можно вытянуть ноги. Еще одно углубление —

для ног Харламова. Они уже окостенели и не разгибаются в колеях. Кое-как я их все-таки впихиваю туда. Теперь мы лежим рядом, вытянувшись во весь рост. Я на боку, он на спине. Похоже, что он спит, прикрыв лицо шапкой от снега.

Работа меня немного согревает. Я укладываюсь на левый бок, чтоб не видеть Харламова. Под бедром тоже немножко раскапываю, — так удобнее лежать. Теперь хорошо. Лишь бы только наши дальнобойки не открыли огонь по немецкой передовой... И покурить бы... Хоть три затяжки. Табак я забыл у Ширяева в блиндаже. Только спички тарахтят в кармане.

Меня клонит ко сну. Снег подо мной тает. Серая пыль превращается в грязь. Колени промокли. И голова мерзнет. Я снимаю с Харламова шапку и накрываю лицо ему носовым платком. Чищу пистолет, чтобы не заснуть. В нем оказывается всего четыре патрона. Запасной обоймы нет...

Который сейчас может быть час? Вероятно, уже больше двенадцати... А темнеет только в шесть. Еще шесть часов лежать... Шесть часов — целая вечность...

Я опускаю наушники и закрываю глаза. Чорт с ним! Будь что будет...

Сон не идет. Мне все время кажется, что Харламов шевелится за моей спиной. Я вспоминаю, что надо у него забрать документы. Это не так легко — они у него в заднем брючном кармане. Помню, что он вынимал кандидатскую карточку, когда платил членские взносы, из заднего кармана. Я вожусь долго — Харламов стал тяжелым, точно прирос к земле. Но все-таки достаю. В маленькую клееночку аккуратно завернуты и зашпилены английской булавкой — кандидатская карточка, два письма, какая-то совсем почти истлевшая справка с расплывшимися чернилами и несколько фотографий. Фотографии завернуты отдельно. Я никогда не думал, что Харламов такой аккуратный. У меня в штабе он всегда все терял и забывал.

Я рассматриваю карточки. На одной Харламов с какой-то женщиной. У нее длинные вьющиеся волосы и широко расставленные глаза. Должно быть, жена.

На руках ребенок — такие же черные большие глаза, как у отца. На другой — она же, только одна, в берете. На третьей — компания на берегу реки. Смеются. Один парень с гитарой. Харламов в трусах, лежит на животе. Вдали поле и стог сена... На обороте написано: «Черкизово, июнь 1939 г. Вторая слева Мура».

Я заворачиваю все в клеенку, закалываю булавкой и кладу в карман.

Маленький комочек глины ударяет мне в ухо. Вздрагиваю. Второй падает рядом, около колена. Кто-то кидает в меня. Приподнимаю голову. Из соседней воронки выглядывает широкоскулое небритое лицо.

— Браток... спички есть? Или «катюша»?

— Есть.

— Кинь, бога ради...

— «Сороковку» оставишь?

— Ладно.

Я кидаю коробок. Он не долетает шага на два. Фу ты, чорт... Сидящий в воронке протягивает руки. Нет, не дотянулся... Мы оба не сводим с коробка глаз. Маленький, чернобокий, он лежит на снегу и точно смеется над нами. Потом появляется винтовка. Медленно, осторожно высовывается из воронки, движется по снегу, тычется в коробок. Вся эта операция тянется целую вечность. Коробок скользит, отодвигается, никак не хочет зацепиться за мушку. У хозяина винтовки от напряжения даже рот раскрывается. В конце концов он все-таки зацепляет. Голова и винтовка исчезают. Над воронкой появляется легкий дымок.

— Поосторожней... — шепчу я, но, по-моему, он меня не слышит.

Он курит добрых полчаса, никак не меньше. У меня даже голова кружится от желания и зависти. Потом коробок возвращается ко мне с крохотным, обслюненным окурком внутри. Я его сосу, сосу, что есть мочи. Все губы обжигаю.

— Боец! Часов нет у тебя? — спрашиваю шопотом.

— Без четверти двенадцать... — доносится из воронки.

Я ушам не верю... Думал, что уже два или три, а тут еще двенадцати нет... В довершение всего опять начинается обстрел. Наш или немецкий — чорт его знает! Снаряды рвутся совсем рядом. Минут десять или пятнадцать. Потом перерыв. Потом опять налет.

Надо бежать. Ждать — еще шесть часов. Не выдержу. Убьют так убьют — от смерти не спасешься...

Из воронки опять хрипит:

— Друг... э-э-э... друг...

— Чего тебе?

— Давай драпать.

Тоже не выдержал.

— Давай, — отвечаю я.

Мы идем на маленькую хитрость. Предыдущих трех убило почти у самого бруствера. Надо упасть, не добегая до наших окопов. К моменту очереди мы будем лежать. Потом одним рывком прямо в окопы. Может, повезет. Переворачиваюсь в сторону наших окопов. Лишь бы опять судорога не схватила. Местность впереди ровная — только одна воронка небольшая и убитый рядом.

— Ну, готов?

— Готов...

Упираюсь левой ногой, правая согнута в колене. Последний раз смотрю на Харламова. Он спокойно лежит, согнув колени. Руки на животе. Ему уже ничего не нужно...

— Пошел!

— Пошел.

Снег... Воронка... Убитый... Опять снег... Валюсь на землю... И почти сразу же... — та-та-та-та-та... Не дышу... Та-та-та-та-та... Лежу... Та-та-та-та-та...

— Жив?

— Жив...

Лежу лицом в снег. Руки раскинуты. Левая нога под животом — легче вскакивать будет. До окопов пять или шесть шагов. Уголком глаза пожираю этот клочок земли.

Надо выждать минуты две или три, чтоб успокоился пулеметчик. Сейчас он уже в нас не попадет — мы слишком низко.

Слышно, как кто-то ходит по окопам, разговаривает. Слов не слышно... Ну, пора...

— Приготовься, — не подымая головы, в снег, говорю я.

— Есть, — отвечает слева.

Я весь напрягаюсь. В висках стучит.

— Давай!

Отталкиваюсь. Три прыжка — и в окопе...

Мы долго еще сидим прямо в грязи, на дне окопа, и смеемся. Кто-то дает окурок.

Оказывается, уже пять часов. Часы у бойца тоже стали. Мы пролежали в воронке с семи до пяти — десять часов. Только сейчас чувствую, что бешено, сверхъестественно хочу есть.

Утром мы хороним товарищей — Харламова, Синдецкого и командира взвода с седой прядью. Ночью их тела выносят с поля боя санитары. Карнаухова так и не нашли. Говорят, видали, как он с четырьмя бойцами ворвался в немецкие окопы. Там, повидимому, и погиб.

Ширяев приполз сам — залитый кровью, с беспомощно болтающейся рукой. Еле перевалился через бруствер и сразу же потерял сознание. Отправили в санчасть. Я зашел туда. Полчаса назад его отвезли в медсанбат на ту сторону.

Всего батальон потерял двадцать шесть человек — почти половину, не считая раненых.

Команду над батальоном принял Фарбер. Он, единственный из всех командиров, не участвовал в атаке. Абросимов оставил его при себе.

Хороним товарищей над самой Волгой.

Простые гробы из сосновых неотесанных досок. Свинцовые тяжелые тучи бегут над головой. Хлопает полами шинели ветер. Мокрый противный снег забивается за воротники. Плывут льдины по Волге — осеннее сало.

Темнеют три ямы.

Просто как-то все это здесь на фронте. Был вче-

ра — сегодня нет. А завтра, может, и тебя не будет. И так же глухо будет падать земля на крышку твоего гроба. А может, и гроба не будет, а занесет тебя снегом, и будешь лежать, уткнувшись лицом в землю, пока война не кончится...

Три маленьких рыженьких холмика вырастают над Волгой. Три серых ушанки. Три колышка. Салют — сухая, мелкая дробь автомата. Точно эхо, гудят дальнобойки за Волгой. Минута молчания. Саперы собирают лопаты, подправляют могилы.

И это все.

Мы уходим.

Ни одному из них не было больше двадцати четырех лет. Карнаухову — двадцать пять.

Так и не прочел он мне свои стихи. Они у меня сейчас в кармане — вместе с письмом матери и Люсиной карточкой. Простые, ясные, чистые — такие, каким он был сам.

...Ты от этой земляники низкой
Так далеко, как мир иной,
Мне ж такою видишься близкой,
Будто вот — держусь рукой...

Вижу, как шевелятся ветви,
Молодой шумит березняк,
Как твоими косами ветер
Оплетает, вяжет меня.

Портрет Лондона я вешаю над столиком, ниже зеркала. Они немного даже похожи — Лондон и Карнаухов.

В последний раз я говорил с Карнауховым минуты за три до начала атаки. Он сидел на корточках в углу траншеи и прилаживал капсюли к гранатам. Я что-то спросил его — не помню что. Он поднял голову, и впервые я не увидел в глазах улыбки — глубокой, где-то на самом дне глаз, — той тихой улыбки, которая так нравилась мне. Он что-то ответил, и я ушел. Больше я его не видел.

Я долго лежу, уткнувшись лицом в подушку.

Приходит Лисагор. Садится на свою койку, подобрав ноги. Сопит. Молча курит, опершись подбородком о колени.

— Судить, говорят, Абросимова будут, — мрачно говорит он, сплевывая через колени на пол.

— Кто сказал?

— Писарь Ладыгин слыхал.

— Брехун...

— Брехун, да не всегда. Трется все-таки около начальства.

— Ты что — в штабе был?

— В штабе.

— Что там?

— Ничего. Как всегда. Астафьев схемы разрисовывает. Спрашивал, сколько у нас человек. Соврал — сказал, что двенадцать. С ним тоже надо ухо востро держать. Чернильная душа.

— Майора не видел?

— Заскочил на минутку. Сумрачный, невеселый, список потерь у Ладыгина взял...

— Эх... выпить бы сейчас...

Вечером в комсоставской столовой майор останавливает меня.

— Подготовься к завтрему, инженер...

Я не понимаю.

— К чему?

Майор попыхивает трубкой, не слышит. Осунулся, побледнел.

— К чему? — повторяю я.

Он медленно поднимает голову.

— Расскажешь того... как это все было... там, на сопке, — и уходит, опираясь на палку. Он до сих пор еще прихрамывает.

Я больше не спрашиваю. Все ясно.

Ладыгин — штабной писарь, первый болтун в полку — рассказывает, что майора и Абросимова вызывали в штадив и что они три часа там пропадали. Потом Абросимов как заперся в своем блиндаже, так до сих пор и не выходит. Обед и ужин назад отослал.

— Связной его на складе ПФС чего-то околачивался. Потом рысью в блиндаж — всё карманы руками придерживал. Утром как раз водку получили.

И ои подмигивает иаглым зеленым глазом.

25

На суд я опаздываю. Прихожу, когда уже говорит майор. В трубе второго батальона — это самое вместительное помещение на иашем участке — накуреио так, что лиц почти не видно. Абросимов сидит у стеики. Губы сжаты, белые, сухие. Глаза — в стенку.

Астафьев, секретарь, шуршит бумагами, перекладывает, пробует чернила иа уголке. Рядом с ним еще двое — начальник разведки и командир роты ПТР. Суд чести. Майор стоит, опершись руками на стол. За эти сутки постарел лет на десять. Время от времени подиосит к губам стакан с чаем и пьет маленькими иервными глотками. Говорит тихо. Так тихо, что из коица трубы не слышно. Я пробираюсь вперед.

— Нельзя на войне без доверия, — говорит он, — мало одной храбрости. И знаний мало. Нужна еще и вера. Вера в людей, с которыми ты вместе воюешь. Без этого никак нельзя...

Он расстегивает воротник. В трубе жарко. Мне кажется, что у него слегка дрожат пальцы, отстегивающие крючки.

— С Абросимовым мы прошли большой путь. Большой боевой путь — Орел, Касторная, Воронеж... Здесь вот уже сколько сидим... И я верил ему. Зиал, что ои молод, неопытеи, может быть иа войне только учится, знал, что может ошибки делать, — кто из иас не ошибался, но верить — я ему верил. Нельзя не верить своему начальиику штаба.

Повериув голову, ои долгим, тяжелым взглядом глядит иа Абросимова.

— Я знаю, что сам виноват. За людей отвечаю я, а ие начальник штаба. И за эту операцию отвечаю я. И когда комдив кричал сегодня на Абросимова, я знал, что это ои и на меия кричит. И он прав, —

майор проводит рукой по волосам, обводит всех иас усталым взглядом. — Не бывает войны без жертв. На это и войиа. Но то, что произошло во втором батальоне вчера, — это уже не войиа. Это истреблеиие. Абросимов превысил свою власть. Ои отменил мой приказ. И отмеиил дважды. Утром — по телефону, и потом сам, погнав людей в атаку...

— Приказаио было атаковать баки, — сухим, деревяиным голосом прерывает Абросимов, не отрывая глаз от стеики. — А люди в атаку ие шли...

— Врешь! — майор ударяет кулаком по столу так, что ложка в стакане дребезжит. Но тут же сдерживается. Отхлебывает из стакана. — Шли люди в атаку... Но не так, как тебе этого хотелось. Люди шли с головой, обдумавши. А ты что сделал? Ты видел, к чему привела первая атака? Но там иельзя было иначе. Мы рассчитывали иа артподготовку. Нужио было сразу же ударить, ие давая противнику опомииться. И ие вышло. Противиик оказался сильиее и хитрее, чем мы думали. Нам ие удалось подавить его огневые точки. Я послал инжеиера во второй батальон. Там был Ширяев — пареиь с головой. Он с ночи еще все заготовил, чтобы захватить иемецкие окопы. И по-умному заготовил. А ты... а Абросимов что сделал?

У Абросимова иачииает подергиваться губа.

Обычио добродушиое, мягкое лицо Бородииа стаиовится красным, щеки трясутся.

— Я знаю, как ты кричал там... Как пистолетом размахивал.

Он отпивает еще чай из стакаиа.

— Приказ иа войие свят. Невыполиение приказа — преступлеиие. И выполняется всегда последнее приказание. И люди его выполиили, и лежат сейчас перед нашими окопами. А Абросимов сидит здесь. Он обманул своего командира полка. Ои превысил власть. А люди погибли... Все. По-моему, достаточио.

Майор тяжело опускается на табуретку.

Абросимов как сидел, так и сидит — руки на ко-

ленях, глаза в стенку. Астафьев, наклонив голову, что-то старательно и быстро пишет.

Говорят еще несколько человек. Потом — я. За мной — Абросимов. Он краток. Он считает, что баки можно было взять только массированной атакой. Вот и все. И он потребовал, чтобы эту атаку осуществили. Комбаты берегут людей, поэтому не любят атак. Баки можно было только атакой взять. И он не виноват, что люди недобросовестно к этому отнеслись, струсили...

— Струсили? — раздается откуда-то из глубины трубы.

Все оборачиваются. Неуклюжий, на голову выше всех окружающих, в короткой смешной шинелишке своей протискивается к столу Фарбер.

— Струсили, говорите вы? Ширяев струсил? Карнаухов струсил? Это вы о них говорите?

Фарбер задыхается, моргает подслеповатыми глазами — очки он вчера разбил, — щурится.

— Я все видал... Собственными глазами видал... Как Ширяев шел... И Карнаухов и... все... Я не умею говорить... Я их недавно знаю, Карнаухова и других... Как у вас только язык поворачивается! Храбрость не в том, чтоб с голой грудью на пулеметы лезть... Абросимов... капитан Абросимов говорил, что приказано было атаковать баки. Не атаковать, а овладеть. Траншеи, придуманные Ширяевым, — не трусость. Это прием. Правильный прием. Он сберег бы людей... Сберег, чтоб они могли воевать. Сейчас их нет... И я считаю... — Голос у него срывается, он ищет стакан, не находит, машет рукой. — Я считаю... нельзя таким людям... нельзя им командовать...

Фарбер не находит слов, сбивается, краснеет, опять ищет стакан и вдруг сразу выпаливает:

— Вы сами — трус. Вы не пошли в атаку. И меня еще при себе держали. Я все видел... — И, дернув плечом, цепляясь крючками шинели за соседей, протискивается назад.

Я выхожу вслед за ним на двор. Он стоит, прислонившись к трубе.

— Хорошо говорили, Фарбер.

Он вздрагивает.

— Какое там хорошо! Все спуталось в голове. Как посмотрю на него, так, знаете... И сидит себе спокойно, огрызается еще. И ведь не пьян же тогда был. Пьяному море по колено... А он... Нет... Не то все это...

Он тяжело дышит.

— Последних моих двух стариков убило — Ермака и Переверзева. Вы их не помните? Один — моряк, другой комбайнер, кажется. Неразлучные друзья. Спали, пили, ели вместе. Да вы знаете их... Фокусник один из них был.

— А тот, молоденький командир взвода, забыл его фамилию, с седой прядью, — ваш был?

— Калабин? Командир пульроты. Мальчик совсем еще. И недели у нас не пробыл. Из госпиталя прибыл — все рассказывал, как манной кашей их там закармливали...

— Новых командиров не прислали еще?

— Командиров рот из первого и третьего батальона прислали. А на взводы сержантов пока поставил. Адъютанта старшего пока нет.

— Без адъютанта трудновато, — соглашаюсь я.

Почему-то я совершенно спокоен сейчас за Фарбера. В его манере говорить, в общем тоне появились какие-то новые, твердые нотки. Раньше их не было.

— А что с Ширяевым? Так и не узнали точно?

— Кажется, не очень серьезно. Череп цел, а с рукой — не знаю. Крови мало было, но болталась, как тряпка.

— Правая?

— Нет, левая.

— И то хорошо...

— Не хотел уходить. Ругался. Все равно, говорит, вернусь. Хотите или не хотите, а вернусь. И с Абросимовым хоть на краю света, а встречусь.

— Не завидую Абросимову — кулачок у Ширяева дай бог...

Мы еще некоторое время разговариваем, потом Фарбер возвращается в трубу. Я ухожу к себе. Мне не хочется больше на суд.

Валега поджаривает хлеб на масле. В углу шумит самовар.

Я снимаю сапоги, гимнастерку, вытягиваюсь на койке.

— Вы чай или кофе будете? — спрашивает Валега.

— А кофе с чем?

— С молоком американским.

— Тогда кофе.

Валега уходит толочь зерна. Шипит масло на сковородке. Я вынимаю и перечитываю стихи Карнаухова.

Потом приходит Лисагор. Хлопает дверью. Заглядывает в сковородку. Останавливается около меня.

— Ну? — спрашиваю я.

— Ходатайствовать о разжаловании и в штрафную...

— Мало.

— Ничего. Пускай поползает на брюхе. Полезно. Валега ужин готовит?

— Кофе пошел делать.

Больше об Абросимове мы не говорим. На следующий день он уходит, ни с кем не простившись, с мешком за плечами.

Больше я никогда его не видел и никогда о нем не слыхал.

26

Ночью приходят танки. Шесть стареньких, латаных-перелатанных тридцать-четверок. Долго фырчат, лязгают гусеницами по берегу, маскируются. Сразу как-то веселей становится.

Мы их давно уже ждем. Дней десять носятся слухи. Говорили, целая танковая дивизия идет из тыла, прямо с завода. Потом уменьшили до полка, до батальона. Приходят же всего шесть видавших виды старушек — и не из тыла, а с «Красного Октября», где они воюют чуть ли не с первого дня обороны. Но все-таки — это танки, техника... И вид у них довольно грозный.

К утру они должны быть уже на передовой. Майор приказывает мне просмотреть и подготовить дорогу

для них. Придется подорвать две железнодорожные платформы, загораживающие путь у шлагбаума. Посылаю туда Лисагора и Агнивцева.

Трое танкистов заходят ко мне погреться — два лейтенанта и сержант, черные, грязные, промасленные с головы до ног.

— Поесть ничего нет? — спрашивает старший, с испещренным шрамами лицом, — обгорел, должно быть. — С утра во рту ничего не было.

Валега с кислой миной вытягивает остатки именинного зайца. Они с аппетитом уплетают его за обе щеки.

— Ну как? Воюете? — спрашивают.

— Воюем понемножку, — отвечаю я.

— Баков до сих пор не взяли?

— Баков не взяли... Чорта с два возьмешь голыми руками.

Танкисты пересмеиваются.

— На нас надеетесь?

— А на кого ж? Век техники все-таки...

Лейтенант с густой, небритой, чуть не до глаз бородой смеется.

— А знаешь, где эта техника только не перебывала?

— По машинам видно, что поработали основательно. На Юго-Западном были?

— Ты спроси — где не были?

— Под Харьковом были?

— Под Харьковом? А ты что — был там?

— Был.

— Непокрытую, Терновую — знаешь?

— Еще бы! Мы там в наступление шли.

— Тоже шли... Из-за вас, пехтуры, и Харьков прозевали. Мы на Тракторном уже были... Зайца нет больше?

— Весь. Шкура только осталась.

— Жаль. А то спирт у нас есть.

— А мы сообразим что-нибудь.

Посылаю Валегу к Чумаку.

— Скажи, чтоб приходил. И закуску тащил с собой. У вас сколько спирту?

— Хватит. Не беспокойся.

Валега уходит. Сержант тоже.

— А вы, как боги, живете, — говорит лейтенант со шрамами, указывая глазами на толстого амурчика на зеркале, — как паны...

— Да, на жилплощадь пожаловаться не можем.

— И книжечки почитываете?

— Бывает...

Он перелистывает «Мартина Идена».

— Я уж не помню, когда читал. В Перемышле, что ли? В субботу перед войной. Читать, вероятно, уже разучился, — и смеется. — После войны придется заново учиться...

Приходит Чумак. Заспанный, почесывающийся, в волосах — пух.

— Инженер называется... Посреди ночи водку пить... Придет же в голову. На, бери.

Он вынимает из-под бушлата два круга колбасы и буханку хлеба.

— Валега твой пошел за моим старшиной. Тушонки притащит.

Смотрит на танкистов.

— Ваши коробки на берегу?

— А чьи же?

— Я бы и сесть на них постыдился. До передовой не доберутся — рассыплются.

Бородатый обижается:

— А это уж наше дело.

— Конечно, не мое. Мое дело — водку пить и танкистов ругать, что воюют плохо.

— А ты кто?

— Я? А ты инженера спроси. Он тебе скажет.

— Разведчик, должно быть. По морде видать.

— По какой такой морде?.. — Чумак сжимает кулак.

— Поосторожнее, малый. Спирт-то чей будешь пить?

— А что? Ваш?

— Наш.

— Тогда все. Молчу. И про танки беру обратно. Возьмете завтра баки. На таких машинах — и не взять?..

Танкисты смеются. Чумак потягивается, хрустит пальцами. Бородатый смотрит на часы.

— Куда ж это Приходько запропастился?

— Бачки отвязывает, должно быть. Или посуду ищет. А вода у тебя есть, инженер? А то крепкий — девяносто шесть...

— За водой остановки не будет. Волга — под боком.

— Вы что, завтра в атаку? — спрашивает Чумак.

— Велено стать на исходные, а там посмотрим.

— Навряд ли завтра. Нам ничего еще не говорили.

— Скажут еще.

— Если не завтра, — задумчиво ковыряя ножом стол, говорит Чумак, — фрицы вас за день прямой наводочкой, знаешь, как разделают?..

— Там, говорят, склон — не видно будто.

— Говорят, говорят... А «мессера» зачем?

— А противотанковой артиллерии много у них, у фрицев? — настораживается бородатый.

— На вас хватит.

В коридоре что-то с грохотом летит. Кто-то ругается. Потом вваливается сержант, нагруженный фляжками.

— Кой чорт у вас там лопаты раскидал! Чуть все фляжки не пококал.

Он кладет фляжки на койку. Поворачивается — сияющий, веселый.

— Что мне за новость будет?

— Какую новость?

— Мировую. Скажите, что будет, — расскажу.

— Сто граммов лишних, — морщится Чумак, пробуя спирт на язык. — Силен, чорт...

— Мало.

— Тогда держи при себе. Все равно после первой стопки разболтаешь. Давай кружки, инженер.

Я подаю кружки. Их всего две. Придется по очереди. Чумак разливает. Льет воду из чайника.

— Ну, что за новость? — спрашивает лейтенант со шрамами.

— Сказал, что мировая... В шестнадцатой машине передачу только что слушал...

— Гитлер сдох, что ли?

— Почище...

— Война кончилась?

— Наоборот... началась только... — и, выдержав паузу: — Наши Калач заняли! Потом эту, как ее, Кривую... Кривую...

— Кривую Музгу?

— Музгу... Музгу. И еще что-то... На Г...

— Неужто Абганерово?

— Вот, вот... Абганерово...

— А ты не врешь?

— Зачем врать! Тринадцать тысяч пленных... Четырнадцать тысяч убитых!

— Здорово!

— Когда же это?

— Да вот за эти три дня... Калач, Абганерово и еще что-то. Целая куча названий.

— Ну, все. Фрицам — капут!

Чумак так ударяет меня ладонью промеж лопаток, что я чуть не проглатываю язык.

— За капут, хлопцы!

И мы пьем все сразу — из кружек, из фляжек, запивая водой прямо из носика чайника.

— Вот дела! Вино хлещут!..

В дверях — Лисагор. Даже рот раскрыл от удивления.

— Я там вагоны рву, а они водку дуют...

Протягиваю ему кружку. Он залпом выпивает. Закрывает глаза, крякает. Ощупью берет корку хлеба. Нюхает.

— Разлагаетесь, а в пять наступление... Знаете? Батальонам уже завтрак повезли.

— Ч-чо-орт...

— Посмотрите, что на берегу делается.

Танкисты срываются, не дожевав колбасу.

— Ширяев уже ругался, что с проходами задерживаем.

— Какой Ширяев?

— Как какой? Начальник штаба. Старший лейтенант.

— Господи... Откуда ж он взялся?

— Всю войну так прозеваете, — смеется Лисагор. — Из медсанбата прибежал. Разоряется уже там на берегу.

Чумак выбегает за дверь.

Я натягиваю сапоги. Ищу пистолет. Смотрю на часы. Без четверти три.

— Проходы сделал?

— Сделал.

— На всю ширину?

— На всю. Как миленькие, проедут...

Танкисты уже заводят моторы, суетятся. Весь берег — белый. Опять снег пошел. Откуда-то слева доносится голос Ширяева. Кричит на кого-то.

— Чтоб через пять минут пришел и доложил. Понятно? Раз-два...

Пробегает Чумак, застегивая на ходу бушлат.

— Дает дрозда новый начальник штаба. Держись только, инженер...

Ширяев стоит у входа в штабную землянку. Рука забинтована, в косынке. Белеет бинт из-под ушанки. Увидев меня, машет здоровой рукой.

— Галопом на передовую, Юрка! Танкистам помогать... Никто не знает, где там ваши проходы.

— Как рука? — спрашиваю.

— Потом, потом... Двигай... Два часа осталось.

— Есть, товарищ старший лейтенант. Разрешите итти?

— Двигай, чорт полосатый... А Лисагора — ко мне...

Я козыряю, поворачиваюсь через левое плечо, прищелкиваю каблуком, руку от козырька отрываю с первым шагом.

— Отставить! Два часа строевой...

Холодная, крепкая снежка влепляется прямо в затылок. Рассыпается, забирается за шиворот.

Я вскакиваю на переднюю машину. Валега уже там — прицепляет фляжку к поясу.

Один за другим вытягиваются танки вдоль берега.

Минуют шлагбаум, взорванные платформы. Выезжают на брусчатку. Сейчас немцы огонь откроют — танки неистово громыхают...

Медленно кружась в воздухе, падают снежинки.

Громадной тяжелой глыбой белеет впереди Мамаев курган.

До наступления остается час сорок минут.

27

Атака назначена на пять. Без двадцати пять прибегает запыхавшийся Гаркуша.

— Товарищ лейтенант...

— Ну, чего еще?

Он тяжело дышит, вытирает взмокший лоб ладонью.

— Разведчики вернулись...

— Ну?

— На мины напоролись...

— Какие мины?

— Немецкие. Как раз против левого прохода. Метров за пятьдесят. Какие-то незнакомые...

— Тьфу ты чорт... Чего ж они вчера смотрели?

— Говорят, не было вчера.

— Не было... Где этот Бухвостов?

— В пэтээровской землянке сидит.

— Ширяев! Позвони в штаб, чтоб сигнал задержали. Я сейчас...

Бухвостов — страшно рябой, щупленький командир разведвзвода саперного батальона — разводит руками.

— Сегодня ночью фрицы поставили. Ей-богу, сегодня ночью. Вчера собственными руками все обшарил — ничего не было. Ей-богу...

— Ей-богу, ей-богу... Чего раньше не доложил? Всегда в последнюю минуту. Много их там?

— Да штук десять будет. И какие-то незнакомые, первый раз вижу. Вроде наших помзов, но не совсем. Взрыватель где-то сбоку...

— Гаркуша, тащи маскхалаты. А ты поведешь.

На наше счастье, луны нет. Ползем через танковый проход, отмеченный колышками. Рябой сержант, Гаркуша, я. Мелькают перед носом подбитые подковами гаркушинские каблуки. Проползаем за линию наших минных полей. Кругом белым-бело. Темнеет впереди линия немецких траншей. Сержант останавливается. Молча указывает рукавицей на что-то чернеющее в снегу... Помза. Самая обыкновенная помза — насеченная болванка, взрыватель и шнурок. А сбоку — добавочный колышек, чтоб крепче стояла. А он его за взрыватель принял. Шляпа, а не разведчик...

Гаркуша, лежа на животе, ловко, один за другим, выкручивает взрыватели. У меня замерзли руки, и я с трудом отвинчиваю только два. Сержант сопит.

Пш-ш-ш-ш... Ракета...

Замираем. Моментально пересыхает во рту. Сердце начинает биться, как бешеное. Увидят, сволочи...

Пш-ш-ш-ш... Вторая. Уголком глаза вижу, что сержант уже отполз от меня метров на десять. Что за человек! Сейчас увидят немцы.

Короткая очередь из пулемета...

Увидели.

Опять очередь...

Что-то со страшной силой ударяет меня в левую руку, потом в ногу. Зарываю голову в снег. Он холодный, приятный, забивается в рот, в нос, в уши... Как приятно... Хрустит в зубах, словно мороженое... А он говорил, что не помзы... Самые обыкновенные помзы. Только колышек сбоку. Чудак сержант, больше ничего. Только снег на зубах.

28

«Ну, что же ты делаешь, Юрка? После записки из медсанбата — два месяца ни слова. Просто хамство. Если бы еще в правую руку был ранен, тогда была б отговорка, а то ведь в левую. Нехорошо, ейбогу, нехорошо. Меня тут каждый день о тебе спрашивают, а я так и отвечаю — разжирел, мол, на гос-

питальных харчах, с санитарками романы заводит, куда уж о боевых друзьях вспоминать! А они, нестоящая ты душа, не забывают. Чумак специально для тебя замечательный какой-то коньяк трофейный бережет (шесть звездочек!), никому пробовать не дает. Я уж подбирался, подбирался — ни в какую.

А вообще — надоело. Сиденье надоело. До чортиков надоело. Другие наступают, на запад прут, а мы все в тех же окопах, в тех же землянках. Фриц, правда, не тот, что раньше. Но прошлый месяц все-таки туговато пришлось. После того как тебя кокнуло, еще раз ходили в танковую атаку, но баков так и не взяли, а танки потом на другой участок перебросили. Один фрицы подбили, и мы из-за него добрый месяц воевали. Комдив велел под ним огневую точку сделать. И фрицевский комдив, вероятно, то же самое решил, — вот и дрались из-за этого танка... В лоб не выходило — в батальонах по пять-семь активных штыков. Пришлось подкопаться. А грунт, как камень, и взрывчатки нет. Волга недели две никак стать не могла. Сухари и концентрат «кукурузники» сбрасывали.

В конце концов взяли все-таки танк. Вырыли туннель в двадцать два метра длиной, заложили толу килограммов сто и ахнули! В атаку через воронку полезли. Вот какие мы! Я Тугиева, Агнивцева (он сейчас в медсанбате — ранен) и твоего Валегу к «звездочке» представил — молодцы хлопцы, а остальных — к «отваге». Сейчас под танком фарберовский пулемет — сечет фрицев напропалую. Баки пока еще у них. Врылись в землю, как кроты, ни с какой стороны не подлезешь... Артиллерией, в основном, воюем. Ее всю, кроме тяжелой, на правый берег перетянули. Около нашей землянки батарею дивизионок поставили — спать не дает. Родимцева и 92-ю правее нас перекинули — в район Трамвайной улицы. А 39-я молодцом — «Красный Октябрь» почти полностью очистила.

Во взводе нас сейчас трое — я, Гаркуша и Валега. Тугиев с лошадьми на левом берегу, вместо Кулешова. Проворовался Кулешов с овсом и угодил в

штрафную. Чепурного, Тимошку и того маленького, что все время жевал — забыл его фамилию, — потеряли на Мамаевом. Мы недели две держали там оборону с химиками и разведчиками. Двоих похоронили, а от Тимошки только ушанку нашли. Жалко парнишку. И баян его без дела валяется. Уразов подорвался на мине — оторвало ступню. И троих еще отправил в медсанбат — из новеньких, ты их не знаешь. Из штабников накрылся начхим Турин и переводчик. «Любимцу» твоему, Астафьеву, фрицы влепили осколок прямо в зад (как он его поймал, никак не пойму, — из землянки не вылезал), лежит теперь на животе и архив свой перебирает.

А мы сейчас все НП строим. Каждый день новый. Штук пять уже сделали — все не нравится майору: ты ведь знаешь его. Один в трубе фабричной сделали — около химзавода, где синьки много. Другой — на крыше, как голубятня. Видно хорошо, но майор говорит — «холодно, сквозит», велел под домиком сделать в поселке, что около выемки, где паровоз ФД стоит. А артиллеристы 270-го приперли туда свои пушки и фрицевский огонь притягивают. Снаряды рвутся совсем рядом — куда ж майора туда тянуть.

А в общем, приезжай скорей — вместе подыщем хорошее местечко. Да и копать поможешь (ха-ха!), а то у меня уж такие волдыри на ладонях, что лопаты в руки не возьмешь. Устинов твой — дивинженер — плотно поселился в моих печенках: все схемы да схемы требует, а для меня это, сам знаешь, гроб. Ширяев передает поклон, рука его совсем прошла.

Да... Во втором батальоне новый военфельдшер. Вместо Бурлюка, он на курсы поехал. Приедешь — увидишь. Чумак целыми днями там околачивается — пряжку свою каждый день мелом чистит. А в общем — приезжай скорей. Ждем.

Твой *А. Лисагор.*

P. S. Нашел, наконец, взрыватель LZZ, обрывно-натяжной, о котором ты все мечтал. Без тебя не разбираю. Теперь у нас уже совсем неплохая трофейная

коллекция. Мина «S» и «TMI-43», есть совсем новенькие пять типов взрывателей в мировых коробочках (на порттабачницы пойдут) и замечательные фрицевские зажигательные трубки с терочным взрывателем.

А. Л.».

На оборотной стороне — приписка большими кривыми, ползущими вниз буквами:

«Добрый день или вечер, товарищ лийтинант. Сообщаю вам, что я пока живой и здоровый, чего и вам желаю. Товарищ лийтинант книги ваши в порядке я их в чимодан положил. Товарищ командир взвода достали два окумулятыря и у нас в землянке теперь свет. Старший лийтинант Шыряев хотят отобрать для штаба. Товарищ лийтинант приезжайте скорей. Все вам низко кланяюся и я тоже.

Ваш ординарец *А. Волегов».*

Засовываю письмо в сумку, натягиваю халат и иду к начмеду, — он малый хороший, договориться всегда можно. И к завскладом, чтоб новую гимнастерку дал. У моей весь рукав разодран...

Наутро в скрипучих сапогах, в новой солдатской шинели и с кучей писем в карманах — в Сталинград, прощаюсь с ребятами.

Они провожают меня до ворот.

— Паулюсу там кланяйся!

— Обязательно.

— Мое поручение не забудь, слышишь?

— Слышу, слышу.

— Это совсем рядом. Второй овраг от вашего. Где «катюша» подбитая стоит.

— Если увидишь Марусю, скажи, что при встрече расскажу что-то интересное. В письме нельзя.

— Ладно... Всего... «Следопыт» в шестую палату отдайте. И физкультурнице привет.

— Есть — привет.

— Ну, бувайте.

— Пиши... Не забывай...

Шофер уже помахивает рукой.

— Кончай там, лейтенант.

Я жму руки и бегу к машине.

29

До хутора Бурковского добираемся к вечеру. В Бурковском — тылы дивизии и Лазарь, начфин. У него и ночую, в маленькой, населенной старухами, детьми и какими-то писарями хибарке.

— Ну, как там в тылу? — спрашивают.

— Обыкновенно.

— Ты в Ленинске лежал?

— В Ленинске. Незавидный госпиталишко. С моей землянкой на берегу не сравнишь.

Лазарь смеется.

— Ты и не узнаешь теперь свою землянку — электричество, патефон, пластинок с полсотни, стены фрицевскими одеялами завешаны. Красота.

— А ты давно оттуда?

— Вчера только вернулся. Жалованье платил.

— Сидят еще фрицы?

— Какое там! С Мамаева уже драпанули — за Долгим оврагом окопались. На ладан дышат. Жрать нечего, боеприпасов нет, в землянках обглоданные лошадиные кости валяются. Капут, в общем...

Ночью долго не могу заснуть — ворочаюсь с боку на бок.

Опять вспоминается прошлогодний июль, тяжелые, горькие дни отступления. Вспоминается август, сентябрь... Мучительное безделье на Тракторном и не менее мучительные разговоры с Георгием Акимовичем... «Нас может спасти только чудо. Иначе нас задавят. Задавят организованностью и танками». Задавили? Чорта с два! Хвалепая организованность столкнулась с другой, непохожей на нее, куда более крепкой организованностью. Танк с черными крестами, пройдя всю Европу, так и не дошел до Волги. Не дали. Помешало то самое чудо, о котором мечтал Георгий Акимович,

чудо более сильное, чем любые танки, — вера в правоту своего дела, вера, которая дала нам силу выстоять, когда у нас почти совсем не было танков и самолетов, вера в победу, которой не было уже у немцев, хотя у них были еще и танки и самолеты.

Эх, Георгий Акимович, Георгий Акимович, вот бы нам теперь с вами встретиться!..

Рано утром на штабном газике еду дальше.

К Волге подъезжаем без всякой маскировки прямо к берегу. Широченная, белая, ослепительно-яркая. На том берегу чернеет что-то. КПП, должно быть. Красный флажок на белом фоне. Фу ты чорт, как время летит... Совсем недавно, ну вот вчера как будто бы, была она, эта самая Волга, черно-красной от дыма и пожарищ, всклокоченной от разрывов, рябой от плывущих досок и обломков. А сейчас! Обсаженная вехами ледовая дорога стрелой вонзается в противоположный берег. Снуют машины туда-сюда — грузовики, виллисы, пестренькие, камуфлированные эмочки. Кое-где редкие, на сотни метров друг от друга, пятна минных разрывов. Старые еще следы. Рыжеусый регулировщик с желтым флажком говорит, что недели две уже не бьют по переправе — выдохлись.

Проезжаем КПП.

— Ваши документы?

— А без них нельзя?

— Нельзя, товарищ лейтенант. Порядочек нужен.

Чудеса... Вокруг штаба Чуйкова проволочный забор, у калиток часовые по стойке «смирно», дорожки посыпаны, над каждой землянкой номер — добротный, черный, на специальной дощечке.

Указатель на полосатом столбике — «Хоз-во Бородина — 300 метров», и красным карандашом приписано: «Первый переулок налево». Переехали, значит. Переулок налево, повидимому, овраг, где штадив был.

Волнуюсь, ей-богу, волнуюсь. Так всегда бывает, когда домой возвращаешься. Приедешь из отпуска или еще откуда-нибудь, и чем ближе к дому, тем скорее шаги. И все замечаешь на ходу, каждую ме-

лочь, каждое новшество. Заасфальтировали тротуар, новый папиросный киоск на углу появился, перенесли трамвайную остановку ближе к аптеке, на двадцать шестом номере надстроили этаж. Все видишь, все замечаешь...

Вот здесь мы высаживались в то памятное сентябрьское утро. Вот дорога, по которой пушку тащили. Вот белая водокачка. В нее угодила бомба и убила тридцать лежавших в ней раненых бойцов. Ее отстроили, какая-то кузница теперь в ней. А здесь была щель — мы в ней как-то с Валегой от бомбежки прятались. Закопали, что ли, никакого следа нет. А тут кто-то лестницу построил — не надо уже по откосам лазить. Совсем культура — даже перила тесаные.

Над головой проплывает партия наших «Петляковых». Спокойно, уверенно. Как когда-то «хейнкели». Торжественно, один за другим, пикируют...

Вот это да — чорт возьми!

В овраге пусто. Куча немецких мин на снегу. Мотки проволоки, покосившийся станок для спирали Бруно. Наш станок — узнаю: Гаркуша делал. Около уборной человек двадцать фрицев — грязных, небритых, обмотанных какими-то тряпками и полотенцами. При виде меня встают.

— Вы кого ищете, товарищ лейтенант? — раздается откуда-то сверху.

Что-то вихреподобное, окруженное облаком снега, налетает на меня, чуть не сбивает с ног.

— Живы-здоровы, товарищ лейтенант?

Веселая румяная морда. Смеющиеся, совсем детские глаза.

Седых! Провалиться на этом месте... Седых...

— Откуда ты взялся... чорт полосатый!

Он ничего не отвечает. Сияет. Весь сияет — с головы до ног. И я сияю. И мы стоим друг перед другом и трясем друг другу руки. Мне кажется, что я немного пьян.

— Все тут смешалось, товарищ лейтенант. Фрица гоним — пух летит. Наш КП тут, в овраге. Все на передовой. А меня царапнуло. Здесь оставили. Фрицев стеречь...

— А Игорь?

— Жив-здоров.

— Слава богу!

— Приходите сегодня водку пить. Целая бочка есть. Ох, и рады же будут! А вы из госпиталя? Да? Ребята мне говорили.

— Из госпиталя, из госпиталя. Да ты не вертись, дай рассмотреть тебя.

Ей-богу, он ничуть не изменился. Нет, возмужал все-таки. Колючие волосики на подбородке. Чуть-чуть запали щеки. Но такой же румяный, крепкий, как и прежде, и глаза прежние — веселые, озорные, с длинными, закручивающимися, как у девушки, ресницами.

— Стой, стой! А что это у тебя там под телогрейкой блестит?

Седых смущается. Начинает ковырять мозоль на ладони — старая привычка.

— Ну и негодяй! И молчит... Дай лапу... За что получил?

Еще пуще краснеет. Пальцы мои трещат в его могучей ладони.

— Не стыдно теперь в колхоз возвращаться?

— Да чего ж стыдиться-то... — И все ковыряет, ковыряет ладонь. — А вы этот самый... портсигарчик мой сохранили или...

— Как же, как же! Вот он, закуривай. Огонь есть?

— Ганс, огня лейтенанту! Живо! Фейер, фейер. Или как там по-вашему.

Щупленький немец в роговых очках, должно быть из офицеров, моментально подскакивает и щелкает зажигалкой-пистолетиком.

— Битте, камрад.

Седых перехватывает зажигалку.

— Ладно, битый, сами справимся, — и подносит огонь. — Ох, и барахольщики! Все карманы барахлом забиты. В плен сдаются и сейчас же зажигалку. У меня уже штук двадцать их... Дать парочку?

— Ладно, успею еще. Расскажи-ка лучше... Как-никак — четыре месяца, кусочек порядочный.

— Да что рассказывать, товарищ лейтенант. Одно и то же... — И все-таки рассказывает обычную, всем

нам давно знакомую, но всегда с интересом слушаемую историю окопного человека... Тогда-то минировали и почти всех накрыло, а тогда-то сутки в овраге пролежал — снайпер ходу не давал, — в трех местах пилотку прострелили, а потом в окружении сидели недели две, в литейном цеху, и немцы бомбили, и жрать было нечего, и, главное, пить, и он четыре раза на Волгу за водой ходил, а потом... потом опять минировали, разминировали, «бруно» ставили...

— В общем, сами знаете... — улыбается ясной своей славной улыбкой.

— Не подкачал, значит. Я так и знал, что не подкачаешь. Давай-ка еще по одной закурим, и пойду наших искать. Где они, не знаешь?

— Да там все... на передовой. За Долгим оврагом, должно быть. Один я остался, хромой.

— И никого больше?

— Штабной командир ваш еще какой-то. Вон в той землянке. Раненый.

— Астафьев, что ли?

— Ей-богу, не знаю. Старший лейтенант.

— В той землянке, говоришь? — направляюсь к землянке.

— Вечером, значит, в гости ждем, товарищ лейтенант! — кричит вдогонку Седых. — Игорю Владимировичу ничего говорить не буду. Второй за поворотом блиндаж. Налево. Три ступеньки и синяя ручка на дверях.

Астафьев лежит на кровати, подложив под живот подушку, что-то пишет. Рядом на табуретке — телефон.

— Жорж! Голубчик! Вернулись! — Он расплывается в улыбку и протягивает свою нежную, пухлую руку. — Здоровы, как бык?

— Как видите.

— А мне вот не повезло. Полк немцев гонит, а я телефонным мальчиком, донесение пишу.

— Что ж, не так уж плохо. Спокойнее историю писать.

— Как сказать... Да вы садитесь, телефон на пол поставьте, рассказывайте. — Он пытается повернуться,

но морщится и ругается. — Седалищный нерв задет, боль адская.

— Война, ничего не поделаешь... А где наши?

— В городе, Жорж, в городе, в самом центре. Первый батальон к вокзалу прорывается. Фарбер только что звонил — гостиницу блокируют, около мельницы. С полсотни эсэсовцев засели там, не сдаются... Да вы садитесь.

— Спасибо. А Ширяев, Лисагор где?

— Там. Все там. С утра в наступление перешли. Курить не хотите? Немецкие, трофейные... — Он протягивает аккуратную зеленую коробочку с сигаретами.

— Не люблю. В горле першит от них. А это что — тоже трофей? — На столе громадный, сияющий перламутром аккордеон.

— Трофей. Чумак Ширяеву подарил... Там их, знаете, сколько...

— Ну, ладно, я пойду.

— Да вы посидите, расскажите, как там в тылу.

— В другой раз как-нибудь. Мне Ширяев нужен.

Астафьев улыбается:

— Трофеи боитесь прозевать?

— Вот именно.

Астафьев приподымается на локте.

— Жоржик, голубчик... Если попадется фотоаппарат, возьмите на мою долю.

— Ладно.

— «Лейку» лучше всего. Вы понимаете в фотографии? Это вроде нашего «феда».

— Ладно.

— И бумаги... И пленку... Там, говорят, много ее. И часики, если попадутся. Хорошо? Ручные лучше...

30

К вечеру я совсем уже пьян. От воздуха, солнца, ходьбы, встреч, впечатлений, радости. И от коньяка. Хороший коньяк. Тот самый, чумаковский, шесть звездочек...

Чумак наливает стакан за стаканом.

— Пей, инженер, пей! Отучился, небось, за два месяца. Манные кашки все там жевали, бульончики. Пей, не жалей... Заслужили!

Мы лежим в каком-то разрушенном доме — не помню уже, как сюда попали, — я, Чумак, Лисагор, Валега, конечно. Лежим на соломе. Валега в углу курит свою трубочку, сердитый, насупившийся. Моим поведением он положительно недоволен. Что ж это такое в конце концов, — шинельку командирскую, перешитую, с золотыми пуговицами, в госпитале оставил, а взамен какую-то солдатскую, по колено, принес. Куда ж это годится... И сапоги кирзовые, голенища широкие, подошвы резиновые...

— Я вам хромовые там достал, — мрачно заявил он при встрече, неодобрительно осмотрев меня с ног до головы. — В блиндаже... Подъем только низкий...

Я оправдывался, как мог, но прощения так, кажется, и не заслужил.

— Пей, пей, инженер, — подливает Чумак, — не стесняйся...

Лисагор перехватывает кружку.

— Ты мне его не спаивай. Мы сегодня в тридцать девятую приглашены. Налегай, Юрка, на масло. Налегай.

И я налегаю.

Сквозь вывалившуюся стенку виден Мамаев, труба «Красного Октября», — единственная так и не свалившаяся труба. Все небо в ракетах. Красные, синие, желтые, зеленые... Целое море ракет... И стрельба. Весь день сегодня стреляют. Из пистолетов, автоматов, винтовок, из всего, что под руку попадается... Тра-та-та-та, тра-та-та-та, тра-та-та-та.

Ну и день, бог ты мой, какой день! Откинувшись на солому, я смотрю в небо и ни о чем уже не в силах думать. Я переполнен, насыщен до предела. Считаю ракеты. На это я еще способен. Красная, зеленая, опять зеленая, четыре зеленых подряд...

Чумак что-то говорит. Я не слышу его.

— Отстань.

— Ну, что тебе стоит... Просят же тебя люди. Не будь свиньей.

— Отстань, говорят тебе, чего пристал!

— Ну, прочти... Ну что тебе стоит. Хоть десять строчек.

— Каких десять строчек?

— Да вот. Речуху его. Интересно же... Ей-богу, интересно.

Он сует мне прямо в лицо грязный обрывок какой-то немецкой газеты.

— Что за чушь?

— Да ты прочти.

Буквы прыгают перед глазами — непривычные, готические. Дегенеративная физиономия Гитлера — поджатые губы, тяжелые веки, громадный, идиотский козырек.

«Фолькишер Беобахтер»...

Речь фюрера в Мюнхене 9 ноября 1942 года — почти три месяца назад...

«Сталинград наш! В нескольких домах сидят еще русские. Ну, и пусть сидят. Это их личное дело. А наше дело сделано. Город, носящий имя Сталина, в наших руках. Величайшая русская артерия — Волга — парализована. И нет такой силы в мире, которая может нас сдвинуть с этого места.

Это говорю вам я — человек, ни разу вас не обманывавший, человек, на которого провидение возложило бремя и ответственность за эту величайшую в истории человечества войну. Я знаю — вы верите мне, и вы можете быть уверены — я повторяю со всей ответственностью перед богом и историей, — из Сталинграда мы никогда не уйдем. Никогда. Как бы ни хотели этого большевики...»

Чумак трясется от смеха.

— Ай да Адольф! Ну и молодец! Ей-богу, молодец. Как по писаному вышло. Валега, налей-ка по этому случаю.

Валега наливает. Чумак переворачивается на живот и подпирает голову руками.

— А почему, инженер? Почему? Объясни мне.

— Что почему?

— Почему все так вышло? А? Помнишь, как долбали нас в сентябре? И все-таки не вышло. Почему? Почему не спихнули нас в Волгу?

У меня кружится голова — после госпиталя я все-таки слаб.

— Лисагор, объясни ему, почему. А я немножко того, прогуляюсь.

Я встаю и, шатаясь, выхожу в отверстие, бывшее, должно быть, когда-то дверью.

Какое высокое, прозрачное небо — чистое-чистое, ни облачка, ни самолета. Только ракеты. И бледная, совсем растерявшаяся звездочка среди них. И Волга — широкая, спокойная, гладкая, в одном только месте — против водокачки — не замерзла. Говорят, она никогда здесь не замерзает.

Величайшая русская артерия... Парализована, говорит... Ну и дурак! Ну и дурак! «В нескольких домах сидят еще русские. Пусть сидят. Это их личное дело...»

Вот они — эти несколько домов. Вот он — Мамаев, плоский, некрасивый... И точно прыщи — два прыща на макушке — баки... Ох, и замучили они нас! Даже сейчас противно смотреть... А за теми вот красными развалинами — только стены, как решето, остались, — начинались позиции Родимцева, полоска в двести метров шириной... Подумать только — двести метров, каких-нибудь несчастных двести метров... Всю Белоруссию пройти, Украину, Донбасс, Калмыцкие степи и не дойти двести метров... Хо-хо!

А Чумак спрашивает — почему? Не кто-нибудь, а именно Чумак. Это мне больше всего нравится. Может быть, еще Ширяев, Фарбер спросят меня, почему? Или тот старичок пулеметчик, который три дня пролежал у своего пулемета, отрезанный от всех, и стрелял до тех пор, пока не кончились патроны? А потом с пулеметом на берег приполз. И даже пустые коробки из-под патронов приволок. «Зачем добро бросать — пригодится». Я не помню даже его фамилию. Помню только лицо его — бородатое, с глазами-щелочками и пилоткой поперек головы. Может, он тоже спросит меня, почему? Или тот пацан-сибиряк, который все

время смолку жевал? Если б жив остался, тоже, вероятно, спросил бы — почему? Лисагор рассказал мне, как он погиб. Я его всего несколько дней знал — его прислали незадолго до моего ранения. Веселый, смышленый такой, прибауточник. С двумя противотанковыми гранатами подбежал вплотную к подбитому танку и обе в амбразуру бросил...

Эх, Чумак, Чумак — матросская душа — ну и глупые же ты вопросы задаешь! Идешь сейчас ко мне и бутылка у тебя в руке, и ни черта, ни черта ты не понимаешь... Иди сюда. Иди, иди. Давай обнимемся... Мы оба с тобой выпили немножко. А пьяные всегда обнимаются. Это вовсе не сентиментальность, упаси бог... И Валегу давай. Давай-давай... Пей, оруженосец... Пей за победу. Видишь, что фрицы с городом сделали? Кирпич — и больше ничего... А мы вот живы. А город... Новый выстроим. Правда, Валега? А фрицам — капут. Вон идут, видишь, рюкзаки свои тащат и одеяла... О Берлине вспоминают, о фрау своих. Ты хочешь в Берлин, Валега? Я хочу. Ужасно хочу... И побываем мы там с тобой — увидишь. Обязательно побываем. По дороге только в Киев забежим на минутку, на стариков моих посмотреть. Хорошие они у меня, старики, ей-богу... Давай выпьем за них — есть там еще, Чумак?

И мы пьем. За стариков пьем, за Киев, за Берлин и еще за что-то, не помню уже за что. А кругом все стреляют и стреляют, и небо совсем уже фиолетовое, и визжат ракеты, и где-то рядом наяривает кто-то на балалайке «барыню».

— Товарищ лейтенант, разрешите обратиться.

— Чего там еще?

— Начальник штаба вызывает.

— А ты кто такой?

— Связной штаба.

— Ну?

— Велено всех к восемнадцати ноль ноль собрать. На КП в овраге.

— С ума спятил... Сегодня выходной, праздник.

— Мое дело маленькое, товарищ лейтенант. Начальник штаба приказал, а я передал.

— Да ты толком объясни. А то — приказал, передал. На банкет, что ли, вызывает? По случаю победы?

Связной смеется.

— Северную группировку, слыхал, завтра доканчивать будут. На «Баррикадах». Нашу и тридцать девятую бросают туда...

Вот те на!

Чумак ищет в темноте бушлат, пояс. Шарит по земле. Лисагор отряхивает солому с шинели.

— Валега, собирай манатки и живо за Гаркушей. Во втором дворе отсюда, в подвале... Раз-два!

Валега срывается.

— Лопаты чтоб не забыл, смотри! — И, повернувшись ко мне: — Ну что, инженер, пошли НП копать. С места в карьер — мозоли наращивать.

— Лопат хватит?

— Хватит. Каждому по лопате. Мне, тебе, Гаркуше, Валеге. За ночь сделаем — факт... А может, и в доме где-нибудь пристроимся из окна. Пошли!

На улице слышен зычный чумаковский голос:

— В колонну по четыре... Стр-рр-роевым. С места песню... Ша-а-агом мар-р-рш!..

А во взводе у него всего три человека...

Лисагор хлопает меня по плечу:

— Не вышло к Игорю твоему сходить. Всегда у нас с тобой так... Завтра придется. Даст бог, живы останемся.

Где-то высоко-высоко в небе тарахтит «кукурузник», ночной дозор. Над «Баррикадами» зажигаются «фонари». Наши «фонари», не немецкие. Некому уже у немцев зажигать их. Да и незачем...

Длинной зеленой вереницей плетутся они к Волге. Молчат. А сзади сержант — молоденький, курносый, в зубах длинная изогнутая трубка с болтающейся кисточкой. Подмигивает на ходу.

— Экскурсантов веду. Волгу посмотреть хотят...

И весело, заразительно смеется.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Редактор К. Иванова

Художник И. Николаевцев

Худож. редактор И. Царевич

Техн. редактор В. Комм

Корректор Е. Фалеева

Подписано к печ. 7/III 1952 г. А 01717. Формат бум. 84 × 108/32 — 4,34 бум. л. = 14,25 печ. л. Авт. л. 13,04. Уч.-изд. л. 13,25. Тираж 75000 Цена 5 р 50 к. (по прейскуранту 1952 г.). Зак. № 3694.

Отпечатано с отливов тип. им. Володарского в 4-й тип. им. Евг. Соколовой Главполиграфиздата при Совете Министров СССР. Ленинград, Измайловский пр., 29.

